

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

— ...Искусство раннего Средневековья характеризуется явным упадком. На смену античности, исповедующей красоту человеческого тела, приходит христианство, призывающее к раскрытию духовных начал. Но для изобразительного искусства эти идеи оказались губительны. Изобразительное искусство Средневековья нетождественно жизни и малоэстетично. Христианство уничтожило прекрасное искусство античности...

С этими словами я вступил в самостоятельную жизнь. Я заканчивал первый курс нашего «ликбеза» — так мы называли Институт. И экзаме́н по истории и теории культуры был последним в летней сессии. Через два дня впервые без взрослых в компании двоюродного брата мне предстояло отправиться на целый месяц в Джубгу. Мама сама купила нам путёвку в какой-то пансионат и два билета в спальном вагоне до Туапсе.

От Джубги у меня осталось немного воспоминаний. Помню наш двухкомнатный номер-люкс с прыщавыми, окрашенными голубой красочкой стенами. Помню наш самовар, атрибут люкса, который подтекал так безбожно, что ко времени закипания, воды в нём оставалось на полчашки. Помню, как мы пытались заклеить его жвачкой. Жвачка плавилась, капала вниз, на лету застывала и повисала, напоминая собой нечто совершенно неуместное к чаепитию. Помню, как мы купали на тамошнем рынке персики и фундук. Сочные персики растекались по нашим подбородкам густыми оранжевыми ручейками, а фундук мы приспособились колоть булыжником с пляжа. Одна боковина камня была выпуклой и удобно помещалась в ладони. Другая — совершенно плоской. Получалось эдакое первобытное орудие, разбивающее разом по десяти орехов.

Пансионат располагал огромной территорией — с галечным пляжем, глухим, одичавшим парком, спускавшимся к морю, с площадкой

под дискотеку. Был даже свой, затерявшийся в парке, кинотеатр, был и прокат на пляже.

Днём мы исследовали соседнее селение, лазали по горам или уплывали на катамаране подальше от берега и купались одни в прозрачной зелёной воде. Прежде я никогда не купался в море так далеко от берега. Странное чувство — я запомнил его. Я ощущал себя частью стихии. Как будто солнце, небо, горы, вода и мы с братом — всё это одно и неразсторжимо. Я нисколько не боялся воды и бездны под собой, я знал, что море не отринет меня и не причинит мне зла. Я кувыркался в изумрудной воде, смеялся, сам не зная чему, и думал, что вряд ли кто-нибудь догадывается, каким счастливым можно быть в открытом море.

А вечерами мы слонялись по территории, глазели на девчонок, валяли дурака на дискотеке, пересмотрели по два раза все картины в местном синемаатографе. Вход на территорию был свободным. Мы скоро «вычислили» всех постояльцев пансионата и, даже встречая на рынке, не сомневались, что огненно-рыжий парень с безупречной улыбкой, да-да, тот самый, что появляется на публике исключительно в красных спортивных трусах; или вон та юная девица, жадно разглядывающая всех своих сверстников и сверстниц, мечтающая о друзьях, ведь она здесь в компании молодой дамы с напряжённо-серьёзным лицом и двух мальчишек пяти и семи лет, судя по всему, детей этой дамы; или вон те пожилые подружки, суетящиеся как на пожаре, чудно, ей-богу, приехали отдыхать, а мечтают из угла в угол, как ошпаренные — встречая всех их в любом закоулке Джубги, мы не сомневались, что всё это «наши».

Вели мы себя, как и подобает вести себя москвичам в провинции: нарочито громко, протяжно акали, задирали носы и изо всех сил изображали помещиков, вызванных, к неудовольствию своему, из столицы в имение и вынужденных, по настоянию управляющего, вникать в дела. Разумеется, если бы не продажа за долги, никто бы не выманил нас из города! Но в действительности, оба мы были счастливы и решительно всем довольны. Даже однообразие отдыха не утомляло нас — ведь обоим нам было тогда по девятнадцать лет! А порой даже этого бывает достаточно, чтобы ощущать себя счастливым и довольным. Мы же, вдобавок ко всему, были студентами московских ВУЗов, успешно окончившими первый курс. Впервые мы оказались без присмотра вдали от дома. Мы только начинали жить, и начало казалось нам приятным. Карманы наши были полны денег, сердца — радужных надежд. Что ожидало нас впереди, мы не знали. Но не сомневались, верно, что-нибудь очень хорошее.

Зачем я пишу всё это, ради чего я вообще взялся описывать? Не знаю. Но уж, конечно, не ради писательской славы. Хотя в это трудно поверить, потому что теперь никто не верит в бескорыстие.

Зачем же тогда? Может быть, что называется, «в назидание потомству». Из желания удержать хоть кого-нибудь от ненужных шагов. Конечно, я не так наивен, чтобы всерьёз верить, что рассказ мой послужит кому-то предостережением. И всё-таки я надеюсь.

Забегая вперёд, скажу: я всегда знал, что всё это изначально мерзко. Но почему-то изо всех сил пытался переубедить себя. «Нет, не мерзко, — говорил я себе, — а прогрессивно и современно. И если я не готов принять этого, я смешон, неразвит и закомплексован. А хочу ли я быть смешным, неразвитым и закомплексованным? Нет, не хочу. Что же остаётся? Принять то, что прогрессивно и современно».

Потянувшись, как козёл за морковкой, погнавшись за призраками, я чуть было не свалился в глубокую яму. Всё то, что я пережил и о чём намереваюсь рассказать, вся моя тогдашняя жизнь кажется мне сегодня абсурдом, какой-то злой шуткой. «Дьяволов водевиль» — вот что это было такое.

* * *

Выбор мною профессии и учебного заведения, где бы я мог получить эту профессию, происходил мучительно и долго. Я мечтал отдаться какому-нибудь творчеству. Родителей же моих, как это часто случается, подобная перспектива приводила в ужас. Словосочетание «творческая профессия» являлось для них синонимом неустроенности, безработицы и личного моего разгильдяйства с вытекающими отсюда пьянством и всякого рода невоздержаниями. Папа даже процитировал Пушкина, назвав меня наперёд «гулякой праздным».

Я окончил художественную школу, но сомневался, что живопись это моё призвание. Да и родители не хотели, чтобы я дальше учился на художника.

— Вот получи настоящую профессию, а там рисуй. Если захочешь..., — убеждали они меня.

Я был томим талантом, но не был уверен, каким именно. Родители же, оба экономисты, назойливо советовали мне отправляться по их стопам. Меня же одно только упоминание о карьере бухгалтера повергало в уныние. Никому ведь и в голову не приходит учиться считать собственные деньги. А посвящать свою жизнь пересчитыванию

чужих, да ещё и дрожать над каждой цифрой — по-моему, трудно себе представить что-либо более бесславное и бесполезное. Кто-то сказал, что всё зло в этом мире от экономистов, и я считаю эту мысль безупречно верной.

Я всегда совершенно искренно жалел своих родителей и недоумевал: как это можно по доброй воле и не от безысходности идти в бухгалтеры? Например, у мамы превосходный голос. Возможно, она не стала бы Анастасией Вяльцевой, но ведь и Адамом Смитом она тоже не стала. И отчего это так бывает? Отчего карьеру незадачливого экономиста люди охотно предпочитают карьере незадачливого певца, артиста или художника? Отчего, если уж петь, то непременно в Большом театре, а вот на счётах щёлкать не стыдно в любой подворотне?

Родители в ответ на мои рассуждения только посмеивались. Правда, в конце концов, все мы сошлись на том, что необходимо найти компромисс. Во внимание решено было принимать мои личные особенности, предполагаемое жалование, характерное для избранной деятельности окружение, а также спрос на профессию в обществе. Наконец компромисс был найден. Мы согласились, что совмещать творчество и относительную стабильность можно в одном единственном случае: посвятив себя науке. И поскольку ум мой родители отнесли к разряду гуманитарных, выбор ограничивался довольно скромным списком дисциплин. Папа переписал в столбец все известные ему гуманитарные науки и предложил мне следующий перечень: первым номером шла философия, напротив которой папа сделал пометку: «мать всех наук». Затем, уже без пометок, следовали история, филология, искусствоведение, психология, культурология. Первой со списком ознакомилась мама. Прочитав один раз, она задумалась, строго оглядела нас с папой и принялась читать во второй. После чего потребовала ручку и приписала от себя: этнография, юриспруденция, религиоведение. Об экономике как будто забыли.

«Философия — “мать всех наук”, история, филология, искусствоведение, психология, культурология, этнография, юриспруденция, религиоведение», — до сих пор помню порядок, в котором были переписаны дисциплины. На том этапе я думал недолго, просто ткнул пальцем в «искусствоведение», потому что именно искусствоведение показалось мне наиболее сопрячённой с творчеством наукой.

— Значит, будешь искусствоведом, — грустно уточнил папа.

Я молчал — звучавшие в его голосе разочарование и тоска были мне непонятны и неприятны.

— Что ж, — вздохнул папа, — хорошая профессия...

Добившись от меня определённости, родители успокоились. Но ненадолго. С самых тех пор за мной закрепилась слава будущего искусствоведа, и каждый мой шаг родители, к неудовольствию моему, повадились увязывать с выбором профессии. Отправлялся ли я на прогулку, читал ли книгу, выбирал ли рубашку к случаю или глодал куриную ногу — родители, не то шутя, не то всерьёз, уверяли, будто я всё делаю как настоящий «будущий искусствовед». Очевидно, им очень хотелось видеть меня студентом. Но из-за чрезмерно горячего желания они оба однажды насмерть перепугались, осознав вдруг, что ведь студентом-то я могу и не стать. Не знаю, как это у них вышло, но в один прекрасный момент они обрушились на меня и уж больше не оставляли в покое.

— Ты не поступишь в институт! — срывающимся голосом предрекала мне мама, застав за неподходящим, с её точки зрения, занятием.

— Был серым как штаны пожарника, таким и останешься, — поддакивал папа. И неизменно при этом добавлял:

— Кроме ПТУ, дружок, тебе нич-чего не светит... А туда же — искусствовед!..

С их слов выходило, что не поступи только я в ВУЗ сразу же после школы — а я непременно должен был не поступить, несмотря на «успехи в учёбе и примерное поведение», — высшего образования мне не видать. А равно и мало-мальски приличной будущности.

— Потом в армию тебя заберут, потом женишься, потом дети пойдут — зарабатывать нужно будет... И всё!.. — объяснял мне папа. И лицо его выражало отчаяние.

Отчаяние передалось и мне, так что я решил для себя, что если не поступлю с трёх попыток, то обязательно повешусь или вроде того. А когда мы приехали отыскивать моё имя в списках зачисленных, позабыли запереть двери машины, да и зажигание папа оставил включённым. Так и простояла наша «Волга» незапертой и тархтящей, пока мы искали свою фамилию в списках...

Чувства мои по поводу зачисления оказались совершенно схожими с чувствами советских школьников, принимаемых в пионеры. Ей-богу, если бы у меня был красный галстук или любой другой атрибут, выдававший мою принадлежность к студенческому братству — шпага, например, — я бы не снимал их даже ночью!

Я был зачислен в студенты в августе 91-го года. Это было время, когда по улицам Москвы ползли танки, вся страна жила в предвкушении чего-то необычайного. А многие верили, что всё то необычайное, что грядёт и вот-вот разразится, непременно будет содействовать ко всеобщему благу.

Ректор ВУЗа, студентом которого я стал в то лето, был известен широкой публике своими либеральными и демократическими убеждениями. Это был шестидесятник и западник, то есть большой поклонник всего «как в Европе». О нём говорили, что он, как и прочие шестидесятники, всегда оставался верным «истинному марксизму», не испорченному болезненными сталинскими фантазиями, а преподаданному России самим Лениным. И что будто бы за это власти неоднократно порывались отправить его в жёлтый дом, но почему-то так и не отправили. Речь, произнесённая ректором на дне открытых дверей, произвела на меня сильнейшее впечатление и, вероятнее всего, легендарная личность ректора и та самая произнесённая им речь создали необходимый перевес при выборе мною учебного заведения. Среди прочего, много было сказано о свободе, о том, что «страна наша встала на путь перемен и демократических реформ» (напомню, дело происходило ещё в СССР); упоминалось о гласности и плюрализме; особо подчёркивалось, что мы, то есть тогдашние абитуриенты, являемся надеждой общества и что именно нам предстоит «стать первым свободным поколением обновлённого государства». В этом смысле Институт был провозглашён «островком свободы», где в максимальной мере «предполагается реализовывать на практике принципы демократии, свободы и плюрализма». Овация стала наградой красноречивому ректору. Несколько девичьих голосков в разных углах аудитории пропищали восторженное «Браво!».

Повторюсь, что ректор наш в то время был человеком чрезвычайной известности и популярности. Он был депутатом Верховного Совета и одновременно с этим слыл диссидентом. Известность же его связывалась с целым рядом смелых критических выступлений в адрес советского правительства, приводивших в восторженный трепет всю страну. Сегодня я уже не знаю, чего хотели все эти люди. «Мы — диссиденты, изгой», — с гордостью говорили они. Но, кажется, никто из них не предлагал возродить порушенные святыни или, например, поднять деградировавшую деревню. Что, собственно, они предлагали для страны, куда звали — право, не ясно. Но тогда это

было не важно. Главное, они критиковали советскую власть, и это в них подкупало всех.

Институт же наш оказался настоящим пристанищем для диссидентствующей публики. Проректоры все сплошь слыли диссидентами, а равно и несколько профессоров. Поговаривали, что проректор по учебной части прошёл сталинские лагеря и на правом предплечье носит клеймо, оставленное ему мучителями. Слух этот подхватили с каким-то даже упоением и усердно перекладывали из уст в уста. Почему-то никого не смущал возраст проректора — судя по его летам, в застенках он мог оказаться, будучи грудным младенцем. Впрочем, в те страшные годы чего только не случалось.

Вследствие всех этих свободололюбивых устремлений нашего начальства, Институт со временем действительно превратился в «островок свободы» и плюрализма. Негласный дух терпимости ко всему, что только ни на есть, привлекал под его своды самую разношёрстную публику. Феминистки с нечёсаными волосами, драными подмышками и в подвязанных опорках; странные иноземцы — не студенты и не преподаватели, — расточавшие кругом себя холодные улыбки; лысые проповедники в чёрных френчах и золотых очках; сектанты с безумными глазами, хватавшие за рукава и вкрадчиво, но неотвязно предлагавшие рассказать о Библии — всё это немедленно хлынуло к нам, точно потоки воды из открывшихся вдруг шлюзов, они норовили читать лекции.

Впрочем, семена свободы, демократии и плюрализма чуть было не погибли, не успев дать всходов.

В то самое время, когда я отыскивал свою фамилию в списках зачисленных на первый курс, в кулуарах Института шептались о поспешном отъезде ректора, очень напоминавшем бегство. Наш ректор, диссидент и либерал, оставив все свои административные начинания и научные изыскания, вдруг вспомнил о срочных и неоконченных делах, будто бы ожидавших его в швейцарском городе Цюрихе. И едва только в Москве появились танки, как он срочно выехал в Цюрих оканчивать эти свои дела. Невинное, казалось бы, обстоятельство совершенно взбудоражило умы. Нехорошие улыбочки, шёпот и многозначительные взгляды сделались обычным делом. Появилась некоторая озабоченность на лицах — а ну, как цюрихские дела не удастся закончить в срок? Но вопреки опасениям и дурным предчувствиям всё завершилось как нельзя лучше. Через несколько дней наш ректор вернулся в Москву и, как ни в чём не бывало, заступил на службу. При этом весь вид его свидетельствовал о каком-то триумфе, точно это он,

а не кто другой, способствовал из Швейцарии разрешению всей тогдашней русской путаницы.

Что до меня, скажу откровенно: в то время я был бесконечно далёк и от политики, и от какого бы то ни было понимания действительности. Происходившее вокруг интересовало меня не более чем театральное действие. Я был большим охотником до всякого рода недоразумений и радовался, стоило завариться очередной политической каше. Разинув рот, я следил за развитием, ждал развязки и почти зевал, когда события переставали быть захватывающими. То, что развернулось на сцене Москвы в октябре 93-го года, не пробудило во мне ничего, кроме радостного возбуждения и любопытства. Это новое недоразумение повлекло меня и шестерых моих товарищей на Красную Пресню. В Москве тогда стреляли, то есть буквально рядом грохотали танковые орудия. И уж, конечно, мы не могли остаться в стороне и пропустить такое зрелище. Один из нас, Виталик Экземпляров, ежегодно 4 октября бывал новорожденным. В тот год ему исполнялось 20 лет. По этому поводу он намеревался собрать нас у себя в ближайшую субботу. А пока решено было отметить его рождение «на баррикадах».

Мы двигались по опустевшей Тверской от центра в сторону Садового кольца. Где-то слева от нас грохотала настоящая канонада. Да, да: мы шли под грохот канонады! И вот представьте: Тверская улица, где вечерами от множества огней светлей, чем днём; где, что ни дверь, то магазин; где каждодневно захлёбывается стальной поток. Вдруг — ни одной машины, а всех прохожих можно сосчитать по пальцам. И канонада!

Я думаю, это чувство знакомо всем, когда реальность перестаёт реальной быть, когда вдруг кажется, что снишься сам себе и всё, что происходит суть обман, иллюзия и умопомраченье.

Я хорошо помню тот день. Было очень тепло и солнечно, что совершенно необычно для этого времени года. Как распознать запоздалую осень среди камней большого города, где нет ни птиц, ни листьев под ногами, ни тёмных, увядающих цветов? Но в городе есть солнце, по-осеннему высокое, но всё ещё тёплое солнце; есть особенная, замеченная всеми поэтами чистота и прозрачность воздуха; льдистая голубизна предзакатного неба, тоже ставшего высоким и прозрачным; и первая, чуть ощутимая прохлада, обнаруживающая себя по вечерам паром дыхания.

Мы радовались последним тёплым лучам, ощущение нереальности происходящего волновало нас, мы болтали разный вздор и поминутно смеялись. Вдруг на повороте в Козицкий переулок Виталик остановился.

— Знаете что, ребят, — неуверенно, точно извиняясь перед нами, сказал он, — поеду-ка я домой...

— Да ты что?! — окружили мы его. Нам казалось, что веселье только начинается.

— А как же твой день рождения?

— Чего дома делать?

— Брось, пойдём вместе! Мы же хотели на баррикадах...

— Мне что-то не хочется баррикад, — сказал он, — не хочу умирать в день рождения...

Его слова подействовали на нас. Все мы приумолкли и перестали хихикать.

Вдруг кто-то сказал:

— Платон умер в день своего рождения.

Этого оказалось достаточно, чтобы снова все смеялись. Ведь в то время мы были как щенки, которым ничего не нужно, как только резвиться.

— Да я, в принципе, не против... — улыбнулся Виталик, — только, знаете ли, хотелось бы оттянуть этот миг...

Мы не возражали. Проводив Виталика до ближайшей станции метро и заверив на прощание, что он утратил последний шанс стать хоть сколько-нибудь похожим на Платона, мы, уже вшестером, двинулись дальше. Но когда мы добрались до Триумфальной площади, в наших до сих пор стройных рядах возникло некоторое смятение. Первоначальный план наш заключался в том, чтобы, дойдя до Триумфальной площади, двинуться вниз по Садовому. А там, по Новому Арбату или с тылу по Дружинниковской, попасть на площадь Свободной России — ей-богу, не помню, как она тогда называлась — другими словами, в эпицентр революционных событий. Замечу, что ничего глупее названий улиц и площадей, образованных от слов «свобода» или «независимость» я не знаю. Когда подобные вывески появляются на площадях и улицах так называемых «бывших советских республик», надо понимать, это означает их радость по поводу наступившего освобождения от тиранки-России. В России те же самые таблички выражают, очевидно, вздох облегчения по случаю долгожданного избавления от толпы дармоедов. Одновременно и с той, и с другой стороны раздаются ностальгические голоса — поминается с нежной грустью общее прошлое. И здесь тайна. Как могут сочетаться эта увековеченная почти что в камне радость и повсеместная грусть?

Почему я так подробно останавливаюсь на этом? Да потому что у меня идиосинкразия к словам «свобода» и «независимость». В своё

время я больно споткнулся и, забегаю вперёд, объявляю, что именно об этом и намерен рассказать в своей повести. Я был одержим идеей стать свободным, я решил достичь того состояния, пребывая в котором любой человек мог бы сказать о себе: «Я абсолютно свободен». Но когда я в компании таких же дурачков продвигался по Тверской, останавливаясь на каждом перекрёстке и принимаясь спорить, как же нам лучше добраться до Дома Правительства Российской Федерации, ничего подобного в моей голове ещё не было.

Итак, мы разделились. Трое из нас предлагали подобраться как можно ближе к месту событий на метро. Суть предложения сводилась исключительно к экономии времени. Но другая группа, в которую входил я, настаивала, что, продвигаясь пешком, можно увидеть много чего интересного, к тому же нечего толковать о времени, когда готовишься стать свидетелем и участником исторических событий. В конце концов, решено было, что каждая группа отправится к месту событий своим маршрутом, а после поделится впечатлениями с другой группой. Таким образом, у каждого из нас впечатлений будет вдвое больше.

Со мной в группе оказались Макс, мой однокурсник, длинный, худой парень в круглых очках, внешне не очень похожий на русского, скорее на англичанина; и Майка, милая зеленоглазая девочка с факультета лингвистики. Втроём мы вышли на Триумфальную площадь и повернули на Большую Садовую. Мы никак не ожидали, что вольёмся в такой могучий поток. По Садовой в сторону Пресни продвигалась огромная хаотическая толпа: мужчины, женщины, юнцы вроде нас, седые старцы, старухи с клюками — пожалуй, только детей не было в этой толпе. И на всех лицах, точно маска, застыло одно и то же выражение — выражение, какое бывает у зрителей, ожидающих в нетерпении начала спектакля. «Вот сейчас, сейчас начнётся! — светилось на этих лицах. — Вот только подождите немного и вы увидите...»

— Черёмуха! — вдруг пронеслось над толпой.

Эта «черёмуха» стала чем-то вроде «занавес!» в старинном самодеятельном театре. Сей же час что-то переменялось. Со всех сторон слышались истошные вопли, толпа заколыхалась, и мы увидели, что со стороны Пресни на нас, точно стадо разъярённых бизонов, несётся другая такая же толпа. И мне вдруг стало совершенно очевидно, что эта человеческая лавина поглотит нас так же неминуемо и беспощадно, как поглотила бы лавина воды, снега или взбешённых животных. Очевидно, не одному мне пришла в голову эта мысль, потому что в тот же миг вся наша огромная компания развернулась

к Пресне спиной и, визжа на все голоса, понеслась в противоположную сторону. Непрекращавшиеся у нас над головами выстрелы стали отчего-то чаще, дым и противный едкий запах понеслись за нами вдогонку. Но ни тени неудовольствия не промелькнуло ни на одном лице. Азарт, страх вперемешку с удовольствием, какое-то дикое, пьяное веселье — казалось, дело происходит в луна-парке.

Заскочив в садик в торце какого-то здания, мы остановились, чтобы отдышаться и передохнуть. По лицу у меня ручьями текли слёзы, я не мог разогнуться от смеха — мне казалось, что живот мой стянули двумя железными скобами. То же самое творилось с Максом и Майкой. Да и многие вокруг смеялись почти истерически. Чему мы радовались? Тому ли, что где-то расстреливали законодательное собрание? Или тому, что гибли под пулями такие же как мы легкомысленные люди? Конечно, нет. Просто у всех у нас был свой интерес — мы алкали зрелищ. Убегать от реальной, надвигающейся опасности под хлопки выстрелов и при этом не сомневаться, что никакой такой опасности-то и нет — ну не будут же, в самом деле, нас расстреливать — да власть же подарок нам сделала! Никакие теле-шоу ни в какое сравнение не идут с ощущениями, которые москвичи и гости столицы совершенно бесплатно смогли получить на Большой Садовой улице, и не только, 4 октября 1993 года.

Отдышавшись и просмеявшись, мы снова высунулись на улицу. Отовсюду, изо всех подъездов и подворотен появлялись довольные люди и, как ни в чём не бывало, снова направлялись в сторону Пресни. Колонна наша держалась правой стороны Садовой, точно не желая ни в коем случае нарушать дорожные правила. Левая сторона оставалась совершенно свободной. Этим-то обстоятельством мы и решили воспользоваться с тем, чтобы обогнать свою колонну и дальше пробираться самостоятельно. Но одна старушка в сером старомодном пальто с огромным, похожим на два лопуха воротником и в синей, из сложенного лентой платка, повязке на лбу разъяснила нам, что на левой стороне опасно из-за снайперов, засевших где-то на крышах. Старушкины сведения подтвердили трое совершенно не связанных между собой молодых мужчин. От них же мы узнали, что перемещаться в одиночку опасно и что лучше всего держаться толпы. Снайперы нас убедили, и мы решили продвигаться ускоренным шагом под прикрытием колонны.

Но чем дальше мы продвигались, тем более густым и тягучим делался людской поток — людей вокруг становилось всё больше, скорость продвижения снижалась. Наконец все остановились.

Впереди нас двигалась такая же колонна. Между нашей колонной и той другой постоянно сохранялось некоторое расстояние, может быть, метров в пятьсот. Видимо, наш авангард равнялся на их аррьергард. Вот и сейчас, стоило им остановиться, остановились и мы. Но в стане нашем остановка была встречена неудовольствием.

— Чего стоим-то? — слышались сначала робкие, а там и всё более смелые голоса.

— Да подождите! — попытался урезонить кто-то нетерпиц и торопыг. — Говорят же: снайперы...

— Да что снайперы? То всё шли, а то снайперов испугались!..

— Снайперы — они всегда снайперы...

Но тут первая колонна, развернувшись вдруг кругом, снова понеслась как селевой поток на нас. Всё повторялось. С визгами, воплями, с диким каким-то смехом наши, не разбирая дороги, ринулись назад и вскоре рассеялись по подворотням.

Когда мы, сломя головы, неслись в свой садик: Макс первый, а мы с Майкой, сцепившись за руки, следом, — впереди чуть справа от нас упала, споткнувшись, старушка, рассказывавшая нам о снайперах. Упасть в бегущей толпе, это, знаете ли, сильное ощущение. Мы трое, не сговариваясь, бросились к ней. Но уже какие-то молодчики на бегу подхватили её, визжавшую, под руки и понесли. Да так, что бедняжка не доставала до земли ногами. Воротник её пальто трепыхался как уши охотничьей собаки, синяя повязка сползла на глаза, и, безуспешно сясь поправить её, старушка беспомощно извивалась в руках своих же спасителей и только пуще визжала. Всё это было до того уморительно, что, оказавшись в безопасном месте, Макс со смеху повалился на колени. Он уже не смеялся, он стонал, и стоны его походили на крик осла. Повторяю, мы были не оригинальны и не одиноки. Вокруг все вели себя как сумасшедшие.

* * *

Не имея ни малейшего желания утомлять читателя, кто бы он ни был, я не стану живописать о дальнейших наших перебежках. Тем более, что все они были похожи одна на другую. Скажу только: когда уже в пятый раз я, запыхавшись, примчался в наш садик и вдруг понял, что незаметно для себя потерял в толпе и Макса, и Майку, за моей спиной раздался взрыв. В криках, которыми он был встречен, я не услышал больше задорных ноток, зато слышались ругательства — до сих пор как-то обходилось без них. Я обернулся на взрыв. Со стороны Садовой

в наш садик, то извиваясь, то мерно покачиваясь, вползал серый многоголовый дым. Из клубов его, отплёвываясь, прокашливаясь, чихая и ругаясь, выскакивали люди. Этот аттракцион им не нравился. Потом выскочили и Майка с Максом.

— Слушай, что это было? — кричал мне Макс. Он был в восторге. — Ты видел? Взрыв!..

Но я не знал, что это было. Мы отбежали в сторону, в уголок, образованный посадками, и остановились, чтобы отдышаться. Дым, лизнув наши ноги, прополз мимо, куда-то вглубь садика и постепенно стал таять.

— Поехали домой, — всё ещё тяжело дыша, сказала вдруг Майка. — Я всё-таки у папы с мамой единственная дочка... Вы тоже, кажется...

Мы с Максом не заставили себя упрашивать. Во-первых, Майка была совершенно права: мы тоже были единственными детьми. Во-вторых, программа, насыщенная в начале, оказалась в дальнейшем слишком однообразной. В-третьих, все мы устали — побегай-ка! А в-четвёртых, у меня страшно разболелась голова, и головная боль стала отвлекать меня от происходящего. В общем, мы поплелись домой.

Дома за ужином я рассказывал родителям о своих подвигах и чувствовал себя героем. Родители молча, с застывшим в глазах ужасом слушали меня и изредка переглядывались. Остаток вечера пришлось слушать мне, и отнюдь не хвалебные песни, но я ни о чём не жалел. Пожалуй, мне навсегда запомнился тот вечер, когда мы троём покидали Садовую. Солнце садилось, и сделалось по-осеннему прохладно. Небо стало льдистым, как глаза северной красавицы, улица — серой. И только верхние этажи солнце напоследок щедро мазнуло охрой. А окнаверху зарделись как стыдливые щёки, точно улице стало вдруг стыдно беснования на своей мостовой...

Я рискнул разочаровать читателя, никто из нас не погиб. Никто не был найден на поле сражения с оторванными конечностями или раскучуроченной брюшиной. Никому из нас не обожгло лица, не оторвало пальцев и не выбило осколками снарядов глаз. Никто даже не был контужен или ранен. Напротив, на другой день в Институте мы обменивались впечатлениями. Товарищи наши действительно добрались до Пресни и немедленно попали в какую-то адскую перестрелку. Так что все их приключения свелись к тому, что несколько часов кряду они пролежали под грузовиком, закрывая головы руками.

— Как на фронте! — с гордостью итожили они.

Но мы только презрительно усмехались. Да разве могли идти хоть в какое-нибудь сравнение наши перебежки под пулями снайперов с лежанием под машиной?!

А ещё через несколько дней в Институте созвали общее собрание. В центральной аудитории, устроенной по принципу амфитеатра, собрали завсегдатаев нашего заведения, и ректор, диссидент и либерал, обратился к слушателям с речью:

— Друзья! — сказал он, и голос его дрогнул. — Все вы, конечно, знаете о недавних событиях в Москве.

Зал оживился — ещё бы, мол, не знаем.

— С чувством глубочайшего удовлетворения, — продолжал ректор, — сообщаю вам: Советы в столице распущены и уж более в своём старом, коммунистическом, обличье они не возродятся!

Зал взорвался аплодисментами.

— Да здравствует свобода! — крикнул кто-то из райка.

Счастливый наш ректор крутил головой во все стороны, кивал мелко, расточал улыбки, а дождавшись, когда аплодисменты наконец иссякнут, продолжил:

— Люди, посмевающие называть себя «защитниками Белого дома», оказались на деле бандой красно-коричневых мерзавцев, спровоцировавших в столице бойню. И президент Ельцин был вынужден применить всё, что имелось в его распоряжении, дабы подавить силу фашиствующих, экстремистских и бандитских формирований, собравшихся в Белом доме. Увы, по вине этих преступников пролилась кровь. Президент проявил максимальную жёсткость и твёрдость. Но такова была ситуация момента. Все, кому небезразличны оказались свобода, права человека, Конституция, гражданское общество — все вышли в те дни на улицы Москвы защищать завоевания демократии. Среди них было много известных актёров, политиков, общественных деятелей. Но много было и простых людей, как, например, паренёк из Сыктывкара, которого я встретил на Красной площади. Он специально приехал защищать демократию и Бориса Николаевича Ельцина...

Тут ректор снова заулыбался, и на лице его засветилось умиление. По залу пробежал добродушный, растроганный смешок. Я тоже засмеялся.

— Худенький паренёк с большими голубыми глазами, он не мог оставаться дома, когда разгулялся русский фашизм. Как сказал один выдающийся деятель современной культуры: «Когда на свет поползла чума, обеззараживать её должны специалисты». Пусть паренёк из Сыктывкара не специалист, но он, как и многие другие россияне, вы-

шедшие в те дни на улицы, просто не смог усидеть дома, когда нужно было защищать демократию.

— Слушай, — шепнул я Макс, — мы с тобой, оказывается, защитники демократии.

В ответ Макс вытянул лицо, отчего стал похож на лошадь, и энергично закивал.

— Как смогла, — патетически произнёс ректор, — как смогла безоружная толпа противостоять вооружённым и натасканным бандитам? Я до сих пор этого не понимаю...

Зал оживился — ну как, мол, не понять!

— К счастью, получив от своих командиров оружие, боевики из Белого дома разбрелись кто куда. Эти трусы не хотели рисковать своими жизнями, а полученное оружие распродали тут же, на прилегающих улицах.

— Надо было купить, — шепнул мне Макс.

— Среди них, — продолжал ректор, — были и такие, что всю жизнь мечтали о личном оружии, они бы и чёрту присягнули, лишь бы заполучить его!

— Это про тебя, — толкнул я Макса.

Одобрение последним словам оратора зал выразил довольным смехом.

— Перед лицом беснующейся оппозиции власть обратилась за поддержкой к своему народу, и народ поддержал власть. Жители улиц, на которых разворачивались главные события, приносили участникам обороны чай и кофе. Добровольцы привозили с хлебозаводов мешки белого хлеба. «Никуда не уйдём отсюда, пока не победим!» — сказал мне тот паренёк из Сыктывкара. И я понял: демократия в России сегодня в надёжных руках. Если в августе 91-го удалось только лишь надломить преступную систему, то сейчас, в октябре 93-го, мы одержали окончательную победу!

Зал снова взорвался. Кто-то встал со своего места, продолжая аплодировать стоя. Следом поднялся ещё кто-то, потом ещё и ещё — грохочущая людская масса вдруг вздыбилась и ошетибилась.

— Господа! Господа! — воззвал ректор, вытянув перед собой руки вперёд ладонями. — Господа!

Аплодисменты постепенно стихли, все расселись по местам.

— Господа! Я предлагаю почтить память защитников российской демократии минутой молчания.

Зал, не сговариваясь, как по команде, дружно поднялся и замер.

— Ненавижу коммунык! — услышал я у себя за спиной сдавленный женский голос и почему-то обрадовался.

Я знал, что демократия — это хорошо, а коммунизм — сплошное враньё, плохо. И радовался, что демократия победила, а «коммуняки» низложены. Мне жаль было тех погибших, о которых говорил ректор. Меня распирало от удовольствия и умиления, вызванных ощущением единства с каждым, кто был тогда в центральной аудитории и кто защищал где-то там демократию. Но вместе с тем, глубоко в сердце сидело ещё одно чувство, которое неприятно щекотало меня.

Это неприятное чувство потом не раз возвращалось ко мне. Началось оно в том, что я всегда безотчётно и безошибочно различал фальшь, свою и чужую. Это чувство мучило меня: в глубине души я понимал, что довериться ему значило бы остаться в одиночестве. Ведь я немедленно оказался бы в оппозиции ко всему, что окружало меня. А я не хотел быть один.

Когда ректор наш заговорил о «худеньком паренёчке с голубыми глазами», притащившимся будто бы из Сыктывкара в Москву «защищать демократию», я умилился вместе со всеми. Именно потому, что хотел быть вместе со всеми. Но, умилившись, тут же поморщился и от фальшивого пафоса рассказа, и от фальшивого своего умиления.

Уже гораздо позже я узнал, что же на самом деле произошло тогда на площади Свободной России. Узнал я и о раненной в ногу девочке, моей сверстнице, которую снайпер добил выстрелом в шею. Узнал я и о том, что внутренние стены Белого дома были сплошь забрызганы мозгами. Узнал, что изуродованные тела осаждённых увозили на грузовиках в неизвестном направлении. Разгромом Белого дома закончился ещё один период в жизни страны. Вскоре после тех событий, которые так развлекли меня и моих товарищей, в стране была запущена пресловутая приватизационная программа.

* * *

Вот уж исписал почти целую тетрадь, а только сообразил, что ещё не представился. Хотел было задним числом разместить в тексте свой имярек, но, не найдя подходящего эпизода и не имея ни малейшего желания переписывать всё с самого начала, решил представиться немедленно. Зовут меня Иннокентий Феотихтов. Фамилия моя, согласен, несколько странная. По правде сказать, я не знаю, что она значит. Но да мало ли на Руси странных фамилий. Это ещё Гоголь заметил. Мне рассказывали об одном человеке, фамилия которого была ни много — ни мало Шпрехензидейч. Называя себя, он каждый раз, точно оправдываясь, прибавлял: «Вот такая вот странная, в некотором роде даже немецкая фамилия»...

Теперь же, исправив свою ошибку и представившись, я со спокойной душой могу вернуться к своему рассказу.

Наверное, именно в то самое время, то есть когда я был уже третьекурсником, зародилась во мне моя теория. Очень скоро эта теория вызрела окончательно, определившись с целями и средствами. Произошло это под влиянием одного общества, в которое я попал совершенно случайно. Но об этом позже...

Сразу предупреждаю: не надо путать меня с неизвестными литературными персонажами. Я вовсе не собирался убивать старушек и пускать их деньги на общее благо, тем более что мне не было никакого дела до общего блага. Я не собирался рядиться Наполеоном или Ротшильдом, уединяться и млеть втайне от сознания своего могущества. Нет, я уже говорил об этом и повторюсь: я не был одержим идеей, я хотел просто жить и быть свободным.

Помню, на занятиях по английскому языку нас как-то спросили, где бы, в каком уголке земного шара каждый из нас хотел бы поселиться. И вот первой вызвалась отвечать наша отличница.

Наверное, в каждом студенческом коллективе встречаются такие чудачки, что прочитывают и выучивают наизусть все учебники, забывают на время сессии про сон, а перед каждым экзаменом пытаются всех заверить, что ничегошеньки не знают. Заканчивают учёбу они, как правило, с красными дипломами, первыми среди подружек выходят замуж, первыми рожают детей и отдаются затем целиком домашнему хозяйству, благополучно забывая всё то, чему так тщательно выучивались.

— I would like to live in the USA, — объявила наша пятёрочница, — I love this wonderful country because of the freedom it bestows upon the people. Every person who comes to the USA can feel this great freedom just landing American soil. Even the air of America smells freedom. I love this free country, I love its free people, the Unated States is my favorite place on the Earth!¹...

Видели бы вы, как эта душка объяснялась в любви Американским Штатам! Ведь она разве что не плакала — до того сама себя расстрогала.

¹ Я бы хотела жить в США. Я люблю эту прекрасную страну из-за той свободы, которую она дарит людям. Каждый человек, приезжающий в США, может ощутить эту свободу, едва ступив на американскую землю. Даже воздух Америки пахнет свободой. Я люблю эту свободную страну, я люблю её свободных людей, Соединённые Штаты — моё любимое место на Земле... (англ.)

Да и было от чего сбрендить. Наступало довольно странное время. Общество наше в очередной раз забилося в припадке истерического самобичевания, усмотрев в традиционных своих укладах и взглядах недопустимую отсталость и постыдное ретроградство. И даже всю родную историю заподозрили вдруг в оскорбительном для себя надувательстве. Одним словом, постановили снова перетряхнуть отеческие гробы и решительно *всё* подвергнуть ревизии. С этой целью и привезли к нам из заморских стран экстравагантные учения, пощупав и примерив которые, общество наше вдруг всколыхнулось в горячем порыве. *Коммунизм или либерализм, или смерть!* Вот такие примерно лозунги будоражили тогда умы. Во что бы то ни стало решено было доказать всему миру собственную восприимчивость к американской демократии. Правда, никто толком не знал, что это такое и почему нужно кому-то что-то доказывать. Но, прельстившись высокими заработными платами, обилием и доступностью ширпотреба, общество наше, как какое-нибудь стадо, понеслось вдруг галопом и закономерно сорвалось в пропасть. Но это потом. А пока все только и делали, что говорили о свободе. Стоило включить телевизор или развернуть газету, как вас немедленно обволакивал флёр какой-то надрывной, припадочной радости по поводу наступившей будто бы свободы. Честно сказать, сначала я не понимал, что всё это значит. Я рос в самой обычной советской семье и понятия не имел о том, что несвободен. В нашей жизни хватало чудачеств — ну да где же их нет? Слышал я, что в одном из американских штатов закон запрещает ходить по улицам с лопатой. Ну и чем же, спрашиваю я вас, человек, не имеющий права ходить с лопатой, свободнее человека, не имеющего права спекулировать валютой? В любом нормальном обществе люди подчиняются законам этого общества. А законы, исходя из традиций и чаяний того или другого народа, могут сильно различаться.

Одна из современных писательниц возмущалась унижениями, какие довелось испытать ей в советское время, добиваясь разрешения на выезд за границу. Противные тётки с причёсками типа «вшивый домик» задавали ей самые глупые, самые оскорбительные вопросы. Сегодня наша писательница частенько бывает в США — сбылась мечта. И вот мне интересно, неужели отпечатки пальцев в американском посольстве менее унижительны, чем все возможные бестактные вопросы советских комиссий? Эти комиссии опасались, как бы отъезжающие не опозорили державу. «Но разве *Я* могу опозорить?» — спрашивал себя каждый и обижался. А может быть, просто очень хотелось прикоснуться к тому миру вещей, что начинался за советской

границей, и потому мешавшие тётки с «вшивыми домиками» не вызвали ничего кроме раздражения? Другое дело — отпечатки пальцев. Они нужны американским спецслужбам, чтобы лучше охранять права человека! Или что там ещё... Святое дело!

Но постепенно я не то, чтобы понял, а скорее почувствовал, что любые запреты, если и не отменены разом для всех, то могут быть отменены каждым для себя. То есть каждый человек отныне может делать ровным счётом всё, что ему хочется, и ничего ему за это не будет. Лёгкая, весёлая жизнь, когда никому ничего не должен, когда живёшь ради нехитрого удовольствия — вот мечта. Разумеется, если речь не идёт о преступлении. Законы, конечно, никто и не отменял, но как-то вдруг негласно отменили совесть.

Быть свободным оказалось заманчиво. Ведь свободный человек живёт, не отягощая себя запретами. Запреты — это стереотипы инертного сознания, это несовременно. И данные науки говорят совсем о другом. Наука доказала, что человек состоит из потребностей, которые приходится удовлетворять. Удовлетворение потребностей приносит с собой удовольствие. А удовольствие — главная составляющая жизни любого нормального человека. Запреты же отгораживают человека от удовольствия, другими словами, заставляют страдать. А зачем страдать, когда можно радоваться? На деле такая жизнь — пустота, но чтобы не произносить это страшное слово, звучащее приговором, её и называют свободой: «Живу так, потому что имею права и потому что свободен».

А теперь скажите, что это за важнейшие удовольствия, запрещённые в СССР? Совершенно верно. Большие деньги и секс. Большие деньги дают множество удовольствий, секс — только одно. Вместе они, по-видимому, и представляют те самые кружку пива и два патрона, за которые мы так дружно и подло отдались бледнолицым друзьям с Запада.

Но сделка состоялась. И что же мы получили? Несколько человек получили большие деньги, все остальные — свободный секс. Появилось даже выражение: «заниматься любовью». Я уверен, что его не было раньше. Заниматься можно спортом, иностранным языком или музыкой, то есть методически выполнять определённые действия с целью овладения мастерством или достижения желаемого результата. Но заниматься любовью — это то же самое, что заниматься равенством или братством. Оно бы и похоже, да уж мерзко очень — некрофилией пахнет.

Но обо всём по порядку.

Первым моим институтским приятелем был Макс, человек неглупый и добрый, хотя и бесполезный. Ничего не любил он в своей жизни так сильно, как, по его же собственному выражению, «тусить». Для непосвящённых поясню, что «тусить» означает убивать особым способом время. Собственно, чтобы убить время ума или изобретательности не нужно. Достаточно просто не вставать с постели, плевать в потолок или не спускать глаз с телеэкрана. Тусить же — это совершенно иное. Тусовочное искусство заключается, прежде всего, в умении обмануть самого себя. Вам, например, кажется, что вы общаетесь. Увы! Искреннее общение в огромной компании ни у кого ещё не залаживалось. К тому же, если ваши компаньоны заняты целеустремлённым распитием крепких напитков или забиванием косяков, едва ли можно рассчитывать на приятную беседу.

Вам кажется, что вы свободны, вы просто опьянены тем, что совершаете самые невероятные, самые отчаянные и авантурные поступки. Увы! Косяки, водка, пустословие и прочее — такого сорта свобода очень скоро превращается в свою противоположность, обрушивая на ваши головы целый ушат грязи и неприятных неожиданностей.

Вам кажется, что тусоваться — это клёво, что это прямо-таки неотъемлемая часть жизни современного молодого человека, что это так и надо и что, наконец, глядите вы молодцом. Увы! Глядите вы идиотом. И вовсе не оттого, что старшее поколение вас не понимает. Вы сами себя не понимаете. Чего стоит хотя бы ваш сленг, которым вы так гордитесь и который слово в слово повторяет воровское аргю.

Да, я никогда не любил этих тусовок, по которым носило Макса. Я не видел в них смысла, мне казались они атрибутикой стиля жизни и не более того. К тому же, меня откровенно пугала и отталкивала посредственность и слишком уж явная обезличенность их участников. Они не рассуждали, а точно играли спектакль, руководимый невидимым режиссёром. В зависимости от статуса, они говорили одни и те же слова, выполняли одни и те же действия. Им сказали: «Свобода — это вот что...» Они усвоили и стали кричать: «Мы свободны!» Им навязали состояние, особый образ жизни, кем-то иезуитски названный словом «свобода». Купившись, они проглотили обманку и очень скоро, незаметно для самих себя, приняли навязанное им толкование свободы за своё собственное.

Однажды они обрадовались возможности иметь собственное мнение и тот же час прочно усвоили чужое; захотели быть самими собой и немедленно нацепили на себя готовую униформу.

Помню, ещё в школе все мои товарищи были заядлыми меломанами. Не слушать никакой музыки считалось у нас чем-то неприличным. Предпочтения были самыми разнообразными. При этом любители рока, в особенности тяжёлого, изо всех сил презирали любителей популярной эстрадной музыки. Поэтому, чтобы не потерять уважение товарищей, приходилось довольно тщательно избирать любимых исполнителей. Мой друг, слывший поклонником группы «А-ha», как-то признался мне, что тайно и с удовольствием слушает песенки одной отечественной певички. Признаться в этом публично он не смел — его бы засмеяли.

Когда я понял, что мало просто слушать музыку, я решил выбрать себе любимых исполнителей, достойных уважения товарищей. Мне попались пластинки «Beatles» и «Rolling Stones». Я внимательно прослушал их и решил, что это подойдёт. Основоположники хоть и устарели немного, зато репутацию имели несокрушимую. Насмешники сами были бы осмеяны и уличены в невежестве. Так я решил заделаться поклонником «битлов» и «роллингов». Несколько песенок оказались мне симпатичными, особенно после того, как я, чтобы войти в роль, прослушал их десятки раз подряд. Я стал собирать кассеты с записями, статьи, фотографии. Узнав о моём пристрастии, классная руководительница даже поручила мне провести классный час на тему «Английский музыкальный квартет “the Beatles”». И я целых сорок пять минут вещал перед своими одноклассниками о «знаменитой ливерпульской четвёрке». Кое-кто хоть и ухмылялся со своего места, но возразить против моего утверждения, что «трудно переоценить значение творчества “Beatles”», ничего не мог.

Одним словом, я занял очень выгодную позицию. Только самое интересное заключалось в том, что к музыке вообще я относился довольно спокойно. То есть мне нравились разные песни и даже, например, ария Юродивого из оперы «Борис Годунов», но я не был меломаном в настоящем смысле этого слова. Мне даром не нужны были все эти кассеты, фотографии, статьи. Мне плевать было, о чём поётся в песне «Yellow submarine». Я совсем не хотел целыми днями слушать «любимую группу». Но я для чего-то делал вид, что меня всё это ужасно занимает и что я ни дня не могу прожить без «Yesterday». Иногда мне казалось, что и вокруг меня все также притворяются, изображая поклонников, кто «Deer Purple», кто «AC/DC», а кто ВИА «Неунывающие децибелы». Но кем-то раз и навсегда заведено: отрок обязан иметь музыкальные пристрастия. То есть вы можете интересоваться и увлекаться чем угодно, но не балдеть от какого-нибудь современ-

ного музыканта вы просто не имеете права. И когда я слушал, как мои товарищи рассказывают друг другу о какой-нибудь эдакой композиции, подражая голосом бас-гитаре или ударным, закрывая глаза, запрокидывая головы и размахивая руками, точно ударяя палочками по всем барабанам и тарелкам, мне отчего-то становилось стыдно...

Вот и теперь мне всё виделась фальшь, я не верил в их свободу. Главное, что меня всегда удивляло: у всех этих людей, называющих себя «свободными», вся свобода сводится, как правило, к самому банальному разврату. Как ещё употребить свою свободу, они просто не знают, на большее они оказываются неспособны. Творчество, сомнения, поиск не влекут их. Заявить свои права совокупляться как-нибудь наособицу — вот за это они готовы жизнь положить.

Всё это было не то. Всё это было мелко и не впечатляло меня. Мне хотелось чего-то великого, безграничного. Чего-то такого, что позволило бы мне подняться, воспарить и увидеть сверху тех, кто посвящает жизнь мизерным радостям. Сам собой рисовался мне образ: взять бы посох да пойти по белу свету! Пусть всё катится, ничего не надо! Воды и хлеба кусок всегда раздобуду — не оставят люди добрые. Для ночлега постучусь в первый дом, пустят — заночую, а прогонят — отряхну прах от ног моих. И дальше отправлюсь. Я всегда видел себя на холме. У подола река распласталась, берега тут и там поросли кустарником. И вот иду я, а солнце меня ласкает, трава ноги щекочет, птички на все голоса поют, запахи травяные да цветочные пьянят, в реке рыба плещется, лес прохладой манит. А я иду себе, и ничего-то мне не нужно, ничего не боюсь я...

Но в то же самое время я, например, искренно верил, что стоит лишь перенять все западные чудачества — переженить между собой всех мужчин, раздать школьникам презервативы, признать права всех, кто только может их предъявить, — как немедленно сама собой возрастет всеобщая покупательная способность, и все мы заживём припеваючи.

В отличие от меня, Макс не любил мудрований. Это был практик, ухитряющийся урывать у жизни одни только приятности. Детство своё он провёл взаперти — родители держали его в чёрном теле. Став же студентом и получив от родителей вольную, Макс точно с цепи сорвался, решив, очевидно, что пора навёрстывать упущенное. Из скромняги и тихони он в считанные месяцы превратился в бабника и гуляку. Стоит добавить, что в то же самое время родители его развелись, и каждый из них не замедлил обзавестись собственным семейством. И у Макса вдруг объявились отчим с мачехой. Ни с тем, ни с другой Макс, однако, делить кров не пожелал, отчего и перебрался к бабушке. Старушка

жила совершенно одна в Земледельческом переулке. Против воссоединения с внуком она не возражала. И даже позволила Максиму перекрыть своё жилище. Так что, из однокомнатной с просторной кухней и внушительной передней, квартира вскоре сделалась двухкомнатной. Кухня, правда, оказалась проходной, а передняя превратилась в тамбур, но бабушке и самому Максиму всё очень нравилось. Старушка осталась в своей прежней комнате, Макс же устроился в новой. Сюда он перевёз диван, полки с книгами и пианино — получился уютнейший закуток. Но более всего другого Макса радовало, что в его комнату можно было попасть только из прихожей. Отгородившись от бабушки проходной поперечной кухней, Макс оказывался предоставленным самому себе и совершенно беспрепятственно мог входить в дом и выходить из дома в любое время суток и в любом сопровождении.

— Вчера на ЛСД у меня закидывались, — рассказывал он мне как-то утром, бледный и с тёмными кругами вокруг глаз. — Зря ты не пришёл... Прикинь, Гена припёрся с психфака... Пришёл бы, постобались бы над ним...

— Нет, Макс, отвали с наркотой...

— Я не про наркоту, я про Гену... К ЛСД, кстати, не привыкают... Хотя, знаешь, рассказывали тут ребята, один кадр после ЛСД захотел «в солнце войти»...

— И что?..

— Ну что... Рухнул с балкона, соскребали потом с асфальта...

Макс был годом меня старше. Случился же со мной на курсе он потому, что целый год провёл в академическом отпуске. Ещё на первом курсе он до беспамятства влюбился в одну англичанку, бравшую в нашем институте уроки русского. Звали англичанку Рэйчел, пожаловала она к нам из Лондона, и это, по моему всегдашнему убеждению, было единственным её достоинством, покоровшим сердце Макса. Чехов в одном из своих ранних рассказов написал, что англичане произошли от мороженой рыбы. Так вот, представьте себе мороженую рыбу с длиннющими, спутанными, бесцветными волосами и в джонленновских очках на носу. Вот вам портрет Рэйчел. Я не знаю, как можно сойти с ума от такой женщины. А между тем, Макс бросил учёбу, бросил бабушку, наскрёб где-то денег и отправился в Англию. Хотел ли он жениться и принять подданство британской короны, а может, просто рассчитывал хорошо провести время, но через год он вернулся домой в Земледельческий переулок и зажил прежней жизнью. О причинах, побудивших его вернуться на Родину, Макс никогда не рассказывал.

— А чего там делать-то? — пожимал он только плечами и неизменно прибавлял:

— Серое всё кругом, мрачное... Холодно, сыро всегда... В домах даже простыни сырые...

Но в остальных случаях Макс, подобно многим соотечественникам, побывавшим хоть раз в Европе, предпочитал нахваливать и порядок, и чистоту, и организацию быта в Лондоне. Он охотно делился впечатлениями о своей жизни в Британии и демонстрировал всем желающим фотографии из огромной пачки. Одну увеличенную фотографию Макс даже вставил в раму и повесил у себя в комнате над дверью. Со снимка улыбался довольный Макс, стоящий на носу какой-то лодки и держащий в руках красное ведро. За спиной у Макса громоздилась неуклюжая рубка. Посудина, которую Макс называл яхтой, служила ему жилищем в Лондоне. Макс уверял, что отлично устроился тогда в рубке, где он спал, готовил пищу и принимал вечерами Рэйчел. Кстати, это именно Рэйчел подыскала ему жильё, договорившись с хозяевами ботика о помесичной плате. Она же через своих знакомых помогла Максиму устроиться на работу. Так Макс оказался мойщиком посуды в небольшом лондонском ресторанчике.

Ботик с Максом на борту был пришвартован почти под окнами Рэйчел, еженочно спускавшейся к нему для свиданий. Макс утверждал, что рубка как нельзя лучше подходила для этого дела. Потом Рэйчел возвращалась домой, и Макс оставался один. Ботик покачивался в водах Темзы, а в ненастную погоду рвался как цепная собака. Макс скукал, смотрел в иллюминатор, а иногда отправлялся бродить по Лондону. К себе Рэйчел приглашала Макса только на вечеринки. Кажется, у неё был друг или вроде того, о котором Макс узнал только по приезде в Лондон. В общем, по моему мнению, Макс ожидал совсем иного приёма, а потому, охладев довольно быстро к возлюбленной, возненавидев лондонский общепит и, наконец, утомившись качаться в своём ботике, он и вспомнил о доме. Чем, кстати, несказанно удивил Рэйчел, по искреннейшему убеждению которой, жить в Лондоне, пусть даже и в лодке, несравненно лучше, чем в Москве в собственной квартире.

Но расстались они ненадолго. Рэйчел, готовившаяся стать журналисткой, в скором времени сама явилась в Москву и, недолго думая, приняла приглашение Макса поселиться в его комнате. Днём она бегала по городу, собирая материал для разоблачительного репортажа, а ночью, по старой привычке, прекрасно чувствовала себя в постели у Макса. Репортаж, который она собиралась писать, был её заданием, чем-то вроде курсовой работы. Объектом её внимания стали бездом-

ные животные Москвы. Материала оказалось довольно, и очень скоро репортаж был готов.

Если Российскую Империю называют в западной историографии «тюрьмой народов», то Москва в репортаже Рэйчел представляла прямотаки концентрационным лагерем собак и кошек. Из репортажа явствовало, что в Москве практикуются массовые истребления несчастных бродячих животных, из шкурок которых шьются потом знаменитые «russian fur-coats»². В доказательство того, что сами москвичи участвуют в зверских насилиях и за деньги сдают шкурки животных, Рэйчел прилагала фотографии. На одной из них упирающегося терьера, вцепившегося мёртвой хваткой в собственный поводок, тянул, пытаясь сдвинуть с места, мальчик лет двенадцати. На другой — немолодая, грозного вида особа в меховом капоре держала за шкуру кошку, растопырившую лапы и раззявившую пасть. На третьей фотографии был какой-то вольер, огороженный металлической сеткой. И опершись передними лапами на эту сетку, грустно смотрел в объектив жёлтый безродный пёс.

Все фотографии были прекрасные, даже, можно сказать, высокохудожественные. Но какое отношение все они имели к «russian fur-coats», мы с Максом так и не поняли, о чём и заявили Рэйчел. Но в убеждениях Рэйчел оказалась непоколебима. Мы пробовали протестовать и долго объясняли ей, что времена, когда из кошек делали белок, слава Богу, давно миновали. Рэйчел стояла на своём как скала. Со слезами в голосе она уверяла нас, что мы, возможно, и не такие, как «those people»³, что мы просто многого не понимаем и не догадываемся, в какой стране живём. Что ею всё проверено, что доказательств довольно и что никто никогда не убедит её в обратном.

Потом Рэйчел уехала в Англию и вскоре сообщила Максиму, что репортаж её отмечен высоко и даже опубликован в какой-то студенческой газете. Потом она ещё и ещё приезжала в Москву, каждый раз пользуясь гостеприимством и безотказностью Макса. А Макс водил её по тусовкам, представляя как «моя girl-friend». И то, что «girl-friend» Макса была родом из Великобритании, прибавляло ему весу в любой компании. Оба они — и Макс, и Рэйчел — довольно скоро научились извлекать выгоду из знакомства друг с другом.

Когда Рэйчел уезжала, Макс немедленно забывал о ней. У него было такое множество знакомых, что скукать он просто не успевал.

² Русские шубы (англ.)

³ Те люди (англ.)

Макс жил полной жизнью. Он решительно задавался тогда целью посетить как можно большее число молодёжных сообществ Москвы. Он не пропускал ни одного нашего институтского сборища, побывал у панков, у байкеров, у каких-то гопников в Люблино, посещал околотитературную тусовку никому не известных снобов, собиравшихся где-то на Плющихе вокруг внучатой племянницы Бориса Пастернака. Потом его занесло в сборную команду теософов и последователей Гурджиева. Это было настоящее эзотерическое общество, занимавшееся поисками личных мистических откровений. Правда, Макс, я уверен, не было дела до мистических откровений. Тусовка — вот, что опять же занимало его.

— Слушай, какие там люди! — говорил он мне, брызжа восторгом.

Кстати, если быть точным, говорил он «сиповые пиплы», но я намерен сразу давать перевод, а потому хочу предупредить, что вынужденно опускаю основной колорит Максовой лексики.

— Стэнли Кейзи, например, — восклицал Макс. — Настоящий американец. По-русски не говорит ни слова. Рассказывал вчера про типы тела. Вот ты... знаешь, кто ты?

— Ну кто?

Макс мерил меня взглядом и объявлял:

— Меркурий.

— С чего бы это? — усмехался я.

— У тебя... это... у тебя изящные конечности.

— Да-а? Я и не знал, Максим, что тебя интересуют мои конечности.

— Плевать я хотел на твои конечности. Это так... к слову. Главное, существует семь типов тела. Понял ты?

— Понял. И что с того?

— Дурак! Зная типы тела, научись лучше разбираться в людях...

Есть даже книга такая...

— Я, Макс, не знаю, к какому типу принадлежит твоё тело, но мне и без того ясно, что таскаешься ты по каким-то сомнительным сборищам, сам не знаешь, для чего...

— Дурак! — перебивал меня Макс. — Я тебе говорю: там такие люди! Марианна Гойдь, например. Балерина из Большого... начинающая. Такая красючка! Ноги, правда, коротковаты...

— Ну вот, опять конечности! Ты, Макс, помешался на конечностях.

— Дурак!.. Ещё Антон Клошаров. Вот это философ! Рассказывал о связи между эндокринологией и знаниями африканских шаманов. Зачитывал вчера доклад «Железы и Провидение»... Потом к нему поехали на Академическую... Слушай, вот пьёт человек!.. Стэнли гово-

рил, что тусят они в разных странах. В следующий раз едут в Италию, в Венецию... Не слабо, да? Может, и я с ними...

Но я был уверен, что ни с какими теософами в Италию Макс не поедет. Что-то подобное я уже слышал, когда Макс тусовался с панками. Тогда его кумиром был некто Фил, вместе с которым Макс собирался отправиться летом на электричках, они называли это «на собаках», в Геленджик. Филом величали Филиппа Глинозёмова, недоучившегося студента МАИ.

— У Филых друзей козёл дома живёт, да? — рассказывал мне Макс, упиваясь собственным рассказом, — ну, то есть настоящий козёл. Они тут уехали, а козла Филу подбросили, на время. Фил купил поводок для собаки и козла на поводке выгуливает. Прикинь, идёт такой Фил по улице, ведёт козла на поводке... Фил вообще спокуха... ему всё до фени... Это панки! Его ребята говорят: «А чего нам? Мы можем сесть на Красной площади и насрать. Менты подойдут, мы их пошлём подальше!»... Люди просто ни от чего не зависят! Полная свобода!..

— Тоже мне — свобода! — злился я. — Насрать на Красной площади!

— А ты попробуй! — вступался Макс.

— Очень мне надо... Сам иди... Что я идиот...

Наши разговоры часто оканчивались небольшими стычками. Мне никогда не нравилась эта безоглядная восторженность Макса. Даже когда Макс попал в кружок по изучению «реальной истории» и два раза в неделю на протяжении полугода опутывал меня рассказами об открывшемся ему убожестве и ничтожестве истории государства Российского, я, несмотря на весь тогдашний интерес к разоблачениям, не спешил делить его восторг.

— Слушай, какие там люди! — начинал он рассказ со своего всегдашнего восклицания. — Я теперь только понял, почему нас так везде не любят. Мы — варвары, понимаешь? Мы до сих пор ещё варвары. Доказано, что русские — народ неполноценный, грязный физически и духовно, ничтожный, да? Только разрушать мы умеем и всё. Нет, слушай, доказывается всё очень просто. Русские — бездельники и пьяницы. Даже в сказках на печи лежат, да? Лежит на печи, ждёт, когда по щучьему веленью желания исполнятся. Почему не идёт работать? А? Вот!

— Что «вот»?

— В сказках закодировано очень многое, вся национальная психология, так? А из наших сказок видно, какой русский народ ничтожный.

— В этой сказке, между прочим, дело происходит зимой. Шука-то из проруби вылезла.

— Ну и что?

— Ничего... Когда крестьянин зимой работал? Вынужденное безделье...

— Не в этом дело! Россия — это страна рабов, мы — винтики в государственной машине.

— Да почему?!

— Ну уж так... Во-первых, мы не можем расстаться со своим варварством, понимаешь? Если бы мы были свободными, мы бы жили, как в Европе люди живут. А мы сидим в дерьме. Почему? Потому что мы — рабы. Надсмотрщика отняли у нас — всё, мы работать бросили. Мы не можем без кнута, понимаешь? Мы не умеем ни работать, ни копить, потому что мы варвары и рабы. Свободные люди умеют работать и сберегать заработанное, так? Потому что без этого не будешь свободным. Всё, круг замкнулся... А то, что нам сейчас читают историю — всё враньё. И про войну нам поют и про монголов... Всё враньё! Вот слушай, если бы Русь была богатой, монголы бы её оккупировали, да?.. А то они обложили её данью и успокоились. Подозрительно! А о чём это говорит? Это говорит об убожестве Руси. Даже монголы побрезговали! Ха-ха-ха!..

— Монголы, Макс, были кочевниками. Как могут кочевники оккупировать кого-то?

— Не в этом дело... А про войну нам напели?.. Численное превосходство, морозы и действительно мощный союзник — вот тебе вся победа!

Про себя я, увы, соглашался с Максом — всё, что ни говорилось тогда, казалось разоблачительной правдой. И только, чтобы не потакать его восторженности, я избирал иронию своей тактикой.

— Ты, Макс, напоминаешь мне героя одного лермонтовского стихотворения.

— Да? Ну и какого же героя? Демона? Мцыри?

— Нет, Макс. Дубовый листок. Который оторвался от ветки родимой и в степь покотился каким-то там ветром гонимый.

— Дурак! — обиделся Макс. Но ненадолго. И назавтра уже снова рассказывал мне о своих знакомых.

* * *

Мечтой же Макса было затесаться в какую-нибудь богемную тусовку и сделаться непременно её членом. Макс алкал видеть себя среди известных писателей, музыкантов, политиков и прочих заметных персон. Он поговаривал о каких-то своих связях, о том, что у него есть возможность войти в достойнейшее общество и что существуют кое-какие неудобовыполнимые условия, из-за которых вхождение его в это общество всё откладывается. А пока что внимание Макса было приковано к Майке, нашей общей приятельнице-лингвистке. Макс давно уже прослышал, что Майка посещает собрания некой организации со странным названием: не то «Гром и Крест», не то «Свет и Тьма» — точно не помню. Задачи организации состояли в том, чтобы по возможности скрашивать жизнь подросткам-инвалидам. Несколько раз в неделю члены организации по очереди собирались в специально арендованном помещении. Туда же приводили и больных ребят. На этих вечерах читали вслух книги, играли во всевозможные, доступные детям, игры и даже устраивали самодеятельные спектакли. Так, по крайней мере, рассказывала нам Майка. Но Макс не верил ни одному её слову и подозревал, что Майка посещает собрания тайного общества. Дело в том, что каждое лето командированная своей загадочной организацией Майка проводила за границей. Во Франции, в Бельгии Майка с московскими коллегами ухаживала за местными инвалидами, в то же самое время французские и бельгийские филантропы приезжали опекать несчастных в Москву. Не знаю, в чём был смысл такого обмена, может, они передавали друг другу опыт. Макс же был уверен, что никакого опыта не было и в помине. Были собрания тайного международного общества.

— Скажи мне, — взывал Макс, — если бы ты захотел ухаживать за инвалидами, поехал бы ты во Францию?

— Франция отдельно, инвалиды отдельно, — отвечал я.

— А как ты думаешь, прожили бы французские инвалиды без Майечки? И почему надо ехать в Париж, а не в Иркутск, например?

Все эти подозрения Макса были связаны с одним обстоятельством. Майка была особенным между нами человеком — она была еврейкой. Я бы не останавливался подробно на этом факте Майкиной биографии, если бы сама Майка не придавала ему чрезвычайного значения. Никогда — ни до, ни после своего знакомства с Майкой — я не встречал человека, млеющего от своей национальной принадлежности. Однажды кто-то назвал её «типичной еврейской девушкой». Видели

бы вы, что случилось после этого с Майкой! Целую неделю она была сама не своя. Можно было подумать, что она влюбилась. На деле, так она переживала сопричастность своему народу. Внешность у Майки была действительно «типично еврейской»: большие, с чуть припухшими веками глаза цвета неспелого крыжовника, длинные прямые ресницы, аккуратный тоненький носик с закруглённым кончиком и готовыми вспорхнуть ноздрями, нежная оливковая кожа, пухлые, мягкие губы. Изящным телосложением Майка не отличалась, зато руки её были необыкновенно красивы. В одежде Майка держалась своего личного стиля, предпочитая всему другому широкие рубашки с длинными, до середины ладони рукавами, джинсы и тяжёлые тупоносые ботинки. При этом она не была неряшлива, напротив, всегда аккуратно подстрижена, с капелькой косметики на лице, с красиво отточенными ноготками. Этим стилем Майка выгодно отличалась от своих сокурсниц, в облике её было что-то необычное и даже независимое. Отличалась от прочих Майка и своим образованием. Я с удивлением узнал, что ещё школьницей она брала уроки латыни и французского, и это вдобавок к английской спецшколе. Оказалось также, что Майка неплохо рисует. Не могу сказать, что у неё был сильный талант, но она умела, например, в несколько штрихов составить милый шарж. А кроме того, писала акварелью довольно симпатичные осенние пейзажи. Говорила она тихим, нежным голосом, не терпела грубости и крику, вообще имела вид человека скромного до безволия и даже как будто обиженного. Однако никогда не сомневалась в себе. В вопросах же национальной веры и чести Майка была подобна библейской Есфири.

Воспитанием и образованием Майки, насколько я понял из её рассказов, занимался отец, человек не без убеждений и даже пострадавший в семидесятые годы за хранение какой-то запрещённой литературы. Не то, чтобы его арестовывали, но, кажется, раз или два вызывали на Лубянку. Отец Майки был чистокровным евреем, мать же — еврейкой только наполовину. Зная об этом, мы с Максом любили иногда подтрунить над Майкой.

— Май, а ведь ты не еврейка, — говорил кто-нибудь из нас, как будто только что догадавшись.

— Почему? — пугалась Майка.

— Ведь у евреев национальность по матери? — спрашивал один из нас у другого.

— Ну конечно! Это всем известно...

— А если у Майки мама не еврейка, значит, и Майка не еврейка?

— Конечно. Какая она еврейка? Ты посмотри на неё!..

— И дети у Майки не будут евреями...

— Конечно, не будут. С чего бы?

— Май, ты не еврейка, ты русская!

Но для Майки это звучало приговором.

— Бабушка еврейка, значит, и мама еврейка. И я тоже...

В такие минуты она чуть не плакала. А мы с Максом только забавлялись её серьёзностью, бледностью и дрожащими губками.

— Вы не понимаете, — случалось, говорила нам Майка. — Вы не понимаете, что это значит, быть евреем... Когдаходишь в синагогу на Пасху, и кто-то вдруг крикнет: «Расступись, еврей!»... и вот расступились, опять сомкнулись... и все смеются, и все родные друг другу... Все евреи — это как одна семья...

Я, признаться, немного завидовал Майке. Ничего похожего я никогда не испытывал и понимал, что против Майки я — сирота казанская. Я пытался представить себе, что же такое нужно крикнуть в русской толпе, чтобы все вдруг заулыбались и ощутили себя одной семьёй. «Православные!» — вот всё, что приходило мне в голову. Но это казалось смешным, потому что было чем-то уж совсем историческим, можно даже сказать, из области преданий. «Вот странно! — думалось мне. — Евреи разбросаны по всему миру и чувствуют себя одной семьёй. А мы сидим на этой земле уже тысячу лет — и что? Завидуем еврейской спайке»...

— Быть евреем — это не то же самое, что быть русским или азербайджанцем, — объясняла Майка. — Еврей ощущает себя особенным... Он и есть другой...

Всё это она выговаривала необыкновенно серьёзно и тихо, опустив глаза, как если бы речь шла о чём-то сокровенном. И всё-таки в голосе её, в интонации чувствовалась решимость. К нам с Максом Майка благоволила. Я не знаю, что именно связывало тогда нас троих, таких разных, таких непохожих людей. Но все мы были искренно привязаны друг к другу, и я вспоминаю о нашей дружбе как о чём-то наиболее светлом и чистом в моей тогдашней жизни. Мы бывали вместе в «Иллюзионе» на Котельнической набережной, мы слонялись по Заяузью и Китай-городу, но чаще всего встречи наши проходили в институтском буфете. Была у нас получасовая перемена в середине дня, когда мы сходились втроём за одним столиком, приносили булочки с чаем, рассаживались и не могли наговориться. Мне нравилась Майка своим обострённым чувством меры. Когда надо, она умела быть весёлой, но не развязной, строгой, но не грубой и не занудной. Она была

искренней, но никогда не расстёгивалась, умела быть прямой и в то же время деликатной. Умела слушать и проникаться чужими чувствами, а при желании могла заставить слушать себя.

Была у Майки мечта, которую она доверяла нам с Максом. Когда она говорила о своей мечте, восторженные глаза её обыкновенно увлажнялись.

— Будет такое время, — произносила она тихо и задумчиво, — когда все границы исчезнут. Мир станет как бы одной страной. Люди будут свободно ездить по всей планете, и никаких стран не будет. Все будут равны, исчезнут все предрассудки, люди будут свободными... Никто не будет привязан к одному месту, Земля станет для каждого Родиной... Все будут жить в городах, деревни исчезнут. Будет столько техники, что человеку больше не придётся возиться в земле... Религии все объединятся в одну, и люди все вместе станут молиться Богу... Исчезнут национальности, люди сами будут выбирать, где им жить... Не будет больше ни денег, ни документов. Исчезнут языки, все будут говорить по-английски, это будет удобнее и проще... Люди станут абсолютно свободными, ни к чему не привязанными. Они будут счастливы, потому что смогут любить друг друга — никто больше не помешает им в этом...

Нам с Максом нравилось слушать Майку. Я не очень-то верил, что мечта её осуществима, но мне нравилось представлять людей, о которых она рассказывала. Воображение рисовало мне каких-то кочевников, перемещающихся по планете туда-сюда: кто в поисках развлечений, кто в поисках работы и крова. Бесконечное, непрекращающееся курсирование людей-частиц, не имеющих ни языка своего, ни памяти, ни постоянного дома. Кто были, во что веровали, для чего воевали и зачем вообще жили их предки, людям-частицам не нужно знать. Их забота — носиться в суматошном вихре за маленькими доступными радостями. Сытые, довольные, а главное одинаковые кружатся они, не зная ни греха, ни добродетели, ни низости, ни благородства. Мне всё представлялось какое-то семейство, все члены которого живут и работают в разных точках Земли. И только на выходные съезжаются все вместе, встречаясь... ну, хоть в бывшей Испании. Останавливаются в мотеле, наутро идут в Disney-land, потом обедают в MacDonald's, потом идут в кинотеатр «Kodak», покупают pop-corn, после просмотра боевика возвращаются в мотель, а утром разъезжаются на работу: кто в бывшую Россию, кто в бывшую Францию, а кто-то, например, в бывшую Уганду. Было что-то страшное и даже отвратительное в этих картинках, но вместе что-то томящее и сосущее душу.

Но пока стада людей, разбредающиеся по планете, волновали моё воображение, Макса томили совсем иные фантазии. За каждым Майкиным словом Макс чувствовал близость тайного общества. Макс, по личностному устройству своему, непременно хотелось видеть и ощущать рядом с собой настоящее тайное общество, а заодно уж и стать его членом. Майка же, как нельзя лучше, подходила для того, чтобы представлять и олицетворять собою таковое общество. Национальность Майкина, издревле окружённая загадками и тайнами, трепетное Майкино отношение к этой своей национальности вынуждали Макса подозревать еврейский заговор или хотя бы масонскую ложу. В инвалидов Макс не верил ещё и потому, что не раз уже пытался набиться к Майке в сопровождающие, но всякий раз получал от ворот поворот. Майкины отказы только разогревали в нём любопытство и крепили уверенность в правильности разоблачительной догадки. Нечего и говорить, что Макс поставил непреложной своей целью сделаться завсегдаем собраний секретной организации. Нужно это, я уверен, было Макс для того, чтобы при случае вальяжно и небрежно обронить, что он-де тусуется с масонами. Майка, в свою очередь, прекрасно видела это неоторимое устремление и относилась к нему с нескрываемой насмешкой. Может быть, именно из-за насмешки, из-за желания помучить любопытного, подозрительного и тщеславного Макса, Майка отказывала ему в приглашении. И все попытки Макса заделаться масоном разбивались как морская вода о камни. Но однажды всё вдруг разрешилось.

* * *

Я запомнил: было 21 марта. Мы сидели с Максом в буфете, и Макс рассказывал мне о Виктории, с которой я и Макс только вчера впервые познакомились и которую Макс уже успел позвать к себе ночевать. Знакомство произошло на вечеринке, внезапно устроенной одной нашей однокурсницей. Было создано множество разношёрстной публики. Виктория оказалась родственницей хозяйки дома, приехала она погостить в Москву из Сочи. Я подозреваю, что ради неё и собрали эту вечеринку или, как тогда у нас говорили, party. Из всего множества народа Виктория почему-то выбрала нас с Максом и, представившись, не отходила от нас ни на шаг. А с Максом так и вовсе решила не расставаться. Макса женщины всегда обожали, прежде всего, за то, что ни одну из них Макс не презирал и не отталкивал. Даже со страшенькими и с глупенькими Макс находил общий язык. Да и много ли

им нужно? Прояви только интерес, намекни ей, что она особенная, пусть даже в какой-то самой только малости — и готово дело, сама прибежит и всю себя предложит. Впрочем, это не только с женщинами, это со всеми так. Не бывает женских или мужских пороков. Люди все тщеславны. Наболтайте мужчине, что он герой, cowboy и playboy, и увидите, что за этим последует.

Прибывшаяся к нам Виктория казалась мне похожей на лошадь. Я бы и говорить-то с ней серьёзно не стал. У неё было длинное, худое, желтоватое лицо, длинные, прямые жёлтые волосы, длинные жёлтые зубы, и вся она была какая-то вытянутая и жёлтая. Когда она ходила, то стучала ногами, когда смеялась, я каждый раз вздрагивал. Я не знал, как отделаться от неё. Макс же, напротив, был с нею ласков, расспросил о семье и работе, а слушая её рассказ, проявил столько участия, что, казалось, решил её облагодетельствовать. Узнав же, что она produceг какого-то доморощенного музыкального коллектива, очень обрадовался, как будто это обстоятельство могло повлиять на всю его дальнейшую жизнь. Через час разговора он окончательно привязал её к себе. А когда мы прощались в прихожей, он вдруг взял её за руку и, не смущаясь нелепостью вопроса, тихо и ласково спросил:

— Где ты сегодня ночуешь?

— Макс, Виктория не бездомная, — попробовал я вмешаться, но не был услышан.

Она опустила глаза и скромно повела плечиком.

— Поехали ко мне, — просто-запросто предложил Макс.

Она посмотрела на него преданными и понимающими глазами и прошептала:

— Сейчас, соберусь только...

Через минуту она вышла с каким-то узелком. Макс помог ей одеться и увлёк в свой Земледельческий переулок.

Наутро он, необыкновенно довольный собой, рассказывал мне, что запер Викторию от бабушки у себя в комнате и велел ей сидеть тихо до его прихода. Он оставил ей еды и молока как кошке и умолил ничем не выдавать своего присутствия бабушке. Виктории эта игра понравилась, и она пообещала Макс, что почитает тихонько, пока он не приедет. Родственнице Виктории Макс объяснил, что Виктория пока поживёт у него. Родственница, как мне показалось, обрадовалась.

— Выгони ты её сегодня же, — убеждал я Макса. — Выгони, пока они тебя не оженели.

— Если бы я на всех женился, знаешь, что было бы? — Макс самодовольно усмехнулся.

— Ты не понимаешь, — настаивал я, — если замешались родственники, всё гораздо серьёзнее.

— Ой, какие там ещё родственники? — сморщился Макс. — Ну что я, бабу, что ли, не смогу выставить?.. Шухер... Майка идёт... Потом договорим...

К нам действительно приближалась Майка. Подойдя, она постояла возле нашего столика, потом уселась и объявила, что болтать ей некогда, что она только на минутку и что имеет сообщить нам нечто чрезвычайно важное. Говоря всё это, она лукаво улыбалась и хитро поглядывала на Макса. Макс немедленно уловил эту хитринку, понял, что адресована она именно ему и, пытаясь до срока отгадать, в чём дело, занервничал, заёрзал на стуле. Заволновался и я. Майка, немедленно угадав наше нетерпение, рассмеялась.

— Да вы не бойтесь, — сказала она ласково, — я вас пригласить хочу. Завтра у нас праздник. Будет спектакль, премьеры. Дети сами поставили. Я тоже там участвую. В общем, завтра в семь начало... Я буду вас ждать в 18.30 возле ДК МЭИ. Там рядом есть таксофон, я вас жду возле этого таксофона... Только не опаздывайте, ради Бога! В семь уже начало!.. Ну всё! — она поднялась с места. — Я побежала, до завтра... Завтра станешь масоном, Макс. Пока!..

И Майка исчезла.

— Yes! — прошипел Макс. — Ты слышал? Завтра вступаем в масонскую ложу!

— Пока что нас пригласили на детский праздник, — заметил я.

— Знаем мы эти... детские праздники, — Макс злорадно ухмыльнулся, — завтра ты сам всё увидишь... Посмотришь, кто был прав...

Макс едва дождался конца занятий. На лекциях он не записывал, а сидел с отсутствующим видом, подперев кулаком голову. То и дело он вздрагивал, как будто вспоминал о чём-то, и принимался разглядывать собственные часы. По несколько секунд он не сводил глаз с циферблата, не понимая того, что видит — мечты не давали ему сосредоточиться. Наконец лекции окончились.

— Слушай, идём, — заговорщицки зашептал мне Макс, как только мы вышли из аудитории. — Идём скорей, пока не увязался никто. Здесь есть рюмочная... пойдём... надо ж тост за масонов...

И мы отправились в рюмочную поднимать тосты за масонов. Да и что ещё делать студентам в конце марта? Когда асфальт сухой, воздух тёплый, солнце слепящее — ну, не корпеть же, в самом деле, над книжками!

Макс вёл меня кривыми, короткими — настоящими московскими — улочками. Мы не спешили: брести по Москве в солнечный мартовский день — это уже удовольствие. В чём же оно, трудно сказать, но знакомый с этим удовольствием не променяет его на ворох других. Всё вдруг меняется в Москве весной. Исчезает грязный снег, прохожие становятся добрей и улыбчивей, и точно вдруг сама старушка-Москва, прячущаяся обыкновенно за наглыми вывесками и глупыми фасадами, выглянет ненадолго, улыбнётся и шепнёт потихоньку: «Не умерла девица, но спит»...

Я вдруг остановился.

— Макс!

Макс дёрнул головой и, удивлённый, испуганный, уставился на меня.

— Викто-ория! — простонал я.

Наверное, с полминуты Макс молчал, напряжённо всматриваясь в меня. Наконец он всё понял.

— Ах, чёрт! — он наморщился и хлопнул себя по лбу. — Я и забыл про неё. Ну и что делать?

Он смотрел на меня с мольбой, точно от моего решения что-то зависело. Вдруг он оживился.

— Слушай! А может, ничего?..

— Что, ничего?

— Ну... пусть посидит... чего ей сделается? Еда у неё есть... молока я ей налил...

— Молока налил, «Catsan» не насыпал, — оборвал я Макса. — В туалет она куда пойдёт?

— Чёрт! Я и не думал об этом...

Мы поплелись к метро.

— Сейчас её выпустим, — рассуждал Макс, — и вернёмся... к нашим баранам... В смысле, продолжим неначатое...

— Только... это... — подумав немного, прибавил он, — придётся с ней...

— Ну а куда я её дену? — завопил он в ответ на мой взгляд. — Что, свожу в туалет и обратно запру?.. С бабушкой её не оставишь... Не выгонять же...

— Почему нет?

— Потому что... мы договорились... ну... одним словом... она у меня поживёт...

Часа через два мы трое — Виктория, Макс и я — уже изрядно разгорячённые сидели в малюсеньком баре на Тверской-Ямской улице.

Макс знал множество питейных заведений подобного рода и всякий раз, в зависимости от своего настроения, выбирал, куда именно ему следует сегодня отправиться. При этом он не считался ни со временем, ни с расстоянием.

Бар, куда он привёл нас, состоял из одной-единственной комнатки. Вошедший тотчас упирался в несколько довольно крутых ступенек, поднявшись по которым, оказывался в узеньком проходце, годившемся для перемещения разве что цугом, да и то в одном направлении. Чтобы упереться в стойку, располагавшуюся у противоположной от входа стены, требовалось сделать пять или шесть шагов. Справа и слева от проходца помещались кабинки, по три с каждой стороны — круглые столики с похожими на подковы мягкими лавками и высокие, тонкие перегородки. Когда мы вошли, два столика были заняты. Один посетитель — замечательного роста блондин лет двадцати семи — поразил меня сходством с президентом Ельциным.

— Похож? — шепнул Макс, проследив за моим взглядом. — Обрати внимание, даже причёска похожа... Вот я уверен, что он знает и поддерживает... Ты ещё походку не видел... А что?.. В старости у человека готовый заработок... Голосу научится подражать и вперёд... к туристам...

— Ты что, его знаешь? — спросил я.

— По-моему, он здесь живёт. Когда бы я ни зашёл... короче, ни разу без него не обошлось...

— А может, это побочный сын? — очень громко и очень серьёзно спросила Виктория.

— Скорей всего, — сострил я.

Макс промолчал.

За стойкой сутилась молодая особа в цветастой жилетке. В руке она держала огромную тряпку, которой отирала всё, что только ей подвертывалось. Всем своим видом особа показывала, что у неё страшно много работы и что занята она, как никто в Москве.

Макс завёл нас в угловую кабинку, принёс бутылку водки, тарелку солёных орехов и три невысоких стаканчика.

— Ну, — поднял он свой стакан, — за масонов и за вступление в масонскую ложу!

В ответ Виктория, оголив длинные зубы, зашлась резким, хриловатым смехом — настоящее ржание! — слова Макса показали ей забавной шуткой...

— А знаешь ли ты, кто такие масоны, Виктория? — спросил Макс после второго стакана.

— Нет, — ответила Виктория и зашлась своим ржанием.
— Ага-а!.. А знаешь ли ты, кто такие тампли... там-пли-еры?.. еры...
Ер-еры — упал дедушка с горы. Ер-ять — некому поднять. Ер-юс — я сам поднимусь...

— Ха-ха-ха!

— А кто такие... кто такой... Жак де Моле? Ты знаешь?

— Нет! Ха-ха-ха!

— А что ты вообще знаешь об исторической науке! — присюсюкивал Макс, хватая двумя пальцами Викторию за подбородок.

Признаться, я немного побаивался пьяного Макса.

Алкоголь играл с ним одну и ту же злую шутку. Стоило Максу хватить лишнего, как он менялся до неузнаваемости и пугал окружающих своими выходками. Раз, например, Макс разогнал гостей в одном приличном доме. Гости затеяли танцы, и один только Макс угрюмо сидел в углу на диване и видимо скучал. Он бессмысленно скользил глазами по лицам и фигурам гостей, по предметам в комнате, как вдруг взгляд его остановился на чём-то и оживился. В шкафу, за стеклянной дверцей Макс заметил высокий красный баллон с крахмалом, каковой обычно используется хозяйками при глажении белья. Макс зашевелился: этот яркий баллон чрезвычайно заинтересовал его. Но пройти через всю комнату на глазах у гостей, открыть стеклянные дверцы и вытащить баллон из шкафа Макс не мог себе позволить даже в экстагическом расположении. Тогда Макс пошёл на хитрость. Он вылез из своего угла и, как ни в чём не бывало, присоединился к танцующим. Не удержавшись, кого-то ушипнул, кого-то погладил, потоптался на месте, покружился, а когда перестал уже обращать на себя внимание, подвинулся к шкафу. Так он дотанцевал до заветной стеклянной дверцы и, улучив момент, завладел красным баллоном. Сорвав с баллона крышку, Макс просиял. Потом оглядел комнату так, как будто получил над всеми неограниченную власть, и в следующую минуту, подавшись вперёд всем телом и раскинув руки, прыгнул на одной ножке в самую людскую гущу. Одновременно с прыжком он нажал на кнопку баллона, который держал перед собой в правой руке. На головы гостей опустилось крахмальное облако. Кто-то закашлялся. А Макс, которому удалось довольно далеко отпрыгнуть, развернулся и, не теряя времени, прыгнул в обратную сторону. Воздух в комнате загустел, и даже как будто испортилась видимость.

— Да отберите же у него баллон! — раздался среди всеобщего недоумения женский голос.

И тут же несколько человек бросились на Макса. Но Макс не собиравшись расставаться со своей добычей. Пытавшихся вырвать у него баллон Макс окатил крахмалом и вынудил отступить. После чего продолжил свои экзерсисы. Кто-то схватил его сзади за руки, но Макс успел выпустить струю крахмала и пронзительно завизжал. В комнате стало невозможно дышать, и гости, оставив Макса, отретировались в прихожую. Праздник был безнадежно испорчен, к тому же в комнате на столе остались кушанья, над которыми Макс распылял крахмал. Одним словом, встречу решено было перенести, и гости разъехались. А Макс, оставшись один в накрахмаленной комнате, водворил баллон на прежнее место, уселся в свой угол и задремал...

Когда мы уже после бара и разговоров о масонских ложах оказались в метро, Макса посетила новая смелая фантазия. Этого я и боялся. Мы сели на «Белорусской», сам-то я живу на «Соколе», Макс же с Викторией, чтобы попасть в Земледельческий переулок, нужен «Парк культуры», но, не слишком доверяя Виктории, я отправился провожать Макса.

Был тот час, когда метро обычно пустеет. Кроме нас в вагоне сидели ещё четверо. Макс, расположившийся на скамейке, был смирен и молчалив, правда, чему-то загадочно улыбался. На следующей станции, на «Краснопресненской», едва только поезд остановился и двери с грохотом разъехались в разные стороны, Макс, точно подброшенный огромной невидимой пружиной, вскочил с места и выбежал вон из вагона. Следом за ним подскочила Виктория, за ней — я. Мы нагнали Макса возле эскалатора. Макс был страшно доволен собой. Он молчал, но лицо его выражало чрезвычайное удовлетворение. Он покорно пошёл за нами, хотя и не удостоил объяснениями, позволил усадить себя в вагон, устроился поудобнее и даже закрыл глаза. Как вдруг на следующей станции, на «Киевской», всё повторилось. Подскочил как на пружине Макс, подскочила Виктория, подскочил я. Но, выбежав в зал, я никого из них не увидел. Вагон наш оказался напротив перехода, и, должно быть, они умчались туда. Я прошёлся взад-вперёд по залу, постоял немного и поехал домой.

* * *

А наутро выпал снег. То весеннее настроение, которое ещё вчера царило повсеместно в Москве, разом вдруг исчезло. Снова потянуло холодом, снова нахмурилось, снова захлюпало под ногами. Один ветер, казалось, был рад. Присвистывая, носился он по улицам и разбрасывал кругом себя хлопья мокрого, тяжёлого снега.

— Марток — надевай сто порток, — сказала мне мама и заставила надеть тёплый свитер.

Из дома я вышел в самом скверном расположении. Вчерашняя водка стучала у меня в висках, погода давила, внезапный откат к зиме злил чрезвычайно. Но главное, я чувствовал какой-то неизъяснимый и неуместный трепет. Я как будто ждал, что случится нечто важное, нечто такое, что опрокинет разом всю мою жизнь. Сначала я приписал это состояние спиртному, но потом решил, что причина всему Макс со своими масонами. Ожидая от сегодняшнего вечера чего-то невероятного, он, по всей видимости, и мне сумел внушить ожидание и трепет. В то же самое время я понимал, что ожидать от детского праздника какого-то чудесного, фантастического влияния — по меньшей мере, глупо и что разочарование — неизбежный спутник подобного рода ожиданий. Понимание, однако, не прибавляло спокойствия. Мысленно я обрушился на Макса, вина которого усугубилась ещё и тем, что он не явился на лекции. Это обстоятельство окончательно взбудоражило меня. Я чувствовал себя оставленным, как будто вдруг выяснилось, что мне одному предстоит исполнить неприятное и совершенно непосильное дело. С каким-то особенным нервным нетерпением я целый день ждал появления Макса. На лекциях я то и дело косился на дверь, на переменах я озирался и вглядывался в лица. Сердце моё стучало, в животе я ощущал пустоту и дрожь. Когда ко мне обращались, я пугался. Когда о чём-нибудь спрашивали — отвечал невпопад, потому что, как ни напрягался, не мог понять, чего хотят от меня. Что-то похожее я испытывал обычно перед экзаменами. «Ну в чём дело? — думал я в сильном раздражении на самого себя. — Ну не придёт он — мне же лучше... Вечером дома посижу... В масонов я всё равно не верю, да и дела мне нет до них... Детский праздник мне тоже... даром не нужен... Короче, никаких причин тащиться сегодня вечером по мерзкой погоде куда-то в Лефортово у меня нет... Так чего же ты весь дрожишь?!»

Я и вправду не мог справиться со своим волнением. Я убеждал себя, что волноваться мне нечего. Я уговаривал себя забыть неудачную выдумку Макса. Я внушал себе, что вечер проведу дома: пораньше лягу спать или почитаю «Собаку Баскервилей». Я всегда читаю «Собаку Баскервилей» после трудного дня — помогает расслабиться. Я даже пытался представить, как приеду домой, переоденусь, напьюсь чаю, потом устроюсь с книжкой у себя на диване, закутаюсь в плед... Но волнение, а может быть, неясное предчувствие, не оставляло меня.

Макс появился в Институте только к концу дня: я встретил его в гардеробе. Он с напускным безразличием рассказывал двум «лингвистам» о вчерашних своих подвигах. При этом, конечно, врал как сивый мерин. Увидев меня, он заметно оживился, оборвал рассказ и поспешил распрощаться с аудиторией.

— Слушай, что это за водка была вчера, а? — на ходу объявил он мне вместо приветствия.

— Пить надо меньше, Макс. Где ты был?

— Спроси лучше, где я не был, — самодовольно ухмыльнулся он.

— Ну и где же ты не был?

— В MacDonalds`е не был...

Как ни странно, я обрадовался Максy, на которого ещё недавно злился и которого обвинял в дурном на себя влиянии. И пока Макс рассказывал мне о своей головной боли и не прекращавшейся дурноте, о том, что у бабушки его «очень кстати» заболела двоюродная сестра в Ступино, и бабушка на несколько дней отправилась в Ступино выхаживать одинокую родственницу, так что мучимому похмельным синдромом Максy пришлось «в рань глухую» провожать бабушку на Павелецкий вокзал, — пока Макс излагал мне в подробностях все утренние свои злключения, я испытал что-то вроде прилива нежности к своему непутёвому другу. Макс был очень бледен, синеватые круги лежали у него под глазами, к тому же, я заметил, что он поминутно щурился и хмурил брови — действительно, головная боль не оставляла его.

— Не в том, конечно, смысле, что она кстати заболела, — довольный своим каламбуром, объяснял он мне, — не дай Бог... то есть дай ей Бог здоровья... тьфу, тьфу, тьфу, — он так энергично принялся отплёвываться, что мне пришлось сделать шаг в сторону. — А в смысле, бабушка кстати уехала... Как раз, пока её нет, Виктория...

— Мы едем сегодня к масонам или нет? — оборвал я Макса.

Несколько секунд он молчал, недоверчиво оглядывая меня.

— Конечно, — осторожно сказал он наконец, — а ты что... передумал?

— Нет, — вздохнул я.

— Тогда давай вот что... — он подтолкнул меня к вешалке, как бы приглашая одеваться, — давай сейчас по домам? Так?.. А в 6.30 возле ДК МЭИ... ДК МЭИ — это у нас что? Это у нас «Авиамоторная», так?.. Слушай, давай так... давай я заезжаю за тобой в пять... Идёт?.. Полтора часа-то нам хватит...

Я не знаю, как в других городах, но в Москве расстояние принято измерять минутами и часами. И на ваш вопрос: «Как далеко?» вам

непрерывно ответят: «Столько-то минут». Расчёт Макса был прост: от моего дома до метро — минут пятнадцать. Точнее — семь минут пешком, потом несколько минут ожидания на остановке, потом любым троллейбусом или автобусом одну остановку до круга, что возле метро, а это ещё минут пять, ну и пара минут, чтобы дойти до «Сокола». От «Сокола» до «Новокузнецкой» — минут двадцать, плюс минут пять переход и ещё минут десять до «Авиамоторной» — всего примерно час. От «Авиамоторной» до ДК МЭИ, что в Энергетическом проезде, — ещё минут пятнадцать-двадцать пешком.

Я намеренно останавливаю внимание читателя на этих мелких и совершенно неинтересных подробностях. Очень скоро всё разъяснится.

Полтора часа хватало нам с запасом. Однако Макс появился у меня только четверть шестого.

— Проспал, — объяснил он своё опоздание. — Вроде и не пили много, а башка трещит целый день... Водка, я думаю, была палёная... Тут ещё вставать пришлось... ни свет ни заря...

— А где твоя... тётя лошадь? — спросил я, шнуря ботинки.

— Это ты про Викторю?... Дома сидит... чего ей ещё делать-то?.. Бабушки нет, она там хозяйничает... Блинов, говорит, нажарю...

— Ну-ну... — мне бы очень многое хотелось выразить Макс, но в тот момент напряжение моё достигло того предела, когда уже не просто говорить, но и думать о чём-то постороннем становится не под силу. Я весь дрожал, а ладони мои оставались влажными. Я думал только о том, чтобы поскорее всё разрешилось, чтобы приехать на место, а там уж хоть в масоны, хоть в зрители — всё едино — лишь бы определённость.

Макс тоже заметно волновался. Лицо его выражало озабоченность и вместе с тем растерянность. Я обратил внимание, что он принарядился, и это показалось мне смешным. Волосы он, не скупясь, набриллинил и, разделив пробором, аккуратно зачесал набок. При этом как-то по-особенному закрутил назад прядку надо лбом. Щёки и подбородок он тщательнейшим образом выбрил. Вместо обычной своей кожаной на меху куртки он нацепил длинное синее пальто из мягкой чуть ворсистой ткани, которое ему очень шло. Из-под пальто, я заметил, выглядывал синий шерстяной костюм. В то время в большой моде были так называемые солдатские ботинки — высокие, на толстой подошве, со шнуровкой, не слишком богатые модники даже покупали у старух с Тишинки настоящую солдатскую амуницию. Макс же носил дорожные боты, только имитирующие солдатские — из гладкой, мягкой кожи, на пластиковом полупрозрачном и ребристом ходу; кто-то пошутил, что «шнурки у Мак-

сима, наверное, шёлковые». Но, собираясь к масонам, Макс нашёл в себе силы расстаться на время с предметом своей гордости и обулся в изящнейшие штилеты. «Откуда у него такие?» — подумалось мне. Действительно, я и не подозревал, что Макс хранит у себя дома щёгольские туфли. Однако я решил не показывать Макс, что фраппирован его костюмом, к тому же, повторяю, мне было не до этого.

Что касается меня, я и не собирался наряжаться. Единственное, что я предпринял, это облачился во всё новое: новые голубые джинсы, новый белый свитер с высоким горлом. Я был вполне доволен собой.

Мы вышли от меня в пять двадцать пять. Всю дорогу до метро мы молчали и, занятые своими мыслями, ни разу даже не обратились друг к другу. Я не помню в точности, о чём думал тогда. Помню только, меня чрезвычайно занимало одно чувство. Я как будто упивался предвкушением грядущих событий, странным образом не придавая значения самим событиям. «Возможно, мы увидим сегодня новых и особенных людей, — думал я, — может быть, даже масонов. А может быть, мы и сами станем сегодня масонами...» Здесь сердце моё замирало, потом проваливалось куда-то, потом выныривало и с новой, удвоенной силой принималось стучать — похожее ощущение бывает на «американских горках» и тому подобных аттракционах. И вот именно это ощущение и занимало меня. В масонов я никогда не верил, да и не в масонах тут было дело: я зачем-то пытался поддержать в себе то особенное, мучившее меня целый день, нервное возбуждение. А в какой-то момент, уже на улице, я вдруг ясно ощутил, что волнение оставило меня. Я был совершенно спокоен, однако, трепет, владевший мною весь день, я находил теперь приятным и уже сам не хотел расставаться с ним. Нарочно, точно поигрывая, я старался вновь вызвать его.

Из окна троллейбуса я наблюдал за машинами и изводил себя тем, что «расшифровывал» буквы на номерах — изнурительное, но неотвязчивое занятие. Я даже думаю, что это что-нибудь нервное. Такие навязчивые состояния порой просто одолевают меня. Помню, однажды я шёл следом за какой-то дамой, и вдруг мне пришло в голову, что вот если сейчас она повернёт куда-нибудь в сторону, и мы разойдёмся с ней, то ведь я никогда уже не узнаю, какого цвета у неё глаза. «Никогда! Никогда в жизни!» — вертелось у меня в голове. Это так напугало меня, что я прибавил шагу и, обогнав вселившую в меня ужас даму, заглянул ей в лицо.

Глаза у дамы оказались серыми. Выяснив это, я в ту же секунду успокоился и забыл о ней. Вспоминая потом свой нелепый поступок, я смеялся над собой. «А что, если бы ты был близорук как Макс? Вооб-

ражаю, что бы началось, когда, придвинувшись вплотную, ты стал бы разглядывать цвет её глаз!»...

Вот проехала мимо «шестёрка» с номером Х153РС. «Хрен редьки слаще», — лезло мне в голову. Вот «Москвич» О257РТ. «Орден рыцарей-тамплиеров... Тыфу! Ерунда какая!» И снова это сладкое томление... «Мерседес» Н777ТВ. «Нет трус~~ов~~ вообще... Идиотизм!» «Волга» М395ВН. «Масоны — враги народа»...

Только в метро я очнулся от этого наваждения. Часы на платформе показывали пять сорок. Мы с Максом опаздывали. Мечты, занимавшие меня дорогой, испарились, и я снова заволновался и засуетился.

— Да мы никуда не успеем! — кричал я на Макса.

Макс поморщился.

— Поедем по-другому, — важно объявил он.

— По какому другому?

— Другой дорогой... И чего ты так долго копался?

— Я?! Копался?!

В это время подали поезд. Двери разверзлись, толпа подхватила нас, занесла в вагон и тот же час рассеялась, выстроившись цепочкой под поручнями и заняв собой все свободные ещё уголки. Мы устроились под схемой, изучением которой и занялся Макс. Он очень серьёзно оглядывал её, шевелил губами и даже потрогал.

— Нормально, — сказал он наконец.

— Что нормально?

— Успеем...

Я не стал выяснять, что он там придумал. Я решил не вмешиваться, переложив тем самым всю ответственность за возможное опоздание на Макса. Конечно, здесь было некоторое малодушие, но тогда я не думал об этом.

Спустя десять минут, на «Белорусской», мы вышли из вагона, и Макс устремился в переход. Когда же мы оказались на Кольцевой линии, часы на платформе показывали без пяти шесть. «Новослободская», «Проспект Мира», «Комсомольская», «Курская», «Таганская», снова переход — на часах двадцать минут седьмого. «Площадь Ильича», «Авиамоторная», длиннющий, наверное, самый длинный в Москве, эскалатор вверх.

— Уже половина седьмого, — рычит Макс.

Наконец мы выскакиваем из метро и, сломя головы, Макс впереди, я за ним, несёмся сначала по Авиамоторной, а затем сворачиваем в Красноказарменную.

— Где-то здесь, — кричит мне, задыхаясь, Макс, — справа... поворот...

Вдруг он останавливается, крутит головой и тяжело дышит. Я смотрю на него и не понимаю, в чём дело.

— Прошли... — с трудом выговаривает он.

Ах, прошли! Да, действительно, «прошли». Делать нечего, возвращаемся. Вот наконец и поворот. Только теперь уже слева. Макс забегает в переулок, я за ним. Так и есть. Энергетический проезд. Вот слева высокое старое грязно-жёлтое здание с колоннами и лепниной. Вот таксофон. Нет только Майки. Времени — без четверти семь.

* * *

Как два дурака стояли мы возле таксофона и вертели головами. Макс всё никак не мог поверить тому, что Майка не дождалась нас. Он обошёл кругом Дворец Культуры, поискал другой таксофон — заглянул под каждый куст.

— Ты что, думаешь, она прячется? — спросил я.

Как только я понял, что Майки, а заодно и масонов сегодня вечером нам уже не видать, мною овладело какое-то безразличие. Я даже зевнул несколько раз. Но Макс просто не мог смириться с тем, что не стал масоном.

— Ну к-как мы могли опоздать! — вскричал он, с силой пнув железную ногу таксофона. — Ну как!

На Макса жалко было смотреть. На лице его было прописано такое отчаяние, что капли от мокрого снега на щеках вполне сошли бы за слёзы. Новое пальто его всё измялось и было забрызгано грязью. То же и брюки. Мокрые волосы растрепались, прядка надо лбом обвисла и стала похожа на чёлку Гитлера. Штилеты, которые Макс впервые достал ради такого случая, совершенно потерялись под слоем буровой жижи.

— И зачем я только поехал к тебе! А? Надо было в центре где-нибудь встречаться... Зачем я попёрся на твой... «С-сокол»...

— Сам же и предложил. Сам же и опоздал... Чего теперь?

— Вот именно... Чего теперь?

— Да ничего... В другой раз поедешь...

— Другого раза не будет. Она больше не позовёт... обидится...

— Ну не позовёт и ладно... Не очень-то и хотелось... Сейчас-то чего? Не ночевать же здесь.

Мы поплелись обратно. На Красноказарменной, возле МЭИ, Макс остановился, похлопал себя по карманам, достал из пальто сигареты и закурил.

— Напиться, что ли? — брякнул он, с удовольствием выдыхая перед собой облако серого дыма.

— У тебя, никак, голова прошла?.. А потом, Макс, тебя блины дома ждут...

Макс грустно усмехнулся в ответ.

— Хочешь, поедем ко мне на блины, — как-то вяло предложил он.

— Нет уж. Спасибо, дружище.

Он снова усмехнулся. Помолчали.

— Слушай, а чего это тебя понесло в объезд? — спросил я, вспоминая почему-то предложенную Максом «другую дорогу».

Макс скривился и пожал плечами.

«Если бы кто-нибудь наблюдал за нами со стороны, — думал я, когда мы спускались в метро, — то, наверное, решил, что мы приехали сюда ради пробежки. А если бы за нами наблюдал человек с фантазией, он выдумал бы историю о двух чудаках, которые каждый день, принарядившись, приезжают в Лефортово, чтобы дважды промчатся на всех парах по улице Красноказарменной. После чего “усталые, но довольные” возвращаются домой».

Да, я был уверен, что мы возвращаемся домой. Но как я ошибся! Поистине, это был день сюрпризов.

Усевшись на свободное место в вагоне, Макс немедленно согнулся в три погибели: упёрся локтями в колени, уронил лицо на ладони и замер. Вид у него был невесёлый. Я просто смотреть спокойно не мог на эту скрюченную фигуру и, не выдержав, толкнул его в плечо.

— Макс! Ты что, с похорон едешь?.. Вот беда-то — на детский праздник не попали!..

Две девицы напротив с интересом наблюдали за нами, то и дело обмениваясь словечками и хихикая. Обе они были одеты во всё чёрное, шеи и руки их были обвешены какими-то железными побрякушками. Девицы смотрели на нас зазывно. Но нам было не до них.

— Какой мы шанс упустили! — не разгибаясь, Макс повернул ко мне голову. — Какой шанс!..

— Да какой шанс-то! — закричал я, но, опомнившись, понизил тон. — Какой шанс?.. Даже если там на самом деле были масоны, зачем они тебе? Ты что, всерьёз собираешься вступать в масонскую ложу? Зачем?.. Зачем тебе быть масоном?

Макс как-то странно, так что я слегка испугался, посмотрел на меня и спросил грустно:

— А чего ещё делать-то?

Признаться, я не нашёлся, что ответить. И только, чтобы не повисала пауза, проворчал себе под нос:

— Тебя туда всё равно не примут...

Поезд остановился. Девицы в чёрном встали и, стрельнув напоследок в нашу сторону глазами, вышли. Их места тотчас заняла сухонькая, седенькая, с замотанными в пучок тонюсенькими косицами суетливая старушонка, только что первой ворвавшаяся в вагон. Заняв собою одно место, она немедленно заняла другое сумкой. Это была довольно громоздкая хозяйственная кожаная кошёлка с двумя подковообразными ручками. Такая точно кошёлка из кожи болотного цвета была у моей бабушки. Бабушка ходила с ней по магазинам, а когда возвращалась, из сумки обычно выглядывали батон белого хлеба, горлышко стеклянной бутылки, покрытое зелёной фольгой, рыбий нос, букет зелёного лука и прочая снедь. Почему-то бабушка нипочём не хотела расставаться с этой кошёлкой. И сколько мы ни смеялись, сколько ни дарили ей новых, модных, как нам казалось, хозяйственных сумок, бабушка не сдавалась. И каждый раз кефир, батон и зелёный лук попадали к нам в дом исключительно в этой неуклюжей кошёлке, которую мой двоюродный брат прозвал «ридикюль Крупской». Глядя на старушку в метро, я вспомнил это прозвище. «Ридикюль Крупской», — подумал я. Мне стало смешно. Я повернулся к Макс, чтобы показать ему ридикюль Крупской, но Макс одним своим видом отбил у меня охоту веселиться. Разглядывая пассажиров, я как-то забыл про его «горе», и теперь, когда я снова наткнулся на эту бестолковую скорбь, я взъелся на Макса.

— У тебя, Макс, по-моему, крыша едет, — толкнул я его. — Ну ты ещё поплачь, поплачь!.. Тоже мне... вольный каменщик...

Макс молча выслушал и только тяжело вздохнул в ответ. Я тотчас пожалел, что сорвался на этом полоумном и даже несколько устыдился своих слов. И чтобы хоть как-то утешить Макса, я сказал уже прикритично:

— Ну чего ты, правда, Макс?.. Ну чего, тебя в пионеры, что ли, не приняли?.. Ну чего ты киснешь?.. Помнишь, ты говорил, что у тебя какая-то богемная тусовка есть?

— Меня туда тоже не принимают, — тихо сказал он, не отрывая глаз от ног vis-a-vis.

— Почему? — спросил я более из сострадания, чем из любопытства.

— Потому что я должен привести с собой интересного человека. Ну, не просто интересного, а какого-то выдающегося. Без этого туда не пустят... Я вот думал, кого бы...

— Ты чего? — я с ужасом уставился на Макса и даже чуть отодвинулся от него, потому что он вдруг перевёл глаза от ног старушки с ридикиюлем на меня. Я и не подозревал у Макса такого взгляда. Он смотрел на меня как на добычу. Обыкновенно так смотрят вампиры в кино на потенциальных жертв. В этом взгляде азарт, жестокость, сладострастие, жажда крови и предвкушение удовольствия переплетаются в один адский букет.

— Выйдем, — хрипло прошептал Макс.

— Никуда я с тобой не пойду. Ты чего?

— Выйдем... пожалуйста, — он схватил меня за локоть и потянул. Страшный взгляд потух. Теперь он смотрел на меня просительно, и я понемногу успокоился — передо мной был прежний Макс. Но на всякий случай я решил сопротивляться.

— Да зачем нам здесь выходить?

— Ну я тебя прошу... ну пожалуйста... Я тебе сейчас всё объясню... Это что у нас? «Марксистская»?.. Мы сейчас на «Таганку» перейдём, и я тебе всё объясню.

Поезд остановился. Макс схватил меня за рукав куртки и вытащил из вагона.

— Что опять? Куда ты меня тащишь? — сыпал я вопросами. — При чём тут «Таганка»? Почему ты здесь не можешь объяснить?

— Сейчас всё объясню, — шептал Макс, — сейчас... сейчас...

Наконец мы пришли. Макс остановился, похлопал ладонью белый мраморный пилон и, как-то недоверчиво заглядывая мне в глаза, спросил:

— Ты мне друг?

— Ну точно! Крыша съехала у хлопца!.. — я отвернулся от него и сделал вид, что разглядываю ближайшее к нам голубое стрельчатое панно с барельефным профилем солдата в круглой шапке.

— Не, ну скажи! — настаивал Макс.

— Во-первых, об этом тебя надо спросить. А во-вторых, говори прямо, чего тебе надо.

Макс помолчал немного, точно собираясь с мыслями, погладил белый пилон и робко, заискивая, сказал:

— Пойдём со мной... на одну тусовку.

— На какую?

— На ту самую... на богемную.

— Ты хочешь, чтобы тебя уже не одного, а вместе со мной выгнали? — усмехнулся я.

— Нас не выгонят.

— Ты же говорил, что нужен выдающийся человек?

— Он у нас есть.

— Да-а?! И где же он? — я вытащил из карманов руки и стал крутить головой, изображая изо всех сил, что хочу отыскать выдающегося человека, только что бывшего здесь и вот затерявшегося где-то у меня под ногами.

— Это ты.

— Что-о-о?!!

Два этих коротких слова привели меня в бешенство. Клянусь, было мгновение, когда я хотел треснуть Макса по лбу. Но вместо этого я расхохотался. Проходившая мимо девочка-подросток шарахнулась от меня в сторону и потом долго ещё оглядывалась.

— Ну и за кого же ты меня выдашь? — хохотал я. — За гиганта мысли? За отца русской демократии?

— Ну... вроде того, — Макс был спокоен; эта бредовая идея уже успела прочно овладеть им.

— Что это значит: «вроде того»?

— С тебя же никто не станет спрашивать диплома или там... удостоверения. Так?

— Ну, допустим.

— Мы скажем, что ты — молодой и подающий надежды философ, автор новейшей философской... доктрины.

Именно в эту минуту я испытал на себе, что такое потерять дар речи.

— Как ты себе это представляешь? — спросил я, опомнившись. — Если спросят, что за доктрина такая, что я скажу?

— Это не важно...

— Это тебе не важно, потому что я окажусь в дураках и я же получу пинка под зад!

— Ну ты же увлекаешься философией... доклады какие-то пишешь... А потом пойми, не важно, что именно ты будешь говорить. Главное, не молчать...

— Хорошо... Скажи мне, что за люди там соберутся.

— Разные люди... Известные... Ну какая разница, какие люди?

— Да? А если там философы?

— Чудак! Да пойми ты, дело не в том, что именно ты скажешь, а в том, слышали они это или нет. Главное — новизна, оригинальность и эпатаж. Хорошо, конечно, если б ты смог их шокировать!.. Но даже если и не получится — ничего... Можно смело говорить любую чушь, знай тверди: «Это моё мнение... Это моё убеждение. Даже если оно ошибочно, оно имеет право на существование». Понимаешь?

— Почему ты сам этого не сделаешь? — я ехидно прищурился.
Макс замялся.
— Меня там уже знают, — вздохнул он.
— Кто?
— Хозяйка.
— Кто такая? И вообще, — я вдруг понял, что Макс до сих пор ещё не разъяснил мне, куда, собственно, он меня приглашает, — может, ты меня просветишь, а? Куда мы идём, что за люди там? Никуда я не пойду, пока ты мне не расскажешь...
— Ну, это вроде как салон...
— Хозяйка что, камелия, что ли?.. «Салон»!..
— Не-ет! Она журналистка!
— А-а-а!... недалеко ушла... Валяй дальше.
— В общем, хозяйка — дочка моего отчима.
— Выходит, твоя сводная сестра.
— Ну да... Дед её, по матери, был какой-то академик. Поэтому у них в доме уже давно такая тусня... Ну там артисты разные, учёные, писатели, музыканты... Ну, разные люди... Я раз туда сунулся, так она меня выперла.
— Тебя в дверь, а ты в окно?
— Дело-то не в ней... Если б я к ней так рвался... Короче, она говорит: «Приведёшь мне интересного человека, пуцу тебя». Вот я и приведу. Пойми, нам с тобой таких людей больше нигде не встретить. А это связи... Знаешь, тусовка сейчас всё решает.
— И ты думаешь, они нас не раскусят? — осторожно спросил я.
— Ка-ак? Я тебе объясняю... Ты телевизор-то вообще смотришь?.. Вылезает на экран какая-нибудь картавая тётя килограмм на сто, порет на всю страну дичь несусветную и ничего... не краснеет. Твоё дело — не краснеть, понял?
— Хорошо. Представим, что я картавая тётя. Что конкретно я буду говорить? В чём заключается моя... доктрина?
— По местности ориентируемся. Я тебе помогу. Просечём, что они там обсуждают, вклинимся как-нибудь... Я, например, скажу: «Иннокентий думает так-то». А ты делай глубокомысленное лицо и небрежно поддакивай. Понимаешь, ты — философ, ты — гигант мысли, тебе многое позволено, поэтому ты и ведёшь себя небрежно... Они там все такие... небрежные, — он махнул рукой.
— А что, это обязательно — вести себя небрежно?
— Ну не веди себя небрежно. Главное, веди себя уверенно. Запомни: на воре шапка горит...

Впоследствии я любил припоминать одну забавную деталь: как незаметно мы с Максом поменялись ролями. Признаюсь, я довольно быстро купился на артистов. И уже всерьёз подумывал о том, что я, как «автор новейшей философской доктрины», смогу предложить всей этой публике. Но, кроме того, меня привлекла авантюренность предприятия. Ведь Макс предлагал мне настоящее античное приключение, плутовской роман, водевиль с переодеванием. И вот уж он наставлял меня, а я слушал, мотал на ус и приуговлялся выступить в новом качестве.

* * *

Макс привёл меня в Гончарную улицу, в четвёртый этаж одного громоздкого сталинского дома. Идти было недалеко, но мне дорога показалась бесконечной. Снова я дрожал, снова сердце моё стучало, и ладони снова были влажны. Я совершенно ясно осознавал, что от волнения утратил способность что-либо соображать. И это было мучительно. Ни одна мысль, приходившая ко мне в голову, не получала продолжения и повисала, точно ненужная тряпка на ржавом гвозде. Я боялся, что не только не сумею изложить «модную философскую доктрину», но и двух слов-то не свяжу. И всё-таки покорно шёл за Максом.

Мы поднимались пешком. Макс, точно не замечая лифта, прямоком направился к лестнице. Лестница оказалась хорошей: чистой, широкой, светлой. Макс шёл впереди, тяжело и медленно шаркая по ступеням ногами, и шаги его гулко отдавались в каждом этаже. Никто не встретился нам на лестнице. Наконец Макс остановился. Посмотрев на меня заговорщицки, он выдохнул, как выдыхают перед стаканом водки, перекрестился щепотью слева направо, потом поплевал через плечо и нажал кнопку звонка. Звонок, резкий, визгливый, пронзительный — какой-то скандальный, — заставил меня вздрогнуть и поморщиться. Ждать пришлось недолго. В квартире вдруг послышались голоса и смех, потом всё стихло, потом я различил торопливые женские шаги, всего несколько шажков, потом зазвенел ключ в замке, дверь распахнулась, и передо мной возникла хозяйка квартиры. Макс, продельвавший только что свои нелепые ритуалы перед звонком, оказался где-то сбоку и с краю, и она не сразу заметила его. Вот почему мы какое-то время молча смотрели друг на друга, не отводя глаз. Она — силясь понять, кто я и что мне нужно, я — онемев от восторга, потому что увидел перед собой исключительную красавицу.

На вид ей было лет 27. Роста она была средне-высокого, не худая и не толстая, а вот именно такая, какой должна быть красавица. Волосы её, блестящие, яркие, какого-то необыкновенного медового оттенка, так что на секунду мне показалось, что от неё пахнет мёдом, были гладко зачёсаны назад и стянуты под затылком в хвост. Длинный, пышный, медовый хвост был разделён на две пряди. Одна спускалась на спину, другая, переброшенная через плечо, покоилась на правой груди. Ещё меня поразил цвет её глаз — морская волна, утренняя заря, кобальт с древнерусских икон. Я никогда прежде не видел такого. Она смотрела на меня, на незнакомца, прямо, серьёзно и совершенно спокойно. И в лице её, ни в одной даже черте, я не заметил ничего ни глумливо-ироничного, ни злобно-насторожённого, ни высокомерно-недоверчивого, ни вульгарно-циничного. Это выражение так понравилось мне, что я поневоле улыбнулся — как будто за долгие годы впервые встретил человека. В ответ на мою улыбку она удивлённо повела бровью и, как мне показалось, собралась о чём-то спросить, как вдруг Макс дал о себе знать.

— Привет, — развязно сказал он.

Она перевела взгляд на него, всмотрелась и, узнав, усмехнулась. Макс стоял на одной ноге, засунув руки в карманы брюк, привалившись плечом к стене. Вторую ногу он изогнул кренделем и упёр носком в пол.

— Привет, — сказала она, но с места не двинулась, точно спрашивая тем самым: «Что надо?»

— Вот, познакомься, — Макс кивнул на меня. — Это Кент... э-э-э... Кеша... Иннокентий. Я обещал тебе... И вот... привёл... — говорил он развязно, точно на пол собирался плюнуть.

Она молчала и не двигалась с места. Наконец до Макса дошло, что его объяснения не исчерпывающи.

— Иннокентий — мой хороший... знакомый, — уклончиво начал он, — это известный в определённых кругах философ. В смысле... в прямом смысле. Иннокентий — автор новейшей философской теории, получившей высокую оценку в профессорской среде.

Тут я вспомнил, что совсем недавно писал реферат по Шпенглеру и он действительно получил высокую оценку. «Господи! Что он несёт? — подумал я. — Не знаешь, то ли смеяться, то ли со стыда проваливаться». Но мне не пришлось ни смеяться, ни проваливаться, потому что она протянула мне через порог руку и сказала:

— Алиса. Очень приятно. Проходите.

Мы оказались в небольшой квадратной прихожей. Пахло мокрой кожей, тяжёлыми женскими духами и несвежей одеждой. Справа

и чуть дальше от входа помещалась двустворчатая распашная стеклянная дверь, отделявшая прихожую от комнат. К левой стене прилепилась серая стальная вешалка, крючки которой все были заняты. Также и пол был уставлен обувью всех фасонов и размеров. При виде этой чумазой обуви я немного успокоился. Дело в том, что я терпеть не могу хозяек, почитающих за высший шик и аристократизм предлагать гостям остаться в грязной обуви. По-моему, за такими предложениями кроется стиль жизни и даже целое мировоззрение. Ох уж мне эта советская светскость!

Помню, ещё старшеклассником я оказался вместе с мамой в гостях в одной роскошной квартире. Хозяйка, кажется, озеленитель по профессии, несколько раз в год выезжала в командировки в Швейцарию, в связи с чем дом её решительно отличался от прочих домов. Интерьер слагался преимущественно из соблазнительных зарубежных вещиц. Напитки, посуда, зажигалки — всё было импортным. Одевалась хозяйка на зависть всем подружкам. Например, к нам с мамой она вышла в сногшибательном по тому времени белом махровом костюме. Куртка казалась спортивной, но вместо штанов хозяйские бёдра облегла короткая юбочка.

Посмотреть на привезённые шмотки, которые хозяйка с успехом сбывала знакомым, мы и пожаловали тогда с мамой.

Стоял ноябрь, и казалось, что уличная грязь прилипает и обволакивает с ног до головы. Но едва только я сделал попытку избавиться в прихожей от истекающих грязью ботинок, как хозяйка надула губки.

— Фи-и, — протянула она, — Ке-еша! Что за деревенские замашки? Ты что, из рязанского домика с геранькой к нам прибыл?.. Вытри ножки о коврик и проходи.

И вместе с виновато улыбающейся мамой они скрылись в комнате. Мама уже успела отереть подошвы и обить грязь с востроносых сапожек на тоненьких каблучках. Но мои «ножки» сорок четвёртого размера в ботиночках на протекторе не подлежали, я уверен, очищению через посредство коврика. К тому же замечание и вся его глупость мне решительно не понравились. И я решил доказать бестолковой хозяйке на практике, что оставаться дома в уличной обуви прилично и целесообразно только при наличии калош, и что Москва и Берн — совсем не одно и то же. Я вошёл в комнату и, для успокоения совести, с порога объявил, что калош не ношу. Хозяйка странно посмотрела на меня, хихикнула и пригласила сесть. Мне показалось, что она ничего не поняла.

Я прошёл в комнату и огляделся. В комнате, я сразу это понял, было нечто такое, что, несомненно, могло бы заинтересовать меня. Я чувствовал это, хотя и не сразу смог разглядеть. Такое бывает: смотришь иногда на вещь и не видишь её. Наконец я разглядел это нечто. Это был ковёр. Довольно большой белый пушистый ковёр с мелким геометрическим рисунком. Он лежал посреди комнаты, и на нём помещались стол со стульями. До сих пор я уверен, что этот ковёр был предметом хозяйской гордости.

Я возликовал. На такую удачу я даже и не рассчитывал. Я бросился к ковру, с удовольствием ступил на него, потом обошёл кругом стола и уселся. Следы, которые я оставил на ковре, уже смогли бы произвести эффект, но мне показалось этого мало.

На столе были разбросаны старые номера ярких зарубежных журналов — у нас таких ещё не печатали. Я расположился и занялся прошлогодним номером «Vogue». Ноги свои я поставил под столом плашмя — как два утюга. И уже очень скоро вокруг моих «ножек» появились бурые каёмочки с неровными краями...

Когда мы с мамой собирались уходить, я уже стыдился своей выходки, своей мелочной обидчивости и даже жалел хозяйку, которую, сам не зная зачем, наказал так жестоко. По временам на меня находил какое-то странное злорадное желание одёрнуть, поставить на место. Даже на доброту или простодушие мне иногда хочется ответить насмешкой. И я всегда знал, что поддайся я на этот искуса, сам же первый буду жалеть, стыдиться, изводить себя ощущением собственной мерзости. В тот раз соблазн был слишком велик. Хозяйка не казалась мне ни доброю, ни простодушною. Напротив, это был тип интеллигентной хабалки. Сколько я представляю себе, таковые хабалки — один из самых гнусных отечественных типов, продукт семидесятых годов. Не путать с шестидесятниками. Те, романтические, восторженные, готовые на борьбу с мёртвыми тиранами и верные до слёз делу Ленина, ещё не отъелись после войны, ещё воодушевлены Победой и экзальтированы развенчанием культа. Может быть, мне скажут, что я не имею права судить о времени, в котором не жил. Но в таком случае и учебники истории точно придётся сжечь.

По-моему, шестидесятые годы — это время невысоких притязаний, но высоких амбиций. Но на смену этим чудакам пришла интеллигенция сытая и завистливая. Остались в прошлом тяготы войны и ужасы ГУЛАГа. И вот уже замелькало в умах: *laisser passer, laisser faire, laisser recevoir plaisir*⁴. «Дайте нам недорогой

качественной колбасы, свежих овощей, а нашим детям — модных тряпок. И не мешайте нам жить!». Попробуйте троньте их, помешайте-ка получать удовольствие — и облетит интеллигентская глазурь, проглянет из-под неё хамоватый сноб, лишённый напрочь как аристократизма, так и незлобивой мягкотелости. Этот тип прекрасно показан современной писательницей Липисиновой. Сама яркая представительница этого типа, Липисинова описывает его прямо-таки с ностальгической нежностью. И перед читателем предстают герои, наивно верящие в собственную неотразимость и, как следствие, почитающие всех кругом своими должниками. Цель и стиль их жизни — удовлетворяться всеми возможными способами, что, по мнению Липисиновой, совершенно разумно и наиболее естественно...

Сумбур моих воспоминаний прервал Макс.

— У тебя разуваяются? — спросил он, пытаясь пристроить на вешалку своё пальто и мою куртку.

— Ко мне в гости ходят в чистой обуви, — спокойно ответила ему Алиса. — Или приносят с собой.

— Так ты, по крайней мере, тапки нам дай, — прокричал Макс, прилагавший видимые усилия к тому, чтобы навесить пальто на крючок поверх груды чужой одежды; пальто же никак не хотело навешиваться и всё норовило соскочить с крючка на пол.

Алиса улыбнулась.

— Нет, Максим, у меня никаких *тапок*.

— Что же нам, в носках туда идти?

— Ну, это ваше дело. А в обуви я вас не пушу: вы наследите мне на коврах.

— А все ковры у вас персидские? — подхватил я.

Она снова улыбнулась.

— А потом, — продолжала она, обращаясь к Макс, — такая грязная обувь никого не красит. Вы и так... — она смерила нас по очереди взглядом, — вы и так выглядите странно.

— Но в носках-то... это будет... совсем странно! — Макс смотрел на неё, сиротливо прижимая к груди мою куртку.

— Ну снимите носки и ступайте босиком. Это будет в самый раз. Вам даже пойдёт — вы же философы...

Макс повернулся ко мне.

— Ну чего делать-то?

— Пойдём босиком, — я решил принять эту игру, ведь ходить в гости босиком — это уже само по себе целое приключение.

⁴ Никаких стеснений свободы и удовольствий (фр.)

— У тебя хотя бы тепло? — спросил Макс, покорно присаживаясь на корточки и принимаясь расшнуровывать туфли.

— У меня везде ковры, — спокойно повторила Алиса.

В это самое время в комнатах произошло какое-то движение, точно смеющаяся и без умолку болтающая компания переместилась ближе. Голоса и смех стали отчётливее, даже слова можно было разобрать.

Алиса прислушалась.

— Подождите, — сказала она и скрылась за двустворчатой дверью.

Всё это она проделала неторопливо, нимало не суетясь, напротив, я дивился, сколько спокойного достоинства и невозмутимости было в этой Алисе.

— Нравится? — ехидно спросил меня Макс.

— Дурак, — разозлился я.

— Да ладно!..

Мы сидели рядом на корточках и возились со шнурками, когда из комнат снова послышался шум. Говорили уже рядом, где-то сразу за дверью.

— ...Сдохнет, матушка, сдохнет! — услышал я немолодой мужской голос, так странно приговаривавший, что я невольно прислушался.

— Да кто сдохнет-то, Осип Геннадьевич? — спрашивал звонкий и насмешливый женский голос.

Эти два голоса отчётливо выделялись среди общего гама. Очевидно, шёл какой-то разговор или спор, и эти двое были главными его участниками.

— Матушка вы моя, голубушка, Дарья Ниловна! Материя мёртвая, потому измышление-то человеческое сдохнет скоро, долго не протянет. Да и то сказать: ничего нового-то не придумали.

— Да о чём вы, Осип Геннадьевич?

— О либерализме, матушка! О либерализме, голубушка! Вот о суверенитете-то взглядов и наклонностей, что давеча говорили.

Изъяснялся этот Осип Геннадьевич чрезвычайно странно, точно кривлялся, точно юродствовал.

— Ну и чем же вам не нравится суверенитет взглядов и наклонностей, Осип Геннадьевич? В декларации прав человека написано, что ни один человек не может быть дискриминирован по национальной, половой или религиозной принадлежности. Что ж тут плохого?

— А в Новом-то Завете совсем другое написано: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное». Во, как! И с чем же останемся? С Евангелием или с декларацией?

— Вы с Евангелием, Осип Геннадьевич, я с декларацией — это и есть суверенитет взглядов.

Было понятно, что Дарья Ниловна очень довольна собой и даже, может быть, уверена, что пассажем своим озадачила собеседника. Но собеседник попался из бойких.

— Не выйдет, матушка, Дарья Ниловна, перессоримся!

— Для чего ж нам ссориться, Осип Геннадьевич?

— А не для чего иного, как для единого единства и дружного компанства.

Раздался смех.

— Ну чего ты возишься? Пошли скорей! — зашептал мне Макс, заинтересовавшийся разговором и торопившийся, видно, принять в нём участие. Он уже снял туфли и, готовый в любую секунду сорвать с себя носки, ждал, когда я справлюсь со шнуровкой.

Но я был уверен, что как только мы войдём, да ещё босиком, всё внимание переключится на нас, и разговор тотчас прервётся. А мне очень хотелось услышать продолжение. И я сделал вид, что не могу развязать узел.

— Да сейчас... подожди, — прошептал я.

— То, что для вас, Дарья Ниловна, хорошо, для меня-то сме-ерть! Вы-то ведь с декларацией-то вашей, греха не знаете, добра и зла не различаете — по-вашему, всё хорошо. Вы ведь и убьёте, не поморщитесь, коли на то закон такой выйдет.

— По-моему, хорошо то, что не вредит другим. А Евангелие, Осип Геннадьевич, это ведь, как известно, тоже декларация прав человека, нуждающаяся сегодня в доработке и адаптации.

— С чего ж это вы взяли-то, Дарья Ниловна? И кому ж это известно?

— Всем прогрессивным людям, Осип Геннадьевич. Монополии на истину нет ни у кого.

— Да неужто ж прогрессивные людишки, либералишки-то, и Господа Бога такой монополии лишить успели? — притворно ужасаясь, взвизгнул Осип Геннадьевич.

— На самом деле, монополия на истину есть только у суда и прокуратуры, — торжественно объявила Дарья Ниловна, — потому что их работа — охранять эту истину. А истина, в принципе, одна для всех — декларация прав человека. И лучше этого пока ещё никто ничего не выдумал.

— Да ведь это всё свиньи, матушка! Свиньи!..

— Кто свиньи?

— Гадаринские свиньи-то.
— Не знаю, при чём тут свиньи...
— А это когда люди из страны Гадаринской Спасителю мира свиней своих предпочли...

— А-а-а! — разочарованно протянула Дарья Ниловна.
— Да помилуйте вы меня, Дарья Ниловна, всякая утопия на том свой срок и держится, что дохлые идейки, скудным-то умишком из пальца высосанные, за абсолютные и всем полезные ценности преподносят! Я-то вам — об Откровении Божьем, а вы мне — о чьей-то нездоровой фантазии. Я-то вам — научите людей Слову Божию, а вы мне — напишите побольше законов. Я-то ведь за то, чтоб человек не хотел никого обижать, а вы — чтоб боялся. Да и не всё в жизни законами отладить-то можно. Не на всё они полезные...

— Хотите сказать, что среди религиозных людей больше нравственных? — перебила Дарья Ниловна, снова довольная пришедшим в голову пассажем и, очевидно, почитающая его за иезуитскую каверзу.

— Статистики такой не имею. А потом, что и нравственностью считать. Что для вас, Дарья Ниловна, нравственно, для меня-то, может, и смерть. И ежели религию за средство к исправлению нравов держать, то, пожалуй, что она и бессмыслицей выйдет. Здесь-то вы, Дарья Ниловна, правы. Да только не в том её назначение. Религиозные, а я, Дарья Ниловна, про православных толкую-то, про православных, религиозные Идеал знают, к Нему всю жизнь бредут, спотыкаются. И не смотрите вы на них в падении, вы в восстании на них посмотрите — ста-арая истина.

— А при чём тут православные-то, Осип Геннадьевич? — весело воскликнула Дарья Ниловна.

— Так ведь мы искони православные. Терпеть, повиноваться, жалеть, прощать — откуда же у нас, как не от православия?

— Свойства-то какие рабские...

— Рабские, матушка! Рабские, голубушка! — обрадовался чему-то Осип Геннадьевич. — От вас-то я и услышать другого не ждал...

— В свободном обществе, Осип Геннадьевич, и это закреплено Конституцией, люди могут исповедовать любые религиозные взгляды...

— И-и-и, милая! Вот тут-то религия бессмыслицей и выйдет! Ведь из одной печи да не одни калачи. И вот тебе, Дарья Ниловна, весь мой сказ: был себе царь Додон, построил он костяной дом, набрали со всего царства костей — да и перемочили, стали сушить, а кости-то и пересохли, опять намочили. А когда намокнут, тогда доскажу.

Тут дверь перед нами распахнулась на обе створки, и мы увидели маленького шустрого человечка с седым вихром на полысевшей макушке. Шуплое, морщинистое личико его казалось бы дряблым и безвольным, когда бы не глаза — маленькие, выцветшие, но чрезвычайно пронзительные и юркие.

— Ба-а! — воскликнул он, увидев нас с Максом. — А это что за голытьба голоногая, теребень кабацкая?

Мы с Максом, оба босые, стояли рядом и смотрели на него во все глаза. Макс — засунув руки в карманы брюк, я — держа в каждой руке по носку. Из-за спины Осипа Геннадьевича на нас смотрели несколько пар любопытных глаз.

— Здравствуйте, господа, — сказал Макс.

* * *

— Кто это? — шепнул Макс Алисе, указывая кивком на Осипа Геннадьевича, бормотавшего себе под нос что-то уж совершенно непонятное и торопившегося одеться.

— Так... Привёл один человек, — вздохнула Алиса, приглашая нас жестом пройти в комнаты.

Мы вошли в распахнутую дверь, как будто пересекли какой-то рубеж, отделявший нашу прежнюю жизнь от новой, и оказались в просторной передней, освещённой слабым, приятным светом. Нас встретил слабый запах алкоголя и раздушенных женских тел. Налево были две комнаты — дверные проёмы светились на стене яркими пятнами. Из комнат доносились голоса. Прямо тянулся широкий коридор, по обеим сторонам которого прилепились по нескольку дверей. За одной из дверей — где-то там, в конце коридора — гремела музыка.

Направо под каким-то цветастым плакатом помещался небольшой ярко-синий кожаный диванчик на стальных ножках. Образовав с диваном круг, стояли два таких же кресла, в центре круга — стеклянный столик.

В передней нас встретила небольшая компания. Кое-кто сидел на диване и в креслах, два или три человека стояли. Все с любопытством смотрели в нашу сторону.

Первое время я решительно не мог различить лиц. Все они смешались для меня в одно громадное пёстрое пятно, колышущееся и трепещущее. Но пока Алиса рекомендовала нас, объясняя, кто мы и почему босиком, я понемногу оправился и стал приглядываться. Удивление и,

к стыду моему, восторг от увиденного снова заставили меня поволноваться. Так что я даже отвернулся от гостей, сделав вид, будто осматриваюсь в комнате. Дурными манерами и, по совету Макса, небрежностью я хотел скрыть, а если получится, то и унять своё волнение. А волноваться было из-за чего.

Люди, которым я только что был представлен, оказались все, так или иначе, мне знакомы. Всё это были властители дум и душ. Кого-то из них я видел по телевизору. О ком-то читал в газетах или журналах, которые мама складировала в туалете — единственном месте, где я иногда просматривал прессу. Но всего более, почти до дрожи, до озноба, меня удивило одно лицо. Передо мной на синем диване, развалившись, закинув нога на ногу, сидела писательница Даша Липисинава. Это о ней думал я несколько минут тому назад, и это именно с ней спорил Осип Геннадьевич — я вдруг вспомнил, что Липисину, которая в свои пятьдесят рекомендуется Дашей, в действительности зовут Дарьей Ниловной.

Липисинава всегда считалась прогрессивной писательницей. А само слово «прогрессивный», как известно, подразумевает сегодня борьбу за что-то такое, что давно уже есть в просвещённой Европе и чего до сих пор ещё нет у нас. И Липисинава со всем пылом немолодой своей души боролась за права женщин. Я не очень понимаю, что это значит; по-моему, женщины и мужчины и так уравниваются в правах. Наверное, они хотят для себя какого-то особенного матриархата — кто их разберёт?

О Липисинавой я впервые узнал несколько лет тому назад. И, что примечательно, узнал не из книг или журналов, как это обычно бывает с писателями, а из телевизора, в котором она мелькала чаще, чем иные ведущие. Мелькала она под вывеской «Даша Липисинава, писатель». Но что же именно она написала и почему всё же «писатель», а не «писательница» никто решительно не мог объяснить. Наконец мне попалась одна её книга. Признаться, я был уже заинтригован и купил.

Роман Липисинавой я перечитал дважды, но, к сожалению, так ничего и не понял. Прежде всего, не понял, для чего вообще всё это было написано. С первых же строк Липисинава запела гимны свободе, через страницу она с яростной, но неостроумной иронией обрушилась на тех, кто исповедовал иные, отличные от её собственных, взгляды на жизнь. Выходило, что хороша лишь свобода по-липисинавски. Роман вообще поразил меня обилием противоречий. То, что автор возносила на одной странице, она же опровергала на другой. Создавалось впечатление, что писательница либо страдает раздвоением личности, либо

с неясной, сокрытой от читателя целью полемизирует сама с собой. Только что главная героиня, в которой без труда и сомнений узнавалась сама Липисинава, хвалилась собственной успешностью, и вот уже она костерит чужой успех, уверяя, что этот чужой успех совсем не такой, какой надо. Вот ругает Запад и тут же выступает популяризатором его ценностей. Утверждает, что умный учится на чужих ошибках, и следом настаивает, что мудрости без опыта не бывает. Доказывает на примерах всю абсурдность сексуальной табуированности, а на другой странице клеймит позором проституток. И непонятно, почему бы человеку раскрепощённому немножко не подзаработать на этой раскрепощённости?

Липисинава вообще проповедовала какую-то отвязную чувственность для женщин, уверяя, что не получающие обильных и разнообразных чувственных радостей, вообще не умеют радоваться. Казалось, что она застряла на вопросе «Человек ли женщина?», стараясь доказать всем, что да, всё-таки человек. Хотя никто решительно с ней и не спорил.

После второго прочтения мне пришло в голову, что катехизис этот, изложенный невнятно, на каком-то суржике русского с блатным, написан не «для чего», а «почему»: «Да почему я хуже, чем все вы, вместе взятые! Я лучше, лучше! Я свободней, я чувственней, я сексуальней, я успешней!..»

Рядом с Липисинавой на синем диване развалилась блондиночка с аккуратненькими букольками на голове. Глаза у блондиночки были выпученными и белёсыми, чуть голубевшими на фоне по-крестьянски тёмного загара. «Тоже из телевизора», — припомнилось мне. Они очень контрастировали между собой, Липисинава и эта блондиночка.

Липисинава была одета в неизменную свою чёрную до пят юбку. «Можно подумать, что у неё единственная юбка», — говорила о Липисинавой моя мама. Кроме этой юбки на Липисинавой было ещё что-то обтягивающее из чёрного гипюра, живописно подчёркивающее складки на талии и безразмерную грудь. Признаюсь, был момент, когда эта грудь совершенно очаровала меня, и оторваться от неё стоило мне усилий. Но едва только я поднял глаза выше, как очарование исчезло. Круглое, обрюзгшее, густо накрашенное лицо её внушило мне отвращение с первого взгляда — уж очень сытым и похотливым было это лицо.

Блондинка сидела на диване боком, лицом к Дарье Ниловне, сплетая длинные, тонкие ноги и откинувшись на спинку. Из одежды на ней была какая-то невероятно короткая юбка, так что виднелись резинки

чулок, и смело декольтированная кофточка. На лице красовалась нагловатая ухмылка, да ещё какое-то неуместное томление, за которое я прозвал её про себя «Одалиской».

В креслах сидели ещё две дамы, равным образом удостоившиеся от меня прозвищ. Одну, где-то виденную, очень бледную, с губами, накрашенными кумачовой помадой, впившуюся в нас с Максом близорукими прищуренными глазами, я прозвал «Вампиром». Другую телевизионную диву, выводившую меня из себя по будням своей глупостью, я давно уже прозвал «Двустволкой» — за маленькие, близко посаженные к переносью глазки.

Возле дам крутились мужчины. Был один молодой певец, маленький и самодовольный. Был журналист-разоблачитель из популярной газеты, который то разоблачал, то сам подвергался разоблачениям, и неизвестно, чего было больше. Был писатель, тоже из новомодных. Фамилии его я не помню в точности. Помню, было какое-то созвучие с «гением», но, кажется, без одной буквы. Не то Вений, не то Бений. Я ещё называл его про себя «Недоделанным гением». Это был весельчак и балагур, любивший заодно и пофилософствовать. Этим-то он и был любопытен. Никогда я не встречал человека, выбиравшего для своих умствований темы настолько банальные и неинтересные. Впоследствии, когда я уже близко сошёлся с ними, я всегда слушал его, раскрыв рот. «И как это может взрослый человек нести такую претенциозную чушь?» — каждый раз думалось мне.

Он был небольшого росточка и довольно субтильный. Бледно-зелёные навывкате глаза его постоянно светились лукавством, очень не идущим к его лицу. На губах, за которыми то и дело обнаруживалось отсутствие некоторых зубов, поблёскивала неопределённая улыбочка. И лукавство, и эта улыбочка производили в целом решительно отталкивающее впечатление. Казалось, он говорил: «Ну что ж, я довольно знаю о каждом из вас, чтобы в нужный момент поднять на смех...» И эта готовность хихикать по любому поводу казалась мне отвратительной.

Было ещё одно замечательное лицо — всем известный телеведущий Сергей Булгаков, толстый коротышка с кошачьим лицом, примечательный названиями своих передач. А передачи его, как, впрочем, большинство телепередач вообще, были ни чем иным, как прилюдными упражнениями в пустословии. И вот эти-то упражнения он одаривал самыми витиеватыми, самыми претенциозными именами. Как то: «Духовное пробуждение с Сергеем Булгаковым». Или: «Моё приношение народу российскому».

Булгаков, как и многие тогда, исповедовал какие-то «идеи» в отношении России. Эти идеи, казалось, так поразили его однажды, так завладели его умом, что первым долгом своим Булгаков счёл донести их до каждого своего зрителя. Для чего он регулярно кривлялся на экране, передразнивал интервьюируемых, цеплялся к словам и сыпал невпопад фактами из истории. «Мы ничего не умеем делать!» — визгливо звучало в каждой его передаче. И вот, наконец, в ответ послышалось робкое: «Да, но наша культура... Но слава нашего оружия...». «Пушкин был арап, — не унимался обличитель. — Чайковский — педераст. Александр Невский — коллаборационист. Суворов языка русского не знал!». Поражало, с какой самоуверенностью, с каким упорством и самодовольством обличал он «русское убожество».

«Позёр, фигляр и любитель дешёвых эффектов», — говорил о нём папа. А мама неизменно поддакивала: «Просто учёный дурак и, к тому же вести себя совершенно не умеет!». Обругав таким образом безмерно довольного собой телеведущего, родители мои обыкновенно успокаивались и продолжали просмотр его программ...

Когда мы вошли, все они встретили нас улыбками. А когда Алиса представила нас, объяснив нашу голоноготь философскими убеждениями, кто-то из них, кажется, писатель, обронил, что в этом случае нам определённо не достаёт бочки. Все они засмеялись, даже те, кто, я уверен, не понял шуток про бочку. Особенно веселилась Одалиска. Уж она-то точно ничего не поняла, но, раззявив свой ротик, зашлась противным, отрывистым, каркающим смехом. Макс тоже засмеялся, но мне сразу всё не понравилось. Я люблю юмор, люблю посмеяться, но я терпеть не могу неразборчивой иронии. Именно поэтому я и взъелся сразу на всех этих господ: я почуял, что ирония — главная их составляющая, то, на чём они стоят и чем живы; и отними у них эту иронию, не останется ровным счётом ничего, что привлекало бы к ним внимание. Я же вовсе не желал становиться мишенью для их острот и насмешек. И на первый же выпад, я огрызнулся:

— Зато у нас есть фонарь.

Липисинава уставилась на меня со змеиной улыбкой. Одалиска громко фыркнула, Вампир с Двустволкой переглянулись и захихикали. Мужчины презрительно заулыбались и заговорили о чём-то, до нас не касающемся. Я не знал, зачем сказал про этот фонарь. Дело, наверное, было не в словах, а в интонации. Я отбрил их, а им это не понравилось. Мне же, в свою очередь, не понравилось, что они так легко утратили интерес к нам. Мне захотелось снова заинтересовать их, а заинтересовав, отомстить, заставить жалеть, что с самого начала

они не заискивали у нас. О том, что нас никто и не звал сюда, я как-то совсем забыл. Зато я вдруг вспомнил, что я — «молодой и подающий надежды философ, автор новейшей философской теории». Вспомнив об этом, я засунул руки в карманы и стал прислушиваться к разговору. Огрызнувшись, я как-то осмелел и уже жаждал схлестнуться, огоршить всех своей модной теорией, о которой пока ничего не знал.

Макс тоже прислушивался. Руки он, по своему обыкновению, тоже держал в карманах, а большим пальцем правой ноги старательно ковырял ковёр. Для Макса мой успех был делом чести, ведь от этого зависело, пустит ли его Алиса в другой раз или же бесповоротно закроет перед ним дверь.

Речь у них пошла об Осипе Геннадьевиче.

— Что мне нравится в таких людях, — заговорил писатель и забегал, переводя лукавые глазки от одного лица к другому, — так это то, что они... *иные*. Не такие как мы. Мы все — египетские фараоны, каждый в своём саркофаге. Мы — улыбка вечности. Проходящие мимо *иные* тревожат нас. Как тени туристов тревожат покой фараонов. Мы не сможем постичь *иных*, если не выйдем из саркофагов. Все мы — монады вселенной. *Иные* — наравне с нами. Мы стремимся выйти из саркофагов и познать *иных*. Это — цель жизни. Познав, мы стремимся сохранить в себе мудрость. Это — цель смерти. Жизнь и смерть, соединяясь, образуют вечность. Вечность — экзистенция вселенной...

— Не, ребят, ну чего вы хотите, — вмешалась вдруг Липисинова.

Писатель замолчал и повернулся к ней с неизменной своей улыбочкой. В лице его, правда, промелькнуло что-то недоброе. Но Липисинова ничего не замечала. Заговорив, она выпрямила спину, запрокинула назад голову, отчего получилось, что смотрит она на всех сверху вниз. Руки она выставила вперёд, с первых же слов начав жестикулировать, крутить ладонями. Время от времени она одним пальчиком поправляла волосы, точно сдвигая со лба непослушную прядку. И выглядело это странным, потому что никакой прядки на лбу у неё не было. Её длинные свекольного цвета волосы, разделённые широким, несвежим пробором, крепились с двух сторон какими-то детскими блестящими заколочками. Говорила Липисинова очень странно — на манер московской шпаны: то растягивая, то заглаывая гласные. И всё казалось, что она опускает кое-какие слова.

— Чего вы хотите? Человек просто вырос на запретах. На подкорку записан запрещающий голос отца. Вот и всё... На самом деле религиозные люди — это люди с репрессированными инстинктами. Скорее всего, в детстве они испытывали гнёт отца. Это настолько прочно

впечатывается в подкорку, что человек, если не избавляется, да? вынужден всю жизнь потом искать замену отцу. Просто, чтобы не сойти с ума. Даже если человек расстается с отцом, он не расстается с запретительной инстанцией в подкорке... Религия, в принципе, заменяет отца. То есть запретитель персонифицируется... Я вообще считаю, что религиозность — это одно из проявлений мазохизма...

Липисинова была очень довольна собой. Весь вид её, казалось, говорил: «Ах, как я умна и хороша!»

— Да-а! — протянула бледная дама с алыми губами. — Нам, русским, ещё нужно учиться свободе... Мы все очень зажаты. Все состоим из запретов...

— Ничего удивительного, — заметил Булгаков, — мы же выросли в стране, где личную жизнь привыкли обсуждать на партсобраниях...

— Поэтому мы и не умеем радоваться, не умеем любить, не умеем получать удовольствие, — подхватила чуть не с восторгом Липисинова, — у нас всё превращают в разборку. Столько людей вокруг несчастны только потому, что их приучили считать нормальный, добрый секс чем-то постыдным!.. На самом деле, нужно просто самим научиться решать свои проблемы, а не ждать очередных мессий, которые научат очередным запретам... А у нас, вместо того, чтобы учиться свободе, любят байки про «умом Россию не понять»... Нет, меня просто плющит от этих слов! Я всегда думаю: а чем её ещё понять, чем вообще люди что-нибудь понимают? Задницей, простите, или ещё чем-нибудь? У нас любят свою несостоятельность прикрывать красивыми словами. Если человек боится назвать себя словом, которое заслуживает, значит, он боится о себе правды. А эти пронафталиненные мифы о Святой Руси — это, в принципе, очередной комплекс...

— Ой, слушайте, — вмешалась Одалиска и вся подалась вперёд, — у меня есть тётка... такая... старой закалки. Интеллигентка, да? Она у себя затеяла в квартире ремонт... Наняла рабочих, и рабочие к ней полгода ходили ремонтировать двухкомнатную квартиру!..

Она обвела всех взглядом, точно спрашивая: «Каково?»

— Нет, я говорю, чего тут полгода ремонтировать? Я такую же точно квартиру отделала за две недели. Тоже нашла рабочих, и они у меня за две недели всё закончили... А интеллигентка моя — за полгода... Пол-го-да!

Тут вошла Алиса — она уходила куда-то в другую комнату, к другим гостям. Войдя, она присела на подлокотник дивана и стала слушать.

— Нет, я не понимаю, — заговорила Двустволка, — почему это в набожной Европе люди могут оставаться свободными, а у нас почему

всегда сплошное рабство? Всегда то коммунизм, то патриотизм, то национализм, то антисемитизм, то фанатизм религиозный... Почему, правда, нельзя просто радоваться?.. По-моему, у нас вечно всё усложняют...

— На самом деле, Наташ, там своего дерьма хватает, — весело ответила Липисина, — а нам, конечно, сталинизм подгадил...

Они все стали смеяться. Засмеялись Липисина с Наташей-Двустволкой, засмеялись певец и телеведущий, улыбнулся чайльдгарольдовской улыбкой журналист, улыбнулся весьма снисходительно и писатель, Вампириша выдавила слабую улыбочку, наконец, Одалиска, заметив, что все чему-то рады, захохотала своим отрывистым смехом.

Признаться, разговор их не был мне интересен. И хотя Макс делал мне знаки глазами, очевидно, призывая подключиться, мне всё казалось, что это пустой трёп. А я ждал чего-то особенного, что бы вдохновило меня на философскую теорию. Ведь я даже не знал, с чего мне начать, вот почему мне нужен был хотя бы кончик интересной мысли.

— Радость, — начал снова писатель, обращаясь ко всем по очереди, — это инерция свободы, вырвавшейся из-под прессинга запрета. Свобода имманентна бытию. Бытие определяет сознание. Сознание тянется к радости. Мы вполне сознательно пытаемся сбросить с себя цепи запретов. Это — улыбка вечности...

— На самом деле, — перебила его Липисина, которой, как мне показалось, не нравилось, что писатель пытается пробиться в центр внимания. Тем более что право находиться в этом центре после столкновения с Осипом Геннадьевичем, бесспорно, принадлежало ей, Липисиной.

— На самом деле, я за то, чтобы каждый делал, что хотел и не мешал другим делать то же.

— Совершенно верно, — заметил Булгаков, присевший на подлокотник кресла, в котором сидела Наташа-Двустволка. Наташа убрала с подлокотника свою обнажённую по локоть белую руку и, переглянувшись с дамами на диване, засветилась улыбкой довольной, кокетливой и таинственной одновременно. Дамы с дивана ответили ей такими же сдержанными и загадочными улыбками.

— Совершенно верно. Люди эти, — он кивнул куда-то в пространство, — рвутся сегодня в идеологи. Вчера ещё ссылались на Маркса, сегодня — на Святых Отцов. Не понимают только, что ничего у них не выйдет... Наш тугодумный народ наконец понял, что абсолютных истин не бывает. Абсолютные истины только ограничивают свободу мысли... А для свободы нужна не вера, а уверенность...

— Уверенность в чём? — выпалил я и сам испугался.

Они все уставились на меня с таким изумлением, точно и не предполагали во мне способности говорить. Это изумление рассмешило и раззадорило меня. Я почувствовал себя тореадором.

— Уверенность в законе, — медленно, словно оценивая, достоин ли я вообще ответа, проговорил Булгаков.

— Стало быть, вы полагаете свободу в законопослушании? — спросил я...

Уже в начале своего рассказа я говорил, что теория моя формировалась во мне постепенно. Скажу больше: она формировалась сама по себе, без участия моего сознания. И до того самого дня я понятия не имел о ней. Но как только я огласил «новейшую философскую теорию», я немедленно понял одну очень странную вещь: не думая определённо, я давно уже держался именно этого мнения. Макс угадал, я действительно оказался, в некотором смысле, автором философской доктрины. В какой-то момент я вдруг точно проснулся: теория моя робко, но неотвратимо, как птенец, пробивалась из каких-то потаённых глубин наружу...

Они все с любопытством меня рассматривали. Наташа-Двустволка, к креслу которой я стоял довольно близко, даже переменяла позу, чтобы удобнее было рассматривать. Одалиска потянулась к Алисе, сидевшей возле неё на подлокотнике, и что-то шепнула ей. Алиса, наклонившись, выслушала, что-то тихо ответила, и Одалиска понесла её слова к Липисиной.

— Свободный человек живёт по принципу «всё, что не запрещено — дозволено», — так же медленно и лениво проговорил Булгаков.

— Тогда никакой нет разницы между тоталитарным «совком» и либеральной Европой, — объявил я. — В «совке» тоже требовалось исполнять законы, и всё, что не запрещалось законами, дозволялось.

— В совке были другие законы, — зевнул Булгаков.

— Они везде разные... Нет стран с одинаковыми законами... И у каждой страны полно своих запретительных законов...

— На самом деле, юноша, — вмешалась опять Липисина, — в «совке» знать не хотели декларацию прав человека. А в декларации прав человека написано, что каждый человек свободен иметь любые взгляды и наклонности, какими бы специфическими они ни были...

— Ну, во-первых, — обратился я к Липисиной, — взгляды и наклонности могут быть настолько специфическими, что их носитель нет-нет, да и нарушит закон. А во-вторых, насколько я понял, вы же не признаёте абсолютных ценностей, тогда откуда такое доверие к

декларации прав человека и судебным инстанциям?.. Декларация прав человека выдумана человеком. Она не существует сама по себе. Сегодня в ней записано одно, завтра, возможно, другое. И, может быть, совершенно противоположное нынешнему... Как можно быть уверенным в такой фикции?! Абсурд! Отрицая одну религию, вы создаёте себе новую. Выходит, что ваш бог — декларация прав человека и закон? Значит, это им вы служите, им и поклоняетесь... Они, да ещё доллар — вот ваша троица!..

Меня несло. Я, даже если бы и захотел, уже не смог бы остановиться. Булгаков со своей зевотой, Липсинова с «юношей» — о! я запомнил ей этого «юношу»! — подстегнули меня как плетьюми. И я понёсся.

Они слушали меня, кто с удивлением, кто с опаской, кто с насмешкой, но все с интересом. Писатель, облокотившись о спинку кресла дамы-Вампира, внимательно следил за мной, прищурившись. «Именно так и должен смотреть писатель», — подумалось мне. Макс был в восторге. Мне всё казалось, что он зажат и боится. Боится, что ничего у нас не выйдет и что мы будем посрамлены. Но когда я заговорил с таким воодушевлением, у него, видно, гора с плеч упала. Исчез страх, исчезла зажатость — Макс снова сделался самим собой.

— Я никогда не соглашусь с тем, что человек, полагающий свою свободу в послушании закону может называться свободным. Уж если быть законопослушным, то перед любым законом, а уж если быть свободным, то без ограничений... Ведь закон изменчив. А если ваша мораль — закон, стало быть, и мораль изменчива, но изменчива по прихоти того, кто принимает закон. А зачем, спрашиваю я вас, зачем мне ждать позволения поменять мораль? Разве свободному человеку нужно чьё-то позволение?.. Абсурд! Свободный человек на то и свободный, чтобы всё решать самому. И если нет абсолютной морали, свободный человек сам для себя избирает мораль. Вот вы... все вы, например, избрали своей моралью закон. И не хотите признать, что тем самым вы добровольно позволили законотворцу ограничить вашу свободу!..

Я и сам удивлялся тому, что говорил. Ведь я не готовился и не думал, что буду говорить. Откуда брались эти слова? Точно кто-то нашёптывал, а я повторял чужое. Но в то же самое время это чужое казалось мне давно знакомым. Мне было весело. В голове у меня почему-то крутилась мелодия «Канкана». И я не мог отделаться от ощущения, что какая-то сила подхватила меня и кружит. И сам я ни за что не смогу остановиться, и остаётся только ждать, когда эта неведомая сила, наигравшись, отпустит меня.

— Искать свободу в послушании законам или в высокой покупательной способности — это мелко. Это бабья радость. Я бы даже сказал, что это противно. «Хочу халву ем, хочу — пряники» — вот и вся свобода. Впрочем, это совершенно в духе времени...

— В духе времени? — переспросил Булгаков.

— Ну да!..

— Насчет «бабьей радости»... — начала было Липсинова, но Булгаков не дал ей окончить.

— То есть сейчас витает такой дух, — снова вмешался он, — такой призрак, да? И всем внушает: «Ешь халву! Ешь пряники!» Так, по-вашему?

Дамы захихикали.

— Не кажется ли вам, господа, — продолжал я, не обращая внимания на остроты Булгакова, — что нынче всё измельчало, и все измельчали? Даже зло измельчало. Ещё недавно человечество видело настоящих апостолов зла, рвущихся опрокинуть мир в преисподнюю. Эти гиганты наделали столько шуму, что при упоминании о них человечество по сей день вздрагивает. А сколько было героев, борцов, первопроходцев?.. И что сегодня?..

— Стоп, стоп, — лениво перебил меня Булгаков. — Какой-то дух заставляет есть халву, человечество всё дрожит.. Я и сам сейчас задражу, только хочу понять, при чём тут свобода?

— Как при чём? Ведь человек — существо трёхслойное. Ведь так?

— Так... — притворно озабочился Булгаков. — Была халва с пряниками, теперь пошли пирожки слоёные...

— Слои эти — тело, душа и дух. Зло, приспособиваясь к человеку, тоже расслоилось. Что же мы видим? Пьянство, обжорство... Жалкие телесные страсти, смешные душевные... Ведь, не правда ли, ревнивец смешон? И страшные духовные. О! Здесь апофеоз зла, здесь его величие. Могущество, власть, порабощение... Но и могущество — это не свобода. Могущество над миром прочно связывает с этим миром. Паук, оплетший мух паутиной, может упиваться своей властью и силой, но единственное, чего он не может — это бросить всё. Следовательно, паук не свободен... Хотя такое зло достойно уважения, это вам не человек скотоподобный, который без хлеба и зрелищ кусает исподтишка...

— Как, как?! — заинтересовался Булгаков. — Как вы сказали? Скотоподобный? Это такой... с рогами и копытами, что ли?

— А при чём тут свобода-то? — возмущённо, и в то же время хихикающая, спросила Наташа-Двустволка, глядя на меня исподлобья. Возмущение относилось ко мне, смех, без сомнения, к Булгакову.

— Увы! — продолжал я, не обращая на неё внимания. — Мы живём в век человека скотоподобного. Его культ царит сегодня. Не быть человеком скотоподобным стало немодно, а вот за право быть им люди совершают самые отчаянные поступки... Быть человеком скотоподобным означает иметь хлеба и зрелищ в достатке и отгородиться от ближнего законом. И вот это состояние сытого покоя называют сегодня свободой...

— Посмотрела бы я на вас, останься вы без хлеба и закона. Особенно без хлеба, — под одобрительные улыбки товаров вставила Дама-Вампир. И обиженно поджала губы.

— Но поймите, тот, кто зависит от чего бы то ни было — хотя бы от хлеба и зрелищ — несвободен. И свобода, ограниченная законом — это тоже не свобода. Потому что свободу нельзя ограничить по определению. «Ограниченная свобода» — это оксюморон, это всё равно, что «постное мясо». Надо либо найти в себе силы нарушить закон, либо признать, что свободы вообще не бывает. Быть свободным и законопослушным — это всё равно, что гулять по тюремному двору и думать, что освобожден. Но был бы свободным — шёл бы, куда хотел, не ограничивался бы тюремным двориком...

— И что же вы предлагаете? — с интересом спросил писатель.

— К чёрту законы! К чёрту *любые* запреты!.. Закон — это всегда тюремная стена: вроде бы всё можно, но кругом ограничения. Стало быть, здесь тупик. Стало быть, свободу нужно в другом искать...

— В преступлении, например? — спросил кто-то.

Я было повернулся ответить, но тут одно неприятное впечатление поразило меня. Это были глаза. Бледно-серые, холодные, пустые глаза невысокого, щуплого человечка в чёрном френче, вроде тех, что носят семинаристы. Человечек этот, очевидно, заслышав наш разговор из соседней комнаты, вышел, чтобы присоединиться. Это был на редкость неприятный тип. Все мои новые знакомые, показавшиеся мне вначале людьми несимпатичными, не шли с ним ни в какое сравнение. Напротив, рядом с ним они глядели милыми и даже родными. Человечек в чёрном френче лицо имел совершенно невзрачное, точно у него и вовсе не было лица. Я совершенно не могу сказать, как он выглядел, на кого был похож. Помню только, что его светлые и жидкие волосы всегда почему-то были мокрыми — потел он, что ли? — и пренепрятно липли ко лбу.

Не знаю, что именно было в нём такого отталкивающего, но, завидев этого человечка, я в ту же секунду испугался чего-то. Настроение моё разом переменилось, охота говорить прошла.

— В преступлении, например? — переспросил он.

— Я этого не говорил, — буркнул я. Говорить с ним я решительно не хотел, но молчать или убежать из комнаты не мог.

— Как же не говорили? — полюбопытствовал он. — Вы сказали, что надо найти в себе силы нарушить закон или признать, что свободы вообще не бывает. А кто же захочет признать, что свободы вообще не бывает? Остаётся нарушить закон...

Говорил он медленно, вкрадливо.

— Я никого не призывал нарушить закон, — огрызнулся я. — Это моя теория... всего лишь теория... Это рассуждение на тему... не более того.

Я отвернулся, мне было неприятно смотреть на него. Но он сам возник у меня перед глазами.

— Конечно, конечно, — сказал он. — Мне лично ваша теория очень нравится... Я бы даже сказал, что вы последнее слово сказали... — он тихонько, противенько засмеялся. — «Сказал», «сказали»... Словарный запас, знаете ли, скудный. Это, может быть, для молодёжи будет интересно. В смысле не словарного моего запаса, а теории вашей... — он опять засмеялся. — Великолепная даже теория. Видно сразу, что человек вы мыслящий... занятный человек... Н-да... Если в том же роде, то и многого достичь сможете... Про человека скотоподобного мне понравилось... И про зло вообще тоже... Мне вот только... уточнить хотелось...

К стыду своему сообщаю, что несколько этих корявых слов произвели на меня действие магическое. Как только они были произнесены, человечек перестал казаться мне отвратительным. Я стал посматривать на него почти с дружелюбием и только изредка усмехался для острстки.

— Мне, положим, вот что непонятно, — продолжал он. — Вот если все захотят свободными-то стать. Что же выйдет? Этак ведь и... пере-режут друг дружку?

— Не захотят... Это слишком тяжёлое бремя... То есть захотеть-то, может, и захотят, но ничего всё равно не выйдет.хлопотно слишком... То есть, если совершенно свободными, то слишком хлопотно... А потом ведь... большинство про самих себя по телевизору предпочитает узнавать... это думающим людям следует признать, что свободы никакой не бывает... Бывает относительная несвобода. И с этим нужно либо смириться, либо попать *все* запреты...

— А Европа? — спросила вдруг Наташа-Двустволка.

— А что Европа? — усмехнулся я. — Конечно, я признаю Европу. Она заслужила признание умением жить. А насчёт свободы тамошней я не знаю. Может, они того состояния достигли, когда и законы им не нужны. Но судить о том, чего не знаю, я не хочу...

— На самом деле, Иннокентий, конечно, не прав, — засмеялась Липисина.

И она, лукаво поглядывая на меня, взялась рассказывать о каких-то людях с фиктивными биографиями, о жизненном опыте, которого, по её мнению, у меня не доставало. О том, что понимание свободы дано кому-то, ей, например, от рождения, а кому-то нужно и дорасти до него и так далее, и так далее, и так далее. А я невольно думал, что это, наверное, про таких как она, говорят: «Седой как лунь и глупый как колода». Но это было уже не важно. Важно было то, что она назвала меня по имени. Вслед за её рассказом посыпались и другие рассказы. Говорили о загранице, о том, сколько там свободы, порядка и всяких благ земных. Рассказывали и для меня: ко мне обращались, меня называли по имени, пытались меня даже в чём-то разубедить. А писатель, рассказав о том, как в Америке встретил другого российского писателя, принялся спрашивать меня о происхождении моей теории. На что мне пришлось соврать что-то невнятное насчёт «постоянных тягостных раздумий о судьбах нашей Родины». Писатель пришёл в совершеннейший восторг и назвал мои раздумья «улыбкой вечности».

Никто больше ничего не сказал мне о моей теории. Никто не хвалил и не ругал меня. Но это было не важно: негласно и не сговариваясь, они приняли нас в свои ряды. Я моментально уловил эту перемену во мнении и, уловив, переменялся сам. Я простил Липисиной «юношу», Булгакову — зевоту. В благодарность за признание я готов был примириться со всеми. Даже и с противным человечком, которого Алиса отрекомендовала Виленом Декоковым. Вилен оказался добрым малым. Вполне милым и даже внимательным, так что Макс, после нескольких минут общения, уже поведал ему и о масонах, и о Майке, и о своей нелепой фантазии во что бы то ни стало вступить в тайное общество. На что Вилен заверил Макса, что фантазия не такая уж и нелепая и что в Москве такое множество всякого рода обществ, что среди них вполне отыщется какое-нибудь тайное. Стоит только поискать получше.

* * *

Макс был в восторге. Всё ему нравилось: и Вилен, и Липисина, и то, как я «выступил». Признаюсь, я и сам был доволен собой, а заодно и всем, что вокруг. Да и в самом деле! Всё в этой квартире было просто, легко и непринуждённо. Здесь царила свобода. Но, конечно, совсем не та свобода, о которой говорил я в своей теории. Здесь каждый проводил время так, как это было приятно только ему. Здесь говорили, танцевали, играли на бильярде, пили, закусывали, тренькали на рояле, курили в кухне, целовались, слушали музыку, читали, пели под гитару, уединялись в одной из комнат. Здесь царил лёгкое веселье, здесь каждый делал, что хотел, и никто никому не мешал.

— Вот здесь, в этой, к примеру, комнате можно и партеечку на бильярде, — объяснял Вилен, вызвавшийся показать нам квартиру и познакомить с гостями, — здесь и выпить можно, если охота... Вот тут напитки... Всё сами... всё сами... Он подвёл нас к барной стойке и разлил бутылку минеральной воды в три стакана.

— Пейте... — предложил он и первым взял стакан.

— Спасибо... Большая квартира, — заметил Макс.

— Да-а! Очень большая, — подтвердил Вилен. — Хорошая квартира...

— И гостей много, — Макс оглядел комнату.

— Да-а! Очень много гостей...

— И что... часто здесь собираются? — любопытствовал я.

— Не так, чтобы часто... По четвергам.

— И что, каждый четверг так? — удивился я, сам не зная чему.

— Да. Каждый четверг так. По-разному...

В это самое время высокая декольтированная девица возле бильярдного стола с силой толкнула шар кием. Шар отпрыгнул в сторону, ударился о борт зелёного стола, обрушился с грохотом на пол и медленно покотился куда-то в сторону. Вокруг засмеялись. Девица грязно выругалась, мотнула головой, отбросив на спину длинные волосы, и замерла, опершись о кий как о посох.

— Кто это? — фыркнул Макс.

— У-у-у! — засмеялся Вилен, — Это!.. Сиськи и губы силиконовые, а врёт, что настоящие. А у самой мать в Ижевске да ещё две младшие сестры и брат. Лучше б матери помогла, чем сиськи клеить... Бедность страшная!.. Приехала в своё время учиться, жила в общежитии... Мать, естественно... Ну, нечем помогать! Пошла жить к одному негру... И ведь не то, чтобы есть нечего было, а так... на помады не хватало. У подружек

обновки, а у неё нет ничего... Негр её бил и обновок не покупал, зато, правда, своё давал донашивать. Она его ботинки газетой набьёт и ходит — стиль, мол, такой. И не то, чтоб она босиком, вот как вы, была... хи-хи-хи... а так только... ботиночки, вишь, не модные... И она за модные ботиночки — и побои от негра терпела, и от него же четыре аборта за полтора года сделала... А когда негр уезжал, передал её корейцу. С корейцем она недолго прожила, и всего-то один аборт... Кореец через полгода передал её японцу. Японец через год передал шведу, а швед — нашему журналогу. А журналога-то оказался карьеристом. И теперь он с президентом за руку здоровается, а она при нём... Про себя думает, что в своё время... это с негром-то... шанс свой не упустила! Теперь в церкви... хи-хи-хи... свечечку регулярно ставит!.. Господа Бога благодарит!.. Ха-ха-ха!.. Уверена, что любая девушка на её месте поступила бы так же и что жизнь удалась... А вот, вот... на диванчике... Видите двух целующихся... не совсем уже молодых людей? Это наши геи... Они не одни тут такие, но эти самые смелые... Вот этот, что покрупнее... который ближе сюда... рыжий такой... из Министерства культуры, а второй, с кривым ротиком, черномазенький, — тоже... того... депутат... Тот, что из культуры изменяет депутату с... — и Вилен назвал известную всей стране эстрадную фамилию. — А певец подался в гомосексуалисты не влечения ради, а для скандалу, для известности... А который из культуры тоже из-за карьеры ориентацию сменил... Начальник у него такой был... А этому уж очень продвинуться захотелось, ну так захотелось, что штаны сами собой свалились! Хи-хи-хи... Вот он и стал любовницей у своего начальника... Но зато и зарплата, и должность — это уж он себе отработал!.. А теперь он на полном серьёзе говорит, что родился женщиной в мужском теле! Ха-ха-ха!.. А вот... вот... — Вилен кивнул на другой диван, напротив, — вон там, в углу... Молодая, подающая надежды писательница из Хабаровска... Да вы знаете!.. Ирина Копейкина... Описывает свой убогий, но весьма разнообразный сексуальный опыт, приобретённый в подъездах и на чужих продавленных диванах. Ничего того, что литературой-то зовётся, здесь нет и не было... Ну это ведь никому и не нужно. Главное, чтобы щекотало, чтобы дух захватывало!.. А mademoiselle Копейкина — потаскуха редкая и водку как матрос хлещет. Она называет это «приобретать жизненный опыт». Вот приобретает и описывает. И хорошо расходится... Ну... вижу, вижу... Вижу, что утомил... Пойдёмте дальше...

Он несколько не утомил нас. Про себя я могу сказать, что Вилен разбудил во мне какое-то нездоровое, подлое любопытство. Мне хотелось слушать ещё и ещё. Мне хотелось о каждом услышать такую

историю. Но я смолчал. Смолчал и Макс. И мы покорно пошли за Виленом из комнаты.

— А-а-а... собственно, что дальше? Там дискотека, — и Вилен махнул рукой в сторону коридора. — И рассказать-то не о чем! Этих умников вы уж всех знаете, — он указал на Липисину и К⁰, всё ещё заседавших в передней.

— А там? — спросил Макс и ткнул пальцем куда-то в коридор. — Напротив дискотеки?

— А-а-а! — засмеялся Вилен, как давеча. — Лукавый молодой человек!.. В своё время сами узнаете... Всё сами узнаете... А! Вот здесь, разве, стоит побывать...

И он увлёк нас в соседнюю комнату. Это была библиотека. Стояли белые стеллажи с книгами, белые кожаные кресла и диван, белый кабинетный рояль и белый небольшой письменный стол, похожий на рояль. На инструменте стоял бокал с розовой жидкостью и жёлтой долькой лимона, нанизанной на стеклянный край. Рядом с бокалом валялась синяя заморская купюра, ещё недавно свёрнутая трубкой, а теперь раскрывшаяся.

— О-о-о! Белый порошок... — проговорил Вилен, не шевеля губами. — Здесь интересно...

Он прошёл к инструменту, уселся, отбросил крышку и одним пальцем стал подбирать какую-то мелодию. Мы с Максом, оба в ожидании чего-то интересного, разместились по обе стороны от Виленки.

Комната, в которой мы расположились, оказалась довольно большой, и народу в неё набилось немало. На диване сидел длинноволосый парень с гитарой. Склонившись над грифом, он тихонько наигрывал и напевал какую-то песню. Слева от него сидел такой же длинноволосый парень, по-видимому, очень высокий, к тому же очень худой и давно нечёсанный, производивший впечатление дурнопахнущего. С другой стороны от гитариста на самом краешке дивана примостилась крупная, дородная молодая особа в чёрной коротенькой расклёшенной юбочке, в чёрной рубашке навыпуск и в чёрных тяжёлых ботинках. На лице её ярким пятном выделялись тёмно-коричневые губы. И высокий парень, и девушка тихонько подпевали гитаристу.

Несколько человек, кто с бокалами, кто с рюмками, кто со стаканами, стояли возле стеллажей, говорили о чём-то, пили и по временам взрывались смехом. В стороне от них какой-то молодой человек листал книгу. Ближе всех к нам сидели в креслах две девушки и о чём-то беседовали. Девушки были из породы красавиц: с мускулистыми икрами, накладными ногтями и длинными распущенными волосами.

— Вон, гляньте, — кивнул Вилен в сторону смеющейся компании. — Актрисулю узнаете?

Я узнал молодую актрису, недавно вышедшую замуж за театрального мэтра — об этом трубили все газеты.

— Влезла в богатый дом и теперь пристроилась по телевизору блины печь! А предшественницу-то из петли едва успели вынуть... Несчастливая старушка теперь — со злости, что ли, — на людях под ручку с солистом поп-группы появляется, а мальчик-то ей во внуки годится. А молодуха направо и налево о любви поёт: как она своего старичка полюбила, да как он её полюбил!.. А из старичка-то уж песок сыплется... А знали б вы, о чём она думает! *Мне* не по себе делается!.. А вон у той толстухи в чёрном... пока ещё толстухи... СПИД. Да, да... имейте в виду...

— А чего нам? Нам с ней детей не крестить, — с напускным цинизмом ухмыльнулся Макс.

— Ну, как знать... я ведь так... на всякий случай... Любопытная личность... Очень мечтала быть современной. А сделалась потаскушкой. Большой потаскушкой... Познакомится бывало на улице — и в постель. И ведь не из-за денег, не по страсти. Даже и желания-то особенного не было... А только ей вдруг померещилось, что это современно. И что в XX веке именно так отношения выстраивают умные люди. А теперь общественность у неё виновата. У нас дескать в стране предосудительно девушке презервативы в сумочке иметь... Хи-хи-хи... То ли дело во всём цивилизованном мире!.. Она, бедняжка, стеснялась презервативы в сумочке носить! Экое целомудрие! И ведь если б наше общество не осуждало бы девушек, таскающих в сумочках презервативы, так и СПИДа бы не было! Хи-хи-хи... Какова мораль? А?.. А вон того дурачка с книжечкой узнали? Сынок... — и снова громкая музыкальная фамилия. — Папашка-то подженился на бывшей жене... — снова громкая фамилия, на сей раз финансовая. — Новая жена новых детей родила. А старшенький с мачехой не поладил и отцу назло подсел на героин. Да-а-а! У него и руки-то все в трассах... Дурак! С иглы-то теперь не соскочит, а и соскочил бы — что толку? Гляньте на цвет его личика. Это ж почки! А с такими почками, друзья мои, долго не живут... Папашка-то его в Израиль спроводить мечтает, лечиться в кибуце... Наивный! Хи-хи-хи... Как будто в кибуце почки не откажут!.. Ах! Не признал сразу! — тут Вилен понизил голос и указал нам на блондинку в коротеньком платьишке.

Надо сказать, что всё это время Вилен с упорством стучал по клавишам одним пальцем, пытаясь подобрать какую-то мелодию. Наконец

упорство его вознаградилось, несвязные звуки слепились в единую мелодию, и мы услышали... «Канкан»! Коряво, невыразительно Вилен выстукивал одним пальцем «Канкан».

— «Бывшая певица»! Так она себя называет... Хи-хи-хи... На самом деле, разоблачившись до исподнего, раскрывала под фанеру ротик по кабакам и притонам... Группа-то до сего дня поёт, только уж без неё. Она прошлого года замуж вышла за финансового директора звукозаписывающей фирмы, а директор с ней и года не прожил... Бросил и женился на какой-то шведке... А эту обратно в группу не хотят брать... Так она клянчит, на коленях только не ползает... Переговоры, говорит, веду... Хи-хи-хи... Я всегда называл их группу «Лизаветы Смердящие». Смешно, да? И в рифму... А вы послушайте, о чём она говорит... — и он даже перестал выстукивать «Канкан».

— Ну и что он тебе подарил на 8-е Марта? — спрашивает бывшая «Лизавета Смердящая» у товарки.

— Ой, знаешь, — гнусавит и придыхает товарка, — я просто в шоке! Вообще-то я как бы хотела машину... Ну, маленькую... типа Daewoo Tico... Но он меня пригласил в суши-бар на мастер-класс...

— А мне, — перебивает её Лизавета, — мой новый парень подарил шоколадное обёртывание... в Швейцарии...

— Просто супер! — с завистью вздыхает товарка...

— «Я в шоке!», «Просто супер!», — хихикнул Вилен. — Через одну всё потаскухи и дуры. Всё современность да цивилизованность свою кому-то доказывают. А спроси их, кому они её доказывают и зачем — хоть бы одна ответила... — и Вилен снова застучал по клавишам. — Вот забросили им худобу — они и давай худеть до смерти! Как будто худоба и красота — одно и то же!.. Да что худоба! Они ж как голодные — на всё кидаются! Мода на женщин меняется как на собак — через несколько лет придёт мода на толстушек, и все эти мощи кинутся сало жрать... Хи-хи-хи... А вот... вот ещё мне нравится: «Женщина всегда должна оставаться женщиной!». А кем же ей ещё оставаться-то?.. Хи-хи-хи... Здесь скрытый смысл! Здесь столько дури, что и я бы ногу сломал!..

— И Алиса? — выпалил я.

— Хозяюшка-то? Гм... Тяжёлый случай... Непредсказуемый... От таких не знаешь, чего и ждать. Всё крайности... Человек, впрочем, искренний и искренне хочет быть хорошим. А что это такое — знать не знает. Вот и обезьянничает вместе со всеми... Хи-хи-хи... Раньше такие всерьёз мечтали, чтобы коммунизм на всей Земле победил, а теперь... тоже серьёзно... теперь мечтают, чтобы русские научились

демократии... Хи-хи-хи... Хозяюшка-то, решив быть демократичной, так первое время таблетки глотала...

— Какие таблетки? Колёса?! — испугался Макс.

— Колёса?.. Ну, в каком-то смысле все таблетки колёса... по причине схожести формы... Хи-хи-хи... Транквилизаторы...

— Зачем транквилизаторы?! — снова испугался Макс.

— Дык... чтоб стыдно не было... И врачи советуют... Таблетки от стыда... Сексуальная эмансипация, ребятки, есть непрменный атрибут цивилизованности и демократичности... Люди могут быть равны только при одном условии: при условии равной степени отупения. А всеобщее отупение достигается следующими способами: наркотики, алкоголь, табакокурение, — он оторвал руки от клавиатуры и принялся загибать пальцы. — Далее: телевидение, спорт, азартные игры, секс, мода, музыка, чтиво — вообще все возможные развлечения... Дело-то нехитрое... Без всеобщего отупения равенство невозможно. Без равенства невозможна демократия. А демократия есть первое условие цивилизованного общества. А цивилизация это что такое? Парадокс! Но цивилизация, ребятки, это обращение человека в первобытное состояние. Чем сильнее избалован человек цивилизацией, тем больше у него оснований считать, что удовольствие — цель и смысл жизни, а стало быть, тем ближе он к своему первобытному состоянию. И это-то первобытное состояние, то есть кабала инстинкта или удовольствия — как вам будет угодно, — так вот это состояние называют сегодня свободой... Совершенно верно изволили заметить насчёт свободы, — обратился он ко мне. — Им всё мнится, что они свободны. Тогда как они свободы-то и не нюхали!.. Свобода им не под силу! Слишком узок путь... Это уже не только до женщин касается... Подбирают всё, всему верят, рассуждать давно разучились... Скучно даже!.. Сами же хотят иметь то, что делает их тупым стадом!.. Думаете, это они сами придумали? Нич-чего похожего!.. Они называют это «просто жить»! Хи-хи-хи!.. А как вам нравится это умильное «сколько людей, столько и мнений»? А? Думают, чем больше мнений, тем лучше. А мнений-то уж больше, чем языков! Рады не иметь ничего общего — и вопят о братстве! Ищут общую идею — и рвут все связи, защищая каждый свои права!.. О! Гляньте на этого мачо... Видите, в дверях нарисовался? Наблюдайте. Наблюдайте, мои юные друзья!

И Вилен вдруг ударил обеими руками по клавишам, и бурный «Канкан», настоящий, полноценный «Канкан» хлынул из-под его пальцев.

В комнату вошёл молодой человек. Высокий, смуглый, чернявый, белозубый. Скучным, ничего не выражающим взглядом обвёл он ком-

нату и остановился на «Лизавете Смердящей». Взгляд его переменился, отяжелел. Красавец постоял с минуту в дверях, а затем уверенным шагом направился в нашу сторону. Вот он подошёл к девушкам. Вот он наклонился к Лизавете и что-то прошептал ей на ухо, а товарка Лизаветы сделала вид, что ничего не происходит. Лизавета молча слушала и кивала. Молодой человек ещё уточнил что-то, а Лизавета всё кивала. Вот наконец он взял её за руку, и они вышли из комнаты. Ни на кого решительно эта сцена не произвела никакого впечатления. И только товарка Лизаветы тоскливо вздохнула и бросила долгий взгляд вслед удалявшейся парочки.

— Ну и что? — спросил Макс. — Куда они?

— А в ту самую комнатку. Что напротив дискотеки... Хи-хи-хи... Здесь, друзья мои, царит любовь. Здесь все так. Здесь главное — обоюдное согласие... Гедонизм! Наслаждаемся и веселимся!.. А Лизавета-то беременная на втором месяце... А этот... «чисто конкретный мачо»... да она его два раза в жизни видела! Ничего-о! Пустяки-и!.. Главное, запомните: здесь наслаждаются и веселятся! Здесь все так делают и этим повязаны! Потому что здесь нельзя выделяться. Они только говорят, что каждый делает, что хочет. Вздор! Все делают одно и то же, только в разное время. А захочешь быть другим — они тебя не потерпят. Зачем ты им нужен — глаза мозолить? Здесь надо быть как все, иначе нечего делать. Но не бойтесь, это приятно. Здесь всё приятно. Вы пришли к нам, так научитесь от нас! Научитесь жить просто, как античные язычники. Такая жизнь — благо, и жить ею легко. Научитесь делать друг другу приятно! Научитесь наслаждаться и веселиться!

И он расхохотался таким отвратительным хохотом, что мне сделалось жутко. Никто в комнате, однако, даже не обернулся в нашу сторону. Все по-прежнему были заняты своими делами.

* * *

Я намеренно опускаю подробности последовавших затем событий. Прежде всего, потому, что эти события не имели решающего влияния на мою судьбу. Всё, что происходило, было самой настоящей рутинной. Я заставлял себя думать, будто здесь-то и есть самая настоящая жизнь, и что так живут «во всём цивилизованном мире». Более того, я вошёл в противоречие со своей же теорией, я сам стал человеком скотоподобным, и мне нравилось быть им. Но я убедил себя, что теория сама по себе, а жизнь сама по себе. До сих пор никто не требовал от меня

проявлять чудеса законопослушания, а стало быть, и противоречий особенных нет. И если я и бываю здесь, так на то моё хотение и добрая воля. Другими словами, я делаю то, что хочу, а это и есть первый принцип моей теории.

Большие компании привлекательны, прежде всего, тем, что щедро одаривают чувством общности, единения, братства. Тем, что позволяют говорить «мы». А наша компания, производившая впечатление людей дружных, весёлых, доброжелательных, не просто собиралась вместе. Мы играли в одну и ту же игру: мы все вместе и изо всех сил изображали из себя детей обновлённой России, забывшей своё гадкое имперское прошлое и стучащейся теперь у ворот богатого общеевропейского дома. Каждый из нас свято верил, что новое понимание жизни, пришедшее к нам с Запада, есть единственно правильное понимание, хотя бы потому, что там умеют жить. Что можем предложить миру мы, нищие и подтравленные коммунизмом? А там цивилизация, достигшая своего апогея, там уважение к личности, там комфорт. И если мы тут чего-то не понимаем, виноваты мы сами и наша неразвитость.

Нас объединяла одна идея. Но в то же самое время здесь каждый был сам по себе. Здесь никто ничего не требовал, никто не осуждал другого за слабости. Но не потому, что не хотел замечать «сучец иже во оце брата». Здесь любое, самое невероятное своеволие, любой, самый дикий каприз называли особенностью. Здесь собирались сытые, довольные собой люди и равнодушно рассуждали, равнодушно общались и любили тоже равнодушно. Здесь всё было ненастоящим, вывернутым наизнанку. Любовью здесь называли мимолётную симпатию. Здесь секс был нормальной, рутинной формой общения. Дружбой здесь называли обязанность выслушивать бессмысленные интимные откровения. Красотой — типовую, стандартную ухоженность. Талантом — умение выгодно преподнести и продать себя. Вилен оказался прав: жить так было легко и приятно.

Сильных, ярких чувств я ни у кого здесь не видел. Здесь все развратничали, но никто не неистовствовал — я не встретил ни одного калигулы. Здесь все исповедовали убеждения, но никто не пошёл бы за них на костёр. Здесь всё было ярко снаружи, но пусто и серо внутри.

И мы с Максом приспособились к этой новой жизни. Правда, мы не научились пока равнодушествовать. И, например, каждую новую связь мы обсуждали потом долго и с восторгом, искренне принимая за очередную победу и радуясь радостью молодых здоровых самцов.

Прежде мне совершенно не нравились подобные сборища. Но здесь всё было иначе. Здесь нас окружали лучшие люди, элита. Каждый был

чем-нибудь интересен, а то и вовсе... значит. Так, по крайней мере, было принято думать. Хотя, откровенно сказать, люди эти не обладали ни какими-то особенными душевными качествами, ни исключительной образованностью, ни выдающимися талантами. Это были купцы, торговцы зрелищами. Но их было принято звать «творческой элитой», и этот символ охотно предпочитался реальности.

Наверное, по той же самой причине здесь каждый мог почувствовать себя, кем хотел. Достаточно было одного только желания. Если, например, вам хотелось ощутить себя человеком религиозным или приобщиться к религиозным практикам, достаточно было заикнуться об этом вслух, и отовсюду на вас обрушивались приглашения во всевозможные религиозные общества. Через некоторое, весьма, впрочем, незначительное время, вы оказывались и просвещённым, и посвящённым, и приобщённым. И всё это без особенных усилий с вашей стороны, без подвижничества и постничества.

Одна наша писучая дама — не Липисинова — после прохождения неких духовных практик заявила, что сознание её теперь расширилось, и сама она превратилась в нового человека, в связи с чем ей стало доступным общение с духами. И духи диктуют ей книги, а она эти книги записывает, издаёт, и книги расходятся невероятными тиражами. Так что наряду с сознанием, у неё расширилась и платёжеспособность. Она даже устроила презентацию и публичные чтения своей новой книги у Алисы. В передней составили полукругом стулья, зажгли свечи, и наша обновлённая и расширенная писательница целый вечер загадочным голосом читала, что там надиктовали ей духи. Оказалось, что духи порешили открыть ей все тайны мироздания. Первым делом они заверили медиума в неоспоримой божественности её происхождения. «Ты — бог!» — так именно и сказали ей духи. Потом, правда, оказалось, что и прочие люди тоже боги. Потом выяснилось, что нет ни добра, ни зла, ни боли, ни радости — словом, ничего вообще нет. Есть только «чистое сознание», то есть только то, что мы сами воображаем и чего очень хотим. И чтобы быть счастливым, нужно думать о приятном, хотеть приятного и верить в естественный эгоизм.

Книга очень понравилась. Писательницу поздравляли, благодарили, а Липисинова даже произнесла речь. Она сказала, что крепнет феминистское движение и что всё большее число женщин осознаёт необходимость борьбы за свои права и свободы, а это означает, что всё большее число женщин становится реально свободными. И что скоро, ох, скоро! кончится ненавистная эра Рыб, и наступит благословенная эра Водолея.

Писательница пришла в восторг. По лицу её разлилось райское блаженство вперемешку с умилением, на глаза навернулись слёзы. То и дело она всплёскивала руками, закрывала ладонями лицо, потом разводила в стороны руки, опять закрывала лицо и всё шептала не то по-английски, не то по-немецки: не то «My God!», не то «Mein Gott!»...

Если же, например, вы хотели быть красавицей, вам следовало изрядно исхудать и наклеить ногти с белыми кончиками. Если мечтали чувствовать себя интеллектуалом — для вас идеально подойдут обсуждения неглубоких, но сложных по форме псевдофилософских тем, у которых, подобно гнилым орехам, за толстой скорлупой — пустота. А стоило Максу заговорить о тайных обществах, как Вилен тут же вызвался содействовать. И уже очень скоро — может, на третье или четвёртое наше посещение — он познакомил нас с одним весьма странным человеком.

Если бы я увидел этого человека на улице, я никогда не обратил бы на него никакого внимания и ни за что не запомнил бы его лица. Это был невысокого роста, курбатый дядька. Редкие светлые волосы его, зачёсанные назад тупейным гребнем и основательно залаченные, застыли ребристым панцирем над розовым, с редкими коричневыми пятнами черепом. Зеленоватые в рыжих ресницах глаза смотрели насмешливо. Руки его были худыми и жилистыми. А узкие ладони с тонкими пальцами сжимались в какие-то смешные кулачки — точно в каждом он держал по жуку. И в разговоре, жестикуюлируя, он то и дело помахивал этими кулачками перед носом у собеседника. Помню, мне пришло в голову, что ладони у него, должно быть, всё время влажные. На безымянном пальце левой руки он носил массивный перстень-печатку из белого металла. Клеймо я не разобрал, но подумал, что на таких тощих пальцах неудобно носить тяжёлые перстни.

Неприятное впечатление производили его пышные малиновые губы да ещё зад, по-женски округлый и выпуклый.

Вилен просто подвёл к нам этого человека и без дальнейших церемоний, даже не представив нас друг другу, объявил:

— Вот они... Что ты о них думаешь?

Дядька бегло, но пристально взглянул на нас и, взмахнув левым кулачком, сказал:

— Ну что? Всё понятно с первого взгляда...

И, обратившись к нам, добавил:

— Наверное, сны цветные видите?

— Сны?! — переспросил Макс.

— Да... Сны...

— Я... пожалуй... вижу... цветные, — промямлил Макс, переводя глаза с дядьки на Вилену.

— Я тоже, — поддакнул я.

— Ну вот! — дядька чему-то обрадовался. — Я так и думал. Больше не надо ничего. Можно их сразу вводить. С первого взгляда понятно, что экстрасенсорные способности у обоих. Причём вполне достаточные для высвобождения внутреннего Я... Да, можно сразу вводить...

Тут они отвернулись от нас, обменялись ещё какими-то замечаниями и ушли, не протрившись.

— Понял? — сказал Макс, глядя им вслед. — У нас с тобой экстрасенсорные способности.

И вытянул по-лошадиному лицу.

* * *

Мы вскоре забыли об этом странном дядьке: у Алисы он больше не появлялся, Вилен не напоминал о нём, а спросить у кого-нибудь — это нам в головы не приходило. К тому же скоро у нас начались зачёты, потом сессия, а там и сезон отпусков, дач и гастролей. И журфиксы в Гончарной улице отложили до осени.

Майка на лето отправилась в Бельгию выхаживать тамошних инвалидов. И Макс снабдил её в дорогу набором остроумных и многозначительно-презрительных улыбочек. Надо сказать, что как только мы с Максом сделались постоянными гостями в Гончарной улице, Макс утратил всяческий интерес к Майке и стал даже поглядывать на неё свысока. На Майкины расспросы, почему мы не явились тогда к ДК МЭИ и что помешало нам быть в назначенном месте ко времени, Макс с напускным простодушием поведал ей всю нашу одиссею. Майка было обиделась, но уже через день улыбалась и была по-прежнему ласкова. Со своей стороны, Макс положил держаться насмешливого тона в отношении Майки и не упускал теперь случая, чтобы не усмехнуться. Майка не понимала этой перемены в Максе и всё никак не могла нащупать, как же теперь вести себя с ним. Она пробовала обижаться, пробовала не обращать внимания на его ухмылки и шпильки, пробовала даже смеяться — всё это было не то и на Макса не действовало.

Летом всё переменялось. Майка уехала. Макс, заверив на прощание, что непременно постарается следующим летом выхлопотать для неё местечко санитарки где-нибудь в иркутском доме инвалидов, сам принялся паковать чемоданы — Виктория пригласила его провести

каникулы в Сочи. Надо сказать, что Виктория совершенно обжилась у Макса. И даже самовольно легализовала своё пребывание в Земледельческом переулке, однажды поутру появившись перед бабушкой Макса и отрекомендовавшись «невестой вашего внука». Бабушка сначала испугалась появлению незнакомой женщины, приняв почему-то Викторию за цыганку. Потом, узнав, что незнакомка уже с месяц тайно проживает в её квартире, бабушка страшно рассердилась и даже попыталась выставить Викторию, пригрозив милицией. Когда же Виктория поведала, что первое время жила впроголодь и взаперти, бабушка смекнула, на кого именно ей следует сердиться, и велела Виктории оставаться до выяснения обстоятельств. Но к возвращению домой Макса, гнев утих и его хватило лишь на то, чтобы важно объявить внуку:

— *Такие дела так* не делают!

— Какие ещё дела?! — с вызовом парировал Макс.

Но было поздно: бабушка целиком держала сторону Виктории. А когда Макс приступил в своей комнате к допросу Виктории, та разрыдалась, призналась Максу в любви и пообещала покончить с собой, если Макс её выгонит. Макс испугался и решил отложить изгнание. К тому же, рассудил он, сожительство с Викторией совершенно не обременительно и даже приятно. А что с бабушкой так вышло — всё к лучшему, хлопот опять же меньше.

Виктория пристроилась в Москве рекламировать сигареты. Работа была сдельной. Время от времени Викторию вызывали по телефону, и тогда она отправлялась куда-то в Скатертный переулок, где ей и другим девушкам выдавали яркие картузы и майки с изображениями сигаретных пачек. И разряженные таким образом девушки бегали по улицам, приставали к прохожим и уговаривали курнуть бесплатно.

Заработанные деньги Виктория делила на три части. Часть оставляла себе, другую часть отдавала Максу, третью — бабушке, на хозяйство. В свободное от уличного восхваления сигарет время Виктория мыла, убирала, готовила, чем окончательно расположила к себе бабушку Макса.

Отправляясь на лето домой, в Сочи, Виктория заранее побеспокоилась и Максу купить билет. И через две недели после её отбытия, Макс погрузился в поезд и уехал вослед.

Максу вся эта кутерьма вокруг его персоны нравилась чрезвычайно, Виктория стала ему просто необходима. И, провозжая его в Сочи, я подумал, что едва ли у Макса достанет теперь силы отделаться от неё.

В конце августа они вернулись вместе в Москву.

Всё завертелось по-прежнему. Начались занятия. Из Бельгии приехала Майка и первым делом объявила нам, что собирается отбыть в Соединённые Штаты Америки на постоянное проживание.

— Что, и в Штатах недобор санитарок? — притворно, но почти злобно подивился Макс.

По-моему, «постоянное проживание» он пропустил мимо ушей.

— Да нет, — кротко отвечала ему Майка, — просто я выиграла American Green Card...

Ещё памятно то время, когда значительное большинство соотечественников не имело ни малейшего понятия ни о каких таких «гринкартах». Но потом вдруг в одночасье все узнали, что «гринкарта» — это пропуск в иной мир. Иной мир это не то же самое, что мир иной. Иной мир находится там, где за работу много и вовремя платят, где избыток товаров превосходного качества. Где чисто на улицах и в подъездах, где свобода в порядке, и порядок в свободе. Где поклоняются закону и полагают закон краеугольным камнем жизнеустройства. Где жить престижно и где жизнь сама по себе становится избранничеством. А потому и доступ к ней ограничен. И вдруг Майка вот так в буфете объявляет, что взяла и выиграла право переселиться в этот самый иной мир. Ничего удивительного, что на Макса это известие произвело впечатление прямо-таки разрушительное.

— То есть как это «выиграла»? — прошипел он.

Майка объяснила, что участвовала в какой-то лотерее. А когда Макс спросил, почему нам ничего не известно о таких лотереях, где выигрывают билетки в западные палестины, Майка только плечом повела. И тут неожиданно для всех, громко и театрально, с дрожью в голосе Макс произнёс:

— А-а-а!.. Нам наскучили нивы бесплодные?

Ребята за соседними столиками поутихли и один за другим повернулись в нашу сторону. Майка вытаращила глаза на Макса.

— Чужды нам страсти и чужды страдания? — прогрохотал Макс.

Майка испуганно оглянулась и съёжилась как заяц в кольце собак.

— Вечно холодные, вечно свободные, — не унимался Макс.

— Ты что, взбесился? — шепнул я.

— Нет у вас Родины... Нет вам изгнания!

Кто-то зааплодировал, кто-то засмеялся, кто-то похлопал Макса по плечу, а кто-то сострил, что Макс, должно быть, объелся чего-нибудь в буфете. Майка молча поднялась со стула и скорым шагом удалилась.

С тех самых пор дружба наша, увы, совсем разладилась. Майка перестала замечать нас. А Макс, из зависти ли, а может, усмотрев для себя что-то несправедливое в Майкином благополучии, возненавидел её самой лютой ненавистью...

Виктория вскоре определилась работать в компанию пейджинговой связи, где обещались неплохо платить. А в начале октября возобновились «четверги» у Алисы.

Всё, казалось, шло своим чередом.

* * *

В первый же четверг, что мы вернулись в Гончарную улицу, Вилен подвёл к нам того странного человека с жуками в кулачках. Он нисколько не изменился. Всё тот же панцирь над лысиной, всё те же пышные малиновые губы, всё тот же зад *à la belle femme*.

Мы с Максом, развалясь, сидели на диване в библиотеке и слушали, как один из гостей, какой-то новичок, наигрывал на рояле что-то джазовое. Макс, полулёжа, со скучающим видом тянул через соломинку разноцветный слоёный коктейль. А я обсасывал едкий, имитирующий вкус малины леденец на пластмассовой палочке и всё думал, что синие обои и белая мебель, вот как здесь, в библиотеке, очень подходят друг другу и что это неплохо придумано...

Он подошёл к нам, улыбнулся как старым знакомым, но руки не протянул. Удержали и мы свои.

— Вот, — суетился Вилен, — вот... Вы уже знакомы... Вот место... Подвиньтесь, друзья мои! Вот так... Вот так... Вот и прекрасно! Вот и поговорите... Вам ведь есть о чём поговорить?..

Он погрозил Максу пальцем:

— Благодарить меня будешь! Не расплатишься!..

И выскользнул из комнаты.

Вилен солгал: мы не были знакомы; ни тогда, ни сейчас он не представил нас друг другу.

А знакомый незнакомец уселся на краешек дивана и лукавыми, острыми глазками принялся изучать нас. Макс тоже уставился на него. «Кто ты такой? — говорил его взгляд. — И что ты можешь дать мне такого особенного?». Так прошла, наверное, целая минута. Наконец, точно высмотрев всё, что ему было нужно, визитёр отвёл глаза, соскользнул в диванную хлябь и сказал:

— Н-да...

Это «н-да» мне совершенно не понравилось, и я затаился. Макс тоже смолчал.

— Неплохая музыка, — заметил наш новый приятель, взмахнул своим кулачком и кивнул в сторону рояля.

Мы молчали.

Ему быстро надоело нянчиться с нами, искать подходы и, решив, очевидно, оставить все околичности и церемонии, он вдруг обратился к Максусу:

— Вы не переменили своих намерений?

Мы переглянулись.

— Каких ещё намерений? — грубо переспросил Макс.

— Ну как же... Если я правильно понял... ещё весной... Вы хотели вступить в ложу?

Мы опять переглянулись.

— В ложу? — с тревогой переспросил Макс. — Какую ложу?

— Ну как же... В тайную ложу... Разве не вы хотели вступить в тайную ложу?

Мы снова переглянулись. Потом, не сводя глаз с загадочного визитёра, Макс изогнулся, поставил на пол свой недопитый коктейль, выпрямил спину, проглотил слюну, облизался и вкрадчиво сказал:

— Это мы...

Дядька чуть заметно усмехнулся.

— За вас ходатайствовали... — сказал он. — Вы можете быть приняты завтра же... Если, конечно, вы согласны...

— Завтра?! — прошипел Макс. — Конечно, согласны!

— Вот конверт, — и он протянул нам длинный глянцевый конверт из хорошей, плотной бумаги. — Здесь всё написано. Вы выполните всё, что здесь написано, и будете приняты завтра же...

Даже и теперь он не разомкнул кулачков, точно боялся выпустить наружу своих жуков.

— Стоп, стоп! — перебил я его, опомнившись. — А что за ложа?

Он улыбнулся.

— Если вы не готовы... — мягко проговорил он, — вступление можно и отложить...

— Ни-ни-ни-ни-ни! — вмешался Макс и стиснул мне плечо. — Мы готовы. Готовы!.. Это он шутит!

Дядька усмехнулся как давеча.

— Ну, в таком случае... до завтра?

— До завтра! — радостно подхватил Макс.

Дядька поднялся с дивана и направился к выходу. Но задержался и, обернувшись к нам, проговорил ещё раз, точно для убедительности:

— До завтра...

С этим и вышел.

— Ты что, идиот? — зашипел на меня Макс. — Ты чуть всё не испортил! Нас опять не примут!

— Куда-а?

— В ложу тайную! «Куда»!..

— В какую ложу?! Ты ведь даже не знаешь...

— Да какая разница! — он поморщился. — Не понравится нам — уйдём... Что, держать нас, что ли, там будут?..

Он прервался и в нетерпении стал потрошить конверт. Внутри таинственного конверта оказался всего лишь один листок, на котором изящным готическим шрифтом были указаны время и место: *7 октября, 22.00, м. «Авиамоторная», у выхода к кинотеатру «Факел».*

— Опять?! — вырвалось у меня.

— Странное совпадение, — согласился Макс.

Кроме этого сообщения на листке были ещё какие-то значки, в том числе советские звёздочки, какие-то треугольники, квадраты и даже нацистская свастика.

— Это, наверное, какая-нибудь фашиствующая организация, — я ткнул пальцем в свастику.

— Это всего лишь магический знак, — нетерпеливо проговорил Макс. — Нацисты сами заимствовали его у восточных культов.

Под значками шёл другой текст, записанный столбцом, но смысл его разобрать было невозможно — это был какой-то тарабарский язык. Под этим текстом уже по-русски значилось, что «молитву» — ту самую тарабарщину — следует прочитать трижды перед посвящением.

— Значит, это восточная секта, — робко заметил я. — Заклинания какие-то...

— Ну чего гадать-то? — разозлился Макс. — Завтра узнаем... Видишь? — он ткнул листок мне в нос. — Надо ещё подготовиться... «молитву» прочесть...

И он принялся читать вслух. Слов я, конечно, не помню. Но впечатление, которое произвела на меня эта «молитва», врезалось в память. Слова напоминали камни, огромные, острые камни, обломки безжизненных чёрных скал, срывающиеся и с грохотом скатывающиеся вниз. В сочетании с неусыпаемым джазом это вызвало во мне неприятное, тяжёлое волнение.

— Слушай, Макс... — не выдержал я наконец. — Может, ты потом помолишься?.. А?..

Он ничего не ответил. Потому что в эту минуту в библиотеку ворвалась развесёлая компания. Джаз утонул в хоре голосов. Макс поспешил сложить листок в конверт, а конверт припрятать во внутренний карман пиджака.

* * *

Весь следующий день я испытывал такое чувство, будто всё происходящее уже происходило однажды. Да так оно и было. Точно так же, как и тогда, весной, Макс опоздал на занятия. Точно так же он предложил заехать за мной в пять. А когда я усмехнулся в ответ — страшно разозлился и объявил, что зря связался со мной, что я домосед и ничего не смыслю в хороших компаниях. И что если мне хочется ночью спать, как какому-нибудь плесневелому старикану, то это моё право, а он, Макс, не намерен каждый раз вытаскивать меня за шиворот из тёплой постельки и втолковывать насильно, что такое настоящая жизнь.

В пять он был у меня. Мы обедали, и Макс вдохновенно рассказывал маме, кто такие тамплиеры и масоны, и загадочно намекал на свою к ним причастность.

— Орден тамплиеров возник не то в XIII, не то в XIV веке, — говорил он. — А ещё раньше были альбигойцы, а ещё раньше — манихеи и гностики... Много позже появились розенкрейцеры, потом — вольные каменщики и даже вольные угольщики!.. Их всегда объединяло то, что все они на самом деле были, по сути, филантропическими обществами. Они распространяли просвещение, они осуждали мракобесие и суеверия... На самом деле они всегда боролись за свободу и против предрассудков. Боролись против тирании, религиозного деспотизма, невежества... Ну, об этом, конечно, не все знают... Поэтому обыватели недолюбливали их, приписывали им всякие страсти... Одним словом — невежество!

Мама очень внимательно его слушала и наконец осторожно спросила:

— Так вы, что же, ребята... в фармазоны записались?

На это Макс рассмеялся и кокетливо отвечал, что все декабристы были масонами и что по его сведениям в Москве есть ложа «Северная звезда» и ложа «Свободная Россия». Впрочем, наверняка есть и другие ложи...

В восемь часов мы вышли из дома и так же, как и тогда, весной, молча добирались до метро. С той лишь разницей, что я не испытывал

решительно никакого волнения. Я не думал ни о том, куда мы едем, ни о том, что ждёт нас.

Когда поезд остановился на «Белорусской», я насмешливо посмотрел на Макса. Он сидел как ни в чём не бывало. А когда я, чтобы позлить его, спросил: «Хочешь, поедем по-другому?», он только смерил меня взглядом и отвечал лапидарно:

— Фу!

На «Новокузнецкой» он важно поднялся с места и бросил мне, как если бы я был его денщиком:

— За мной...

Ровно в 21:35 мы поднялись из метро. Осенью ночи тёмные, холодные и мокрые. В такую погоду мне нравится представлять себя на пути, бредущим через бесконечное поле или по старому тракту. В этих фантазиях много мучительного. Чувство бесприютной тоски, одиночества щемит, берedit душу. Но хочется почему-то отдаться этому чувству, хочется терзать себя и насладиться терзанием. Может быть, потому, что прекрасно знаешь: никакая надобность не приведёт ночью ни в поле, ни на заброшенный тракт...

— Это вы Максим? — услышал я рядом с собой голос как будто очень усталый.

Я поднял глаза. Возле меня стоял какой-то человек в тёмных брюках и чёрной кожаной куртке, одетой поверх другой, мягкой красной куртки, капюшон которой и украшал голову незнакомца. Был этот человек довольно высок, тщедушен и сутуловат. Лицо его казалось бледным и испитым, и даже измождённым, точно он не спал несколько ночей кряду. Глаз его, окутанных тенью капюшона, я не мог рассмотреть. Зато рассмотрел рот: довольно крупный, но красиво очерченный, с похожей на корону верхней губой.

— Это вы Максим? — снова спросил он, перехватив мой взгляд.

— Это я Максим, — Макс вышел вперёд, — это Иннокентий.

— Иннокентий? — удивился незнакомец.

— Да, — сказал я, — а что?

— Ничего... Идёмте.

И, более не оборачиваясь, мелкими, неровными шажками, покачиваясь и подпрыгивая, он зашагал в сторону Красноказарменной. Мы с Максом, как овцы за козлом, поплелись за ним.

Вся фигура нашего провожатого напоминала мне цветок на длинном тонком стебле, сгибающийся от всякого дуновения.

— Какой-то доходяга ледащий, — шепнул я Макс, рассматривая сухую, скрюченную спину незнакомца. — Чисто узник Освенцима!..

В ответ Макс только поморщился.

— Да куда он нас заведёт?

Макс молчал.

Как и тогда, весной, мы свернули с Авиамоторной в Красноказарменную, с Красноказарменной — в Энергетический проезд. Возле ДК МЭИ, как раз у того самого таксофона, наш спутник вдруг остановился.

— Курить будете? — обратился он к нам.

Мы отказались. Он вытащил из-за пазухи белую пачку и, ловко выбив из неё сигарету, закурил один. Щурясь от дыма, он кивнул нам, приглашая следовать за собой, и поплёлся дальше. Мы вышли в Энергетическую улицу, пересекли её и углубились во дворы, так что я перестал отслеживать маршрут. Остановились мы перед подъездом облезлого панельного дома. Мы с Максом молчали в ожидании, а спутник наш всё силился сказать что-то. Да то ли слов подобрать не мог, то ли не знал, с чего ему начинать, а потому тоже молчал и только переминался с ноги на ногу.

— Вы это... — промямлил он наконец. — Четвёртый этаж... двадцать вторая квартира... А я это... я пойду... Давайте...

Он кивнул нам, потоптался ещё и, покачиваясь и подпрыгивая, пошёл от нас прочь. Мы остались одни. Неизвестно где и неизвестно зачем.

Макс посмотрел на часы.

— Уже десять, — сказал он. — Пойдём?

Голос его показался мне просительным и беззащитным. Мы молча вошли в подъезд. Здесь было грязно. На ступенях зачем-то лежали огромные куски мокрого картона; стены были покрыты глупыми, циничными надписями; пахло мышами, спичками, испражнениями всех сортов, сигаретным дымом, окурками и чёрт его знает, чем ещё. Площадку перед лифтом украшал протёртый до дыр ковёр, вобравший в себя запахи и щедро делившийся ими.

Дверь двадцать второй квартиры ничем не отличалась от прочих дверей. Мы позвонили, и нам в ту же секунду открыли, как будто давно ждали нашего звонка. В прихожей было темно, но свет, ворвавшийся с площадки, выхватил из темноты две белые двери по правой стене, жёлтый старомодный шкаф напротив и странную фигуру, метнувшуюся в сторону и скрывающуюся за дальней дверью. Мы остановились на пороге, недоумевая, что теперь делать. Но тут дальняя дверь снова приоткрылась, и в прихожую протиснулся какой-то человек. Он неслышно скользнул в нашу сторону, и мы узнали Вилену.

— Ой! — громко и радостно пискнул Макс.

— Ты как здесь? — спросил я.

Но Вилен замахал на нас руками.

— Тихо! Тихо! — зашептал он. — «Как я здесь!» А кто вас сюда привёл?.. Заходите! Заходите!.. Да ну закройте же дверь! Не стойте вы там!.. «Как я здесь!» А кто вас рекомендовал? Кто за вас ходатайствовал? Что ж они свет-то не включили? Олухи... Да заходите вы!

Мы вошли. Вилен тем временем нашёл выключатель, и прихожую осветила тусклая лампочка. Пока мы снимали и пристраивали куртки, из жёлтого шкафа Вилен достал стопку какого-то белого тряпья, потом разделил её надвое и передал каждому из нас половину.

— Это вам, — строго сказал он, — наденьте это... Так надо...

Я хотел разделить поданные мне вещи, но обнаружил, что вещей всего одна. А именно: огромный белый балахон с капюшоном.

— Мы что тут в привидения будем играть? Или в Ку-клукс-клан? — спросил я, разглядывая своё новое одеяние.

Никто не ответил мне, никто не засмеялся.

Макс, наблюдавший за мной, поспешил развернуть и натянуть на себя свой балахон.

Поражало меня то, что ко всему происходящему Макс относился совершенно серьёзно и даже как будто ревностно. Мне же с трудом удавалось сдерживать смех: Макс в дурацком белом балахоне казался мне шутком гороховым. А тут ещё он натянул на голову островерхий капюшон и, оправляя, разглаживая на себе складки, доверчиво, словно жених, спросил меня:

— Ну как?

— Очень сексуально, — ответил я.

Между тем, Вилен снова открыл жёлтый шкаф и извлёк оттуда точно такой же чёрный балахон. Облачившись в него, Вилен шепнул нам, чтобы мы ждали, и исчез за дверью. Но в ту же секунду показалась его голова в чёрном нелепом колпаке и зашептала:

— Делайте всё, что вам скажут. Ничего не бойтесь... Ждите, вас позовут.

Голова его скрылась за дверью, но тут же снова высунулась.

— Свет не забудьте выключить, — шепнула голова, спряталась и более уже не показывалась.

Мы остались одни. Я вспомнил, как тогда, весной, мы стояли босиком в прихожей у Алисы. И вот теперь снова стоим в чужой прихожей, на сей раз в дурацких белых балахонах, длинных и нелепых, путающихся в ногах. Ждём неизвестно чего и неизвестно зачем. А Макс тем

временем избегает смотреть мне в лицо, потому что боится насмешек. А боится, потому что знает: всё это и в самом деле смешно и нелепо, и лучшее, что мы можем сделать — это сбросить с себя балахоны и убираться поскорей восвояси. Но вот он нацепил на голову колпак и ходит взад-вперёд по прихожей, делая вид, что не замечает меня. А я вынужден подпирать плечом стену и злиться на себя, что не могу уйти домой, а для чего-то потакаю Максу в его нелепых затеях. Ну нет, голубчик! Не хочешь смотреть на меня — не надо! Я ведь просто могу сказать тебе всё, что думаю. В конце концов, почему я должен всюду ходить за тобой и составлять тебе компанию!

— Послушай, Макс! — начал было я, но тут за белой дверью раздался странный звук, похожий на удар била или гонга.

Макс остановился и вытянулся в струну, точно охотничий пёс, слышавший рог хозяина.

С небольшим интервалом звук повторился ещё и ещё. Я уже забыл, о чём собирался сказать Макс, и с нетерпением, с любопытством ждал, что сейчас будет. Распахнулась белая дверь, и к нам из темноты выступила удивительная фигура.

Это был довольно высокий и крепко сложенный человек, одетый в кумачовый балахон. Глаза его прятались под капюшоном. На шее висела тяжёлая цепь из белого металла, по всей видимости, из серебра, а на цепи болталась непонятная серебряная фитюлька. Вид этого человека немного напугал меня сходством со средневековым палачом: не хватало ему только топора в руках. Но тут он заговорил с нами, и я ободрился.

— Желаете ли вы вступить в братство свободных людей? — спросил красный человек прерывающимся голосом.

— Да, — с готовностью, но в то же самое время боязливо ответил Макс.

— Желаете ли вы стать братьями людям, не признающим над собой никакой власти, кроме власти верховного владыки, хозяина Земли?

— Да, — повторил Макс.

— Желаете ли вы разделить участь своих братьев, отвергающих все ложные вероучения и отрицающих лицемерие и ханжество?

— Да...

— Вы ответили на три вопроса, вы можете войти в храм...

И он отступил в темноту, чтобы дать нам дорогу. Заметив, что я без капюшона, он сказал:

— Брат, в храме мы покрываем головы. Надень свой капюшон.

Я послушался.

Конечно, ни я, ни Макс ничего не знали ни о каком братстве, не имели ни малейшего представления о «верховном владыке, хозяине Земли», представить себе не могли, какую участь придётся разделить нам со своими новопровозглашёнными братьями да и братьев-то никаких в глаза не видывали.

Мы прошли по короткому коридору и оказались в небольшой проходной комнатке. Окна здесь были занавешены плотными тёмными шторами, стены тоже были затянуты или замазаны тёмным. У противоположной от окна стены стоял длинный стол, покрытый тяжёлой тканью. На столе были книги, человеческий череп, огромный нож, молоток и высокий серебряный потир. Другой мебели кроме стола в комнате не было. Вместо электрического света горело множество свечей в высоких напольных подсвечниках и прямо на полу. Под окном я увидел целую поляну зажжённых свечей.

Вдоль стен на расстоянии шага друг от друга стояли люди в красных или чёрных балахонах и держали в руках свечи. Удивило меня то, что некоторые свечи были из чёрного стеарина. Я никогда прежде не видел чёрных свечей. На стене позади стола висела какая-то странная абстрактная картинка с изображениями геометрических фигур, кажется, треугольников. Справа от картинки висел колокол, слева — гонг.

Всё это было похоже на сказку. Я ни за что бы раньше не поверил, что в обычной московской квартире можно встретить что-то подобное. Балахон путался у меня в ногах, капюшон мешал видеть, но любопытство, разговорившееся с каждой секундой, заставляло меня не замечать неудобства, а только ждать, что будет дальше. Посреди комнаты, прямо на полу были начертаны мелом какие-то линии. Красный человек жестом пригласил нас подойти к этому месту, и когда мы приблизились, жестом повелел нам встать в самый центр пересекающихся линий. Потом вдруг дверь в соседнюю комнату отворилась, и вошли трое.

Эти трое тоже были одеты в чёрные балахоны. Вошли они медленно и торжественно, как епископы от инквизиции, остановились за столом. Один из них оказался в центре, двое других по сторонам и на шаг сзади. Выждав немного, тот, что в центре, обратился дружелюбно к собранию:

— Помолимся?

По комнате пронёсся одобрительный шумок, все зашевелились, точно в ожидании чего-то приятного. «Инквизитор» воздел руки и произнёс:

— О, верховный владыка, хозяин Земли! Помоги нам отличать добро от зла, помоги нам различать наших братьев! Помоги нам узнавать

стремящихся к совершенству! Помоги нам отличать свободных от рабов, верных от неверных! Аминь!

И все вокруг зашептали:

— Аминь...

— Аминь...

Тогда Инквизитор ударил молотком по столу и обратился к нам:

— Кто вы и зачем пришли сюда?

Вот те раз! Вопрос показался мне настолько глупым и неуместным, что настроение моё, навеянное здешней обстановкой, стало понемногу таять. Ещё несколько секунд, и я сорвал бы с себя капюшон и наговорил бы всем дерзостей. Но тут знакомый нам Красный человек выступил вперёд и громко объявил:

— Они здесь, чтобы вступить в братство свободных людей.

— Что это значит? — спросил Инквизитор.

— Они хотят стать братьями людям, не признающим над собой никакой власти, кроме власти верховного владыки, хозяина Земли.

— Что они могут сделать для этого? — снова спросил Инквизитор.

— Они обещают разделить участь своих братьев, отвергающих все ложные верования и отрицающих лицемерие и ханжество.

— Тогда пусть принесут клятву!

— Согласны ли вы поклясться в верности братству? — повернулся к нам Красный человек.

— Да, — тихо сказал Макс.

— Согласны ли вы поклясться хранить тайну братства?

— Да...

— Тогда повторяйте клятву!

— Клянусь!.. — провозгласил Инквизитор. — Перед лицом верховного владыки, хозяина Земли клянусь никогда и ни одному лицу не открывать ничего из того, что здесь увижу и услышу!

— ...Здесь увижу и услышу... — нестройно бубнили мы с Максом.

— Клянусь исполнять все поручения братства, хотя бы это стоило мне жизни!

— ...Стоило мне жизни...

— Клянусь беспрекословно повиноваться во имя верховного владыки, хозяина Земли!

— ...Хозяина Земли...

— Если я нарушу мою клятву, то пусть измена моя не останется безнаказанной. И пусть мне перережут горло этим ножом... — Инквизитор поднял со стола здоровенный нож с чёрной рукоятью, — если я буду виновен в измене.

— ...Виновен в измене...

Признаюсь, от последних слов мне сделалось как-то не по себе.

Инквизитор снова схватил свой молоток и семь раз с силой ударил им по столу.

— Больше вы себе не принадлежите, — сказал он наконец. — Ритуальный нож достигнет любого клятвopеступника. Сделавший первый шаг уже не может отступить.

Тут он придвинул к себе потир и взял нож в правую руку.

— Скрепите свою клятву кровью и примите в себя кровь братьев, и будем пребывать все в каждом и каждый во всех. Подойдите, — обратился он к нам.

Мы с Максом медленно подошли к столу. Инквизитор протянул мне левую руку, и когда я приготовился пожать её, вдруг ухватил меня за запястье и в ту же секунду полоснул ножом мне палец. От неожиданности я дёрнул руку, но он удержал меня и тоном, каким уговаривают ребёнка съесть кашу, сказал:

— Вы должны скрепить свою клятву кровью.

С пальца в потир упало несколько капель, после чего Инквизитор, как вампир, упившийся кровью жертвы, потерял ко мне всяческий интерес. Выпустив мою руку и не обращая на меня больше никакого внимания, он повернулся к Максy.

Макс не шевелился. Инквизитор молчал и ждал. Молчал и Макс. Вышла заминка.

— Вашу руку, — ласково сказал Инквизитор.

Макс не шевелился.

— Руку, — громче и твёрже повторил Инквизитор.

В комнате кто-то пошевелился. И мне показалось, что это собираются схватить Макса, чтобы насильно взять у него кровь. Макс нехотя и брезгливо, как девица ненавистному жениху, протянул Инквизитору свою руку. Тот жадно схватил её, надрезал и сцедил кровь...

Один за другим все, кто были в комнате, стали подходить к столу, чтобы оставить несколько капель крови в серебряном потире. Наконец, Инквизитор надрезал и свой палец. Алые капли упали в потир. Инквизитор положил нож на стол, отпил из потира, и со словами: «Примите...», передал чашу мне.

Тёмная, густая жидкость, плескавшаяся в серебряном потире и оставлявшая на стенках маслянистые подтёки, возбудила во мне новые чувства. Мне было страшно, оттого что я готовился выпить человеческой крови и оттого что рецепт напитка оставался мне неизвестен. Мне было противно, оттого что люди, давшие кровь, могли оказаться больными. В то же вре-

мя меня раздирало любопытство: мне было интересно попробовать чужой крови и узнать, из чего приготовлен напиток в потире. И я сделал глоток.

Это было сладкое красное вино, очень крепкое, с сильным сивушным запахом — кагор, разбавленный водкой или даже спиртом. Солонатовый, металлический привкус крови едва угадывался.

С одного глотка я захмелел. Позабыв про давешний страх, я даже развеселился.

Наконец потир оказался на столе. Инквизитор трижды ударил молотком по столу и произнёс:

— Изменник достоин смерти, ибо изменой своей осквернит кровь братьев...

Но мне всё казалось, что это какое-то шутовство, игра и сейчас все сбросят с себя балахоны и будут смеяться, как ловко обвели нас. На всякий случай я не снимал с лица улыбки, означавшей, что я дескать всё знаю, но до поры до времени не подаю вида. Конечно, думал я, под балахонами окажутся старые знакомые. И даже пытался представить: вот это, с чёрной свечой в чёрных когтях, наверное, Липисинова. А это, с белой свечой, рядом, Алиса...

— Братство наше, — продолжал Инквизитор, — видоизменяясь, существует с древнейших времён. В основе нашего учения — древняя мудрость, а не лицемерный самообман и ханжество. Вот почему целью братства всегда было искоренение предрассудков и освобождение человека. Человек рождён для свободы, и всё, что покушается на эту свободу, должно быть уничтожено. Освобождение — вот единственный долг каждого человека. Для этого каждому человеку необходимо научиться руководствоваться разумом. Только разумом познаётся истина. Ибо истина — это благо, истина не может быть вне блага. А благо — это только то, что полезно человеку. Что же может быть полезнее человеку чем утоление его собственных природных склонностей! Что может быть полезнее для алчущего чем кусок хлеба? Что может быть полезнее для жаждущего чем глоток воды? Все склонности даны человеку природой. Следовательно, их утоление и есть истина. А так как природой для каждого человека определены разные склонности, и утолять их каждому приходится по-своему, то и истина для каждого своя. Единственное, что объединяет всех людей — это понимание добра и зла. Добром мы называем всё, что полезно человеку, а, следовательно, приятно. Злом мы называем всё, что бесполезно и неприятно. Нужды людей — это, прежде всего, нужды плоти во всём многообразии проявления. Следовательно, удовлетворяя желания и нужды плоти, человек осознанно творит добро. Добро — это благо.

Благо — это истина. Истина доступна только свободным. Следовательно, удовлетворяя желания и нужды плоти, человек по-настоящему освобождается. Вот правда открытая человечеству ещё в древние века! Вот правда восхищенная и вновь обретенная! Восстановим же, братья, утраченный рай! Освободимся же сами и поведём к свободе других! Восставший да будет уничтожен! Ибо никому не дано знать, когда наступит час нашего торжества, но чем скорее пополнятся ряды армии верховного владыки, хозяина Земли, тем скорее наступит час освобождения! Поклянёмся же, братья, именем ангела света, топтать ногами все предрассудки! Поклянёмся же именем утренней звезды, вырывать с корнями суеверия и невежество!

— Клянёмся...

— Клянёмся... — послышалось со всех сторон.

И я, чтобы не отставать от остальных, прошептал:

— Клянёмся...

Инквизитор обрушил на стол семь ударов, после чего громко, ни к кому конкретно не обращаясь, спросил:

— Который час?

— Полночь, — ответил кто-то из комнаты.

— Теперь полночь, — объявил Инквизитор, — мы продолжим наши занятия. Пусть новые братья покинут нас, ибо им не дано ещё знать всех тайн!

С этими словами он с силой три раза ударил по столу молотком и приготовился сказать что-то ещё. Как вдруг на последнем ударе стол, крикнув как от доброй рюмки водки, с треском сложился птичкой, задрал бесстыдно скатерть и выставил на обе стороны тонкие, облезлые ноги. Всё, что было на столе: череп, книги, потир, нож — всё покатилося в расщелину. А в комнате всё смешалось. Кругом заохали, заахали, завизжали. Стали тушить свечи, бросились скопом к столу. Кто-то даже сорвал колпак с головы. Нас с Максом оттеснили в прихожую и довольно бесцеремонно выставили из квартиры.

На площадке у лифта курил какой-то парень, а внизу у мусоропровода расположилась целая компания. Несколько человек с пивными бутылками и сигаретами расселись на ступенях и довольно громко смеялись.

«И чему они могут так радоваться?» — подумал я, тут же возненавидев их всех.

Но компания не обратила на нас никакого внимания, как не обращала внимания на парочку, слившуюся в поцелуе да так и остолбеневшую между окном и мусоропроводной трубой.

* * *

На другой день я уже стыдился своих приключений. Я томился от наплыва самых разнообразных чувств, в которых не мог разобраться. Мне было неприятно вспоминать вчерашний балаган. Но в то же самое время я был доволен собой. Я гордился своей смелостью, своей дерзостью, мне льстило, что я вошёл в совершенно диковинное сообщество. И тут же, уличив себя в этом мелком тщеславии, я злился. И тут же снова краснел от мысли, что позволил кому-то так разыграть себя. Неспособность разобраться мучила и пуще злила меня.

На Макса, свидетеля и виновника моего позора, я не мог спокойно смотреть. И за весь день я не сказал с ним и двух слов. Макс тоже оставался молчалив и задумчив, и даже как-то величественен, что уж совершенно не шло к нему.

Уже ночью, лёжа в постели, я дал себе слово забыть всё, что случилось с нами. Я решил, что никогда не стану заговаривать об этом с Максом и никогда больше, ни под каким предлогом не стану вступать в тайные общества. Это решение придало мне спокойствия. Я почувствовал облегчение, как если бы избавился от тяжёлого груза. Мне захотелось решиться на что-то большее. И я сказал себе, что не буду больше бывать на вечерах у Алисы. Не помню уж, как это пришло мне в голову. Помню только, что мне тогда с необычайной силой захотелось чего-то благообразного, настоящего. И вот, ничего лучше я и не смог изобрести.

Думать, что никогда больше я не появлюсь в доме на Гончарной улице, было грустно. Но вместе с тем, я чувствовал, что, отказавшись от этих визитов, я сделаю что-то очень важное и полезное. Когда я сказал о своём намерении Макс, он не удивился и не стал возражать. А только, передёрнув плечом, сказал мне:

— Странно... Я думал, она тебе понравилась...

— Кто?

— Алиска...

— Дурак!..

А между тем обнаружилось, что «братство свободных людей» — никакая не шутка. И клятва, которую мы принесли, и кровь, которую пили — всё это настоящее и вопиет о продолжении. Макс передал мне длинный, гляцевый конверт из хорошей, плотной бумаги. В письме говорилось, что 13 октября ровно в 21:45 мы должны явиться по уже известному нам адресу. Тоска навалилась на меня, пока я читал это письмо. Как-то смутно я чувствовал, что мне уж никогда не отвертеть-

ся от «братства». И что навеки связан я с Максом этой чёртовой верёвочкой. В назначенный день я тащился за ним как на заклятие.

В двадцать второй квартире нам снова выдали балахоны. Только теперь мне достался чёрный, а Макс — красный. Вилен, случившийся тут же, объяснил, что белые балахоны положены только новичкам. А поскольку мы уже прошли обряд посвящения, то имеем полное право на одежду посолиднее.

В комнате было всё то же: ряженые, свечи на полу и в руках, тот же потир, молоток, кинжал. Только стол был другой. Нас поставили в шеренгу с другими «братьями». Вскоре в комнату ввели какого-то маленького угловатого человечка в белом балахоне. Новичок крутил головой и, очевидно, был поражён увиденным. Так, что даже рот у него не закрывался. Мне вдруг стало жаль этого несчастного. Но очень скоро я забыл и думать о нём. С удивлением заметил я, что пока шёл обряд, настроение моё, как столбик термометра жарким утром, медленно, но неуклонно ползло вверх. Страх и тоска сменились во мне желанием дикого, необузданного веселья. Я смеялся над своими сомнениями и не жалел, что пришёл сюда. «Прав был Вилен, — думалось мне, — будем его благодарить!»...

— Который час? — расслышал я вопрос Инквизитора.

— Полночь, — ответил кто-то.

— Теперь полночь, — сказал Инквизитор, — мы продолжим, братья, наши занятия. Пусть новый брат покинет нас, ибо ему ещё не дано знать всех тайн...

Раздались три удара. И человек в красном балахоне вывел новичка из комнаты. Скоро я услышал, как в прихожей хлопнула дверь. В то же самое время из двери, через которую появлялся Инквизитор со своей свитой, вышла девица в чёрной полумаске. В руках она держала стальную миску. Девица была чудо как хороша. Длинные русые волосы её были рассыпаны по плечам. Тело не имело изъянов. Это легко было заметить, девица была совершенно голой. Нисколько не смущаясь своей наготы и улыбаясь всем ласково, она подошла к одному из «братьев». Тот сделал глоток из миски. Девица кивнула и перешла к следующему «брату».

Она обнесла всех. И каждый сделал по глотку из миски. Только после этого девица удалилась.

— Братья! — объявил Инквизитор. — Мы собрались здесь, чтобы славить нашего владыку, хозяина Земли. Но мы собрались здесь и для того, чтобы научиться свободе. А для этого каждый из нас должен стать богом. Что это значит? Бог есть абсолютное начало. Но и в

каждом из нас есть абсолютное начало. Что же мы должны сделать, чтобы открыть его в себе? Вы знаете, братья, что любовь — ключ ко всему. Предадимся же любви! И пусть любовь освятит нас и выпустит ту энергию, что сделает нас немножко свободнее.

Где-то за стеной, очевидно в соседней комнате, включили музыку. Кажется, это было что-то из репертуара «KISS», в первый момент звуки показались мне настоящим неистовством: выкрики, сопровождавшиеся ритмичными ударами и гнусавым гулом электрических гитар.

В комнату снова вошла нагая, но уже не одна. За руку она вела другую девицу, тоже совершенно голую, глаза которой были завязаны чёрной повязкой. Эта вторая невыгодно отличалась зажатостью и одеревенелостью. Даже груди её, слабые и неразвитые, показались мне похожими на две стружки. Её подвели к столу и уложили на спину.

Что было дальше, я не стану описывать. Скажу только: хоть я был пьян, и в голове у меня стучало, но я искренно удивился — именно удивился! — разверзшемуся кругом меня безобразию. Нагая, вдруг оказавшаяся рядом, молча посмотрела на меня и улыбнулась тяжёлой, физиологической улыбкой. Потом взяла меня за руку и повела вон из комнаты.

Мы оказались в полутёмном коридоре. Здесь на полу стоял музыкальный центр, изрыгавший грохот и скрежет с такой силой, что на мгновение мне показалось, будто это внутри у меня что-то грохочет и скрежещет. Тут же на полу копошилось несколько человек, под ногами у меня хрустело и шуршало, то и дело я наступал на что-то, но в темноте не мог разобрать, на что. Из коридора мы попали в другую комнату, большую и тёмную, которую пересекли по диагонали. У противоположной стены я различил полоску рыжего света. Нагая толкнула дверь и жестом повелела мне войти. Я послушался, и дверь за мной тотчас закрылась. Я оглянулся: нагая не последовала за мной. Это удивило меня: я не ждал, что останусь один.

Комната, в которой я оказался, отличалась от прочих своим убранством. На окне висели массивные шторы, в углу стоял торшер из оранжевой бумаги. Тут же была широкая мягкая тахта, засыпанная подушками. Перед тахтой стоял тёмного дерева столик с гнутыми ножками. На столике я заметил хрустальную пепельницу, полную окурков, распечатанную пачку сигарет, массивную зажигалку и точно такой же серебряный потир, какой был у Инквизитора. На тахте, поджав под себя ноги, сидела женщина в чёрном атласном балахоне и ласково улыбалась. Капюшон скрывал её глаза, но вялый контур лица и губ

выдавал возраст. В комнате пахло сигаретным дымом и пряными женскими духами.

В этой комнате я сразу повеселел и осмелел. Мне стало радостно, оттого что поразившие меня безобразия вдруг исчезли и оказалось, что у меня есть выбор — никто и не собирался принуждать меня. Мне захотелось смеяться, шалить — так, бывает, дети, узнав что-нибудь приятное, кидаются прыгать на кровати или подбрасывать вверх тарелки.

Пока я оглядывался, женщина с улыбкой наблюдала за мной. Она точно ждала, давая мне время осмотреться. Потом вдруг она соскользнула с дивана, подхватила потир и отпила из него.

— Пей, — шепнула она, оказавшись передо мной и протягивая мне потир.

Я принял и сделал несколько глотков. Она тихо рассмеялась и поставила потир обратно. Потом проворно скинула с себя балахон и, оставшись голой, легко потрянула пушистыми красноватыми волосами, разделёнными несвежим пробором. Я узнал Липисину.

Последнее, что врезалось мне в память — это ванильный вкус её жирной алой помады и тяжёлый, пряный запах её тела.

* * *

Это необычное происшествие произвело на меня странное действие. Придя в себя на другой день, я не чувствовал больше ни стыда, ни досады. Напротив, что-то основательное, аккуратное поселилось в моей душе. Какое-то довольство, точно меня повысили в должности или навели кругом меня безупречный порядок.

Я дал себе слово не бывать у Алисы, но о «братстве» я уже не думал в этом роде. И когда Макс принёс очередной длинный глянцевоый конверт из хорошей, плотной бумаги, я только усмехнулся. Я чувствовал, что совершается нечто неумолимое, независящее от моей воли и желания. И самое лучшее для меня — подчиниться ходу вещей и научиться извлекать из происходящего пользу. Я не думал ни о свободе, ни о том, что же на самом деле представляло собой «братство свободных людей». Из всей гаммы чувств, разыгравшихся в моей душе после «посвящения», я выбрал только одну, самую приятную ноту. Всё остальное казалось мне утомительным. «Стыд, сомнения — к чему всё это? — думал я. — Похоже на протискивание в узкие двери... А зачем?..»

Третья наша встреча с «братством» должна была состояться на свежем воздухе. В письме говорилось, что нас ждёт какое-то испытание. В субботу, 30 октября, ровно в двадцать часов нам предписывалось

явиться на Ярославский вокзал, дожждаться электрички на Александров и ехать до станции, названием которой определялась её удалённость от столицы.

Около двадцати двух часов, как и значилось в письме, мы были на месте. Нам рекомендовалось занять места в четвёртом от головы вагоне, а при выходе воспользоваться последней дверью. И действительно, напротив двери мы увидели в облаке бледного, дрожавшего фонарного света кончик тропинки, которая как нитка из клубка, высывалась из леса, подступившего к платформе.

Небо над нами было чистым и по-осеннему высоким, отчего и звёзды казались особенно далёкими и мелкими. Полная рыжая луна глядела из-за леса испуганной кошкой. Я задрал голову и с шумом выдохнул. Клок серого пара, оторвавшись от меня, растаял в чёрном, холодном воздухе.

Электричка взвизгнула и со стуком исчезла в темноте.

— Подожди, — шепнул Макс, когда я вступил на тропинку. — Подожди, у меня фонарь есть...

Он извлёк откуда-то фонарик и пошёл вперёд, кое-как освещая тропинку узким и хилым лучиком. Место было неприятное: тропинка вилась, лес пугал звуками и темнотой. То и дело я оглядывался: мне всё мерещилось, будто кто-то крадётся за нами. А однажды я совершенно отчётливо услышал чей-то смех у себя за спиной. Я порывисто обернулся — никого.

— Макс, — тихо позвал я. — Здесь есть кто-то, слышишь? Кто-то смеётся.

Макс обернулся и, птясь, пошарил кругом фонариком.

— Нет здесь никого... — зашептал он в ответ. — Показалось...

Мы поплелись дальше. К счастью, лес вскоре стал редеть. И сквозь ветки мы увидели рыжее пламя: там впереди горел костёр.

Костру мы обрадовались, точно в нём было наше спасение и обетование. Как два мотылька понеслись мы на свет его пламени. Но, выскочив из леса, мы остановились потрясённые.

Перед нами раскинулось поле, лысое после пахоты. За полем унылыми огоньками светилась деревня. Луна, грустная и побледневшая, висела над опушкой. Кругом костра стояли люди в чёрных балахонах с капюшонами. Лица всех были обращены к огню. Несколько человек держали в руках факелы. Слышны были голоса, но слов я не мог разобрать — говорили довольно тихо.

В стороне от всей этой компании я заметил на земле чёрный куб. Скорее всего, это была большая коробка, покрытая тёмной тканью. На

коробке лежали какие-то вещи, но слабый свет позволял различить только потир и череп. От костра в нашу сторону направился человек и, остановившись у коробки, сделал нам знак, чтобы мы подошли к нему. Когда мы приблизились, он передал нам два балахона и снова сделал знак, приглашая следовать за собой. Натянув на себя балахоны, мы поспешили за нашим провожатым к костру. Нам дали место, и мы оказались в круге. Всё происходило в молчании, только костёр потрескивал да пощёлкивал. И потому, когда вдруг раздался знакомый голос Инквизитора, я поневоле вздрогнул.

— Братья! — сказал он, и я понял, что слова его обращены к нам. — Вы были приняты в братство, но не были испытаны в верности братству. Сегодня великий праздник, и вам выпала честь доказать свою преданность именно в этот благословенный день. Вы клялись повиноваться братству. Вы клялись не отказываться от исполнения приказаний. Вы клялись топтать ногами все предрассудки. Вы клялись неустанно работать ради освобождения и нести свободу другим. Так поклянитесь же исполнить свою клятву! Докажите, что вы достойны выбора, который пал на вас!..

Я вдруг поймал себя на том, что, вглядываясь поочерёдно в фигуры и лица «братьев», изо всех сил стараюсь узнать Липисинову.

— Жизнь человеческая, — продолжал тем временем Инквизитор, — полна заблуждений. Люди готовы обоготворять друг друга только из чувства признательности, забывая разум и логику. Но, предаваясь чувствам, люди теряют свободу. Братство наше, призванное на борьбу с рабством, несёт свет человечеству. Мы будем бороться с рабством словом и мечом, пока не исчезнет последний из рабов! Поклянёмся же, братья, вести людей к счастью и уничтожить всех, кто встанет на этом пути!

— Клянёмся! — подхватили кругом.

— Клянёмся! — услышал я голос Макса.

— Клянёмся! — присоединился и я к хору.

Откуда-то сам собой взялся потир и пошёл по кругу. Рук не резали, и я не знаю, была ли кровь. Было сладкое, пьянящее с первых же глотков вино. И когда потир, обойдя круг, исчез так же таинственно, как и появился; когда Инквизитор, обращаясь к нам, спросил, готовы ли мы «ради уничтожения невежества и рабства прямо сейчас совершить акт правосудия», я уже чувствовал готовность совершать любые, самые дерзкие акты. Я чувствовал какое-то необыкновенное воодушевление, дикий восторг вперемешку со злобой. «Канкан» заиграл у меня в голове. Сначала тихо и медленно, потом всё громче и быстрее; кружась и, как воронка, затягивая меня в своё необузданное веселье.

В круг вошёл человек. Оказавшись возле меня, он вытянул вперёд руки. И я увидел, что на ладонях у него плашмя лежит огромный кухонный нож с чёрной ручкой и клеймом на лезвии. Этот нож рассмешил меня: дома, на кухне у нас был точно такой же китайский нож — на клейме красовалось гордое *made in China*. Мама рубила капусту таким ножом.

Дурацкое совпадение привело меня в восторг. Я потянулся к ножу, но тут новое сходство поразило меня. Что-то знакомое было во всей этой фигуре. И эти малиновые губы, и эти щуплые ручки, сжавшиеся в кулачки, едва только я принял нож. Ах! Ну, конечно... Он ухмыльнулся и исчез в темноте. В круг вошли новые люди. Их было двое. Они держали за углы чёрный полиэтиленовый мешок, чем-то набитый и тяжёлый. Бросив мешок мне под ноги, они отступили.

— Брат! — объявил Инквизитор. — Ты клялся в верности и послушании братству! Ты клялся мстить! Представь, что перед тобой изменник! Подними меч и трижды порazi им отступника! Смерть ему!..

И вокруг все затвердили:

— Смерть ему!..

— Смерть ему!..

— Смерть ему!..

— Смерть ему!..

Клянусь, я был уверен, что мешок набит каким-нибудь тряпьем. Мне даже показалось забавным наброситься на этот куль и с рыком, со скрежетом зубовным колоть его, колоть, колоть...

Вдруг у меня на глазах куль шевельнулся. Сначала я подумал, что мне это померещилось. Но словно специально, чтобы развеять все сомнения, куль шевельнулся ещё раз.

— Что это? — прошептал я.

Но меня никто не услышал. Я присел на корточки и потрогал пакет рукой. От моего прикосновения куль снова зашевелился. Я отёрнул руку.

— Что это? — повторил я.

Но вместо ответа я услышал рядом с собой шёпот.

— Ну, чего ты ждёшь?

Я обернулся. Слева, почти вплотную ко мне, сидел на корточках воровато съёжившийся человек в чёрном балахоне. Но я сразу узнал его: это был Вилен.

— Чего ты ждёшь? — повторил он. — Они же тебя испытывают, так докажи им... Ударь, чего ты?

— Что это? — спросил я у него.

— Да какая тебе разница! Просто мешок с дерьмом!.. — он противенько захихикал. Ты же свободный человек!.. Вспомни... Ну ты же сам говорил!..

Мне страшно признаваться в этом, но я колебался.

— Ну, чего ты? — подначивал меня Вилен. — Ударь, посмотрим, что будет... Только разок... В конце концов, лица твоего никто не видел... Ну не закона же ты боишься!..

— Что это? — закричал я и вскочил на ноги.

Все, кто твердили «смерть ему», один за другим умолкли.

— Ты клялся беспрекословно повиноваться и выполнять... — начал было Инквизитор, вдруг отвратительный визг прервал его. И в следующее мгновение Макс, сорвавшись с места, опрометью, не разбирая дороги, бросился к лесу. Я отступил на шаг, потом отшвырнул от себя нож и кинулся за Максом. Упав и ударившись обо что-то твёрдое, нож звонко и равнодушно брякнул.

* * *

Не знаю, была ли за нами погоня, но пока мы неслись через лес, ломая кусты, спотыкаясь о корни и валежник, мне всё слышался за спиной не то свист, не то хохот. Мне казалось, что остановись я только на секунду или оглянись назад, как случится нечто непоправимое. И я терпеливо сносил все пощёчины и заушенья от леса и, цепляясь за Макса, продирался вперёд.

До сих пор я содрогаюсь, вспоминая дорогу домой. На платформе выяснилось, что последняя электричка уже два часа как ушла в Москву. А ведь раньше нам даже в голову не пришло справиться о расписании! Теперь же оставалось ждать до утра на перроне. Или, в надежде поймать хоть какую-нибудь машину, отправляться на поиски трассы. Но, во-первых, мы были напуганы и ждали погони. А во-вторых, мы совершенно не знали местности. И вопрос о том, как нам разыскать шоссе, был равнозначен вопросу о массе солнца или удельном весе плутония.

Мысль провести ночь на платформе приводила нас в ужас. Макс объявил, что самоубийцей никогда не был и быть не собирается. И ждать, когда его посадят в такой же чёрный полиэтиленовый мешок, он не намерен.

— Ты хоть понимаешь, во что мы влипли? — шептал он, стаскивая с себя балахон. — Ты понимаешь, куда мы влезли?

— Ты хочешь сказать, куда *ты* меня втянул? — не удержался я.

— Ну откуда я знал! Я же не собирался... мокрушничать.

— Да? А что ты собирался, когда в мasonry шёл?

— Ну не мокрушничать же!.. И потом... чего ты на меня пальцем тычешь? Я что ли предлагал попрасть законы? А?..

— Чего ты несёшь?!

— Я преступлений совершать не призывал. Это ты всё... со своей долбаной теорией...

— Чего ты несёшь?!

— «Надо совершить преступление или признать, что свобода это миф!..» Философ...

— Да-а-а?! Так это я виноват?.. А я-то думал, это ты... со своими... долбаными тусовками!.. «Мы скажем, что ты гигант мысли!..» А теперь ищет крайнего... Потаскун...

— Хо-хо-хо! На себя посмотри!..

Кругом было тихо. Деревья замерли в строгом молчании. Луна стыдливо выглядывала из-за леса, разливаясь белым отблеском по рельсам. А мы кричали и размахивали руками. Вдруг кто-то чихнул рядом. А вслед за тем послышалось глухое, неразборчивое ворчание.

— Это они! — зашипел Макс и стрельнул за кассу.

Высовываясь осторожно из-за кассы, я пытался разглядеть фигуру, устроившуюся на скамейке и в данный момент занявшуюся каким-то свёртком. Свёрток, кажется, не хотел разворачиваться. Фигура досадовала и ворчала.

— Да это бомж какой-то... — предположил я.

— Бомж, не бомж... Мы их лиц не видели! — шептал Макс.

— Ну и они наших не видели...

— А кому здесь быть, кроме нас?! Потом их много, и неизвестно, какие они бывают. А нас двое... Нас всегда двое... Кстати, кое-кто наши лица знает...

— Ну и что теперь делать?

— Пешком пойдём...

Я фыркнул.

— Куда? К стрелочнику в гости?

— В Москву, в Москву!.. Так по рельсам и пойдём...

— Что, до Москвы?!

— Иди до Москвы, если хочешь... А я лично поеду на первой же электричке. На следующей станции сяду и поеду.

Сначала я решил, что Макс шутит. Но он и не думал смеяться.

— Если у тебя есть другие предложения, — объявил он, — я готов их выслушать.

У меня не было других предложений...

До ближайшей станции мы добрались через два часа. Путешествие не показалось нам утомительным. Мы отдохнули и, вообразив, что очень скоро нас ожидает новый отдых, а может быть, даже электричка, поплелись дальше. Но как мы ошиблись! Следующий перегон растянулся на два десятка километров. Мы брели просекой вдоль путей. Было холодно и темно, стал накрапывать дождь. И мне казалось, что мы одни в целом свете и кем-то обречены на вечное скитание. Поезда пролетали мимо нас янтарными нитками. Вот наконец с визгом пронеслась и первая электричка. Потом вторая, третья... А мы всё брели и брели. А станция всё не показывалась и не показывалась... И не было конца этой чёртовой просеке!..

Когда мы усаживались в электричку в Сергиевом Посаде, был уже седьмой час в начале. Мы были изнеможены. Едва только мы опустились на лавку, как тотчас забылись сном. А в следующее мгновение, как мне показалось, кто-то уже тряс меня за плечо и кричал в самое ухо:

— ...Да вставайте вы... Что ж такое?.. Приехали!.. Москва!.. Пьяные, что ли?.. Москва! Мос-ква!..

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

.....

Не могу отказать себе в удовольствии произвести эффект на читателя. Одиннадцатое апреля. В этот день минула неделя моего отшельничества в Вайермосо, деревушке в северной части Гомеры, острова Канарского архипелага. Как я оказался здесь — чуть позже. Сначала несколько слов о Вайермосо.

В Вайермосо почти всегда пасмурные дни и ослепительно-звёздные ночи. Вайермосо — это горы. Не суровые островерхие скалы, но похожие на смятое одеяло, добродушные, бурые горы. Вайермосо — это охристые, укрепленные камнем террасы, это изумрудные островки пальм, это прилепившиеся к горам домики, напоминающие белые коробки. Вайермосо — это марево, неизвестно откуда берущееся, каждое утро неуклюже поднимающееся и застревающее в горах.

Я живу совершенно один в белом домике с плоской черепичной крышей. Жилищу моему полтора года. Когда-то здесь жила одинокая швея, и на втором этаже стоит чёрная швейная машинка с колесом на боку. Хозяйка давно истлела в земле. А орудие, которым она добывала хлеб свой насущный, по сей день стоит памятником в ставшем чужим доме.

Днём я обыкновенно брожу в окрестностях Вайермосо с этюдником или отправляюсь на юг острова. Там солнце, там чудные пляжи, там туристочки в бикини.

Этюдник пусть никого не удивляет. С некоторых пор я почти не расстаюсь с ним. Но об этом тоже потом.

Здесь на острове я научился жить сегодняшним днём. Я не люблю вспоминать прошлое и не хочу загадывать о будущем. Я никому не завидую и не пекусь ни о чём. Жизнь моя спокойна и безмятежна. Единственное моё желание — сделаться хорошим художником. Для чего я отправляюсь на пленэр или, случается, корплю дома над «мёртвой натурой».

Единственный вопрос, который иногда тревожит меня, это: зачем я здесь, на Гомере? Я задаюсь им вечерами, когда рассеиваются облака и пронзительно-синее небо обнажается предо мной, точно красавица, скинувшая грубые одежды. Этот цвет, эта синева волнует меня. Я начинаю тосковать и ждать чего-то. В то же время меня охватывает неизъяснимый восторг. И кажется, что ещё немного и приоткроются великие тайны. Точно душа моя вдруг освободится от тумана и устремится вверх. Туда, в эту пронзительную синеву! Чтобы раствориться в ней, чтобы слиться с кем-то неведомым, но зовущим меня к себе!..

А иногда, особенно в ветреную погоду, я извожу себя дурацкой фантазией. Что если сейчас, сквозь шум ветра, я услышу стук швейной машинки?..

От этих мыслей мне делается жутко. И тогда я пытаюсь отвлечься: напеваю какую-нибудь русскую песню и думаю, что, должно быть, русский язык впервые звучит в этом доме.

Но проходит ночь, и наутро я снова спокоен. И снова отправляюсь бродить со своим этюдником. И это занимает меня больше всего. Ведь я обещал местному пастору две картины для церкви. Потом заказ от одного бара на площади — что-нибудь типично гомерианское. А, кроме того, мой новый приятель Хуан ждёт от меня несколько пейзажей. И я рад, что могу быть полезным добрым гомерианцам...

Впрочем, довольно. К Гомере я вернусь ещё. А пока накопилось слишком много вопросов.

* * *

Спустя две недели после событий, описанных мною в конце первой части, в Москве случилась Рэйчел. Появившись у Макса и наткнувшись там на Викторину, Рэйчел удивилась. Точно и мысли не допускала, что рано или поздно нечто подобное должно было произойти. Макс рассказывал, что Виктория, сообразив, кто такая Рэйчел, засуетилась вокруг неё и усадила обедать. Рэйчел выкушала шей, потом куриную котлетку с гречневой кашей, потом чаю с молоком. И, расточая улыбки, рассыпалась перед Викторией в самых изысканных благодарностях. Виктория пришла от Рэйчел в восторг и напоследок расцеловала её на европейский манер. Макс вдохновенно изображал потом, как Рэйчел и Виктория, грациозно изогнувшись, прижимались друг к другу то правыми, то левыми щеками, изо всех сил стараясь избежать касания губами.

Как бы то ни было, визит Рэйчел в Москву оказался в ряду обстоятельств, стечение которых и привело к неожиданной развязке.

А началось всё с телефонного звонка. Трубка поздоровалась со мной нежным женским голосом и попросила пригласить Иннокентия.

— Я слушаю, — сказал я.

Трубка замешкалась, но через секунду заговорила вновь, переменяя, однако, и голос, и интонацию. В выражениях самых нелюбезных мне было объявлено, что я — ничтожный клятвopеступник, а клятвopеступление карается ужасной казнью. Что выбор я делал сам, никто не тянул меня в «братство», но, решившись на первый шаг, отступить нельзя, иначе снова ужасная казнь. Что у меня пока есть шанс вернуться и искупить свою вину, что «братство» пока согласно принять меня в своё лоно, но если я буду медлить, ужасная казнь для меня неминуема.

Я так испугался, что и пошевелиться не мог от страха. Но «ужасная казнь», повторённая в третий или четвёртый раз, вывела меня из оцепенения и даже принудила задать уточняющий вопрос. В ответ я услышал поток брани и обещания сделать ужасную казнь как можно более ужасной.

Звонили и Макс. И после звонка Макс почти перестал выходить на улицу. Даже и в Институт боялся ездить. И всё требовал от нашей отличницы, живущей с ним по соседству, заходить за ним по утрам, чтобы отправляться на занятия вместе. «Ну вместе-то веселей!» — объяснял он своё внезапное и настойчивое требование.

А звонки повторялись. И однажды Макс увидел из окна, что возле его подъезда дежурят какие-то незнакомцы в чёрном. Я было посмеялся над его мнительностью, но когда, возвращаясь из Института, увидел и возле своего подъезда таких же субъектов, охота смеяться прошла. Моим появлением они заинтересовались. И неизвестно, чем окончилась бы наша встреча, если бы не возвращавшаяся из магазина пожилая соседка, которой я навязался в помощники.

Проснувшись в одно прекрасное утро, я вдруг понял, что лишился чего-то очень дорогого и важного. Я лишился дара беззаботности, я потерял способность радоваться каждому дню — я боялся.

Боялся «ужасной казни», боялся встречи с «братьями», боялся оказаться в чёрном мешке. И это было ужасно — сознавать себя беспомощным трусом.

А с Максом от страха произошли настоящие перемены. Ни о каких тусовках он и слышать теперь не хотел. Даже и на день своего рождения — 20 ноября — Макс предпочёл не созывать гостей. Явились только я да незваная Рэйчел, которой, как мне показалось, необходимо было заявить о правах женщин или вроде того. С этой

именно целью Рэйчел натужно смеялась, перешёптывалась о чём-то с Викторией и даже взяла меня под руку, давая понять Макс, что женщина она свободная и что ей решительно наплевать на происходящее в его личной жизни. Но Макс не было дела до выкрутасов Рэйчел. Только однажды он поморщился и пробурчал, что дескать «нашла дура время».

А между тем, нужно было что-то решать. Виктория уговаривала Макса ехать с ней в Сочи. Макс пытался уговорить меня ехать вместе с ними. Но дома никто бы не понял и не принял такого моего поступка.

— Да пойми же, — убеждал я Макса, — предки мои никогда этого не поймут! Ну что я им скажу?! Вдруг, среди учебного года — перед сессией, заметьте себе, — срываюсь и еду в Сочи! Зачем? А так... К кому? К подружке Макса. Надолго? Не знаю...

— Ну надо просто чего-нибудь придумать... Наври чего-нибудь...

— Ага... Просто... Очень просто... Надо либо рассказать всю правду, а я этого делать не буду, либо... ну, я не знаю... заболеть или... жениться...

— А ты и заболей, и женись! — обрадовался Макс.

— Чем и на ком?

— На мне... — встряла вдруг Рэйчел.

— Ну-у... С такой невестой и заболеть тебе недолго, — заметил Макс.

— Oh, please! — точно не понимая слов Макса, жеманно протянула Рэйчел и повисла на моей руке. — Please, marry me, darling!⁵

Эта выходка Рэйчел развеселила Викторю. И она зашлась своим громыхающим смехом, от которого я неизменно всякий раз вздрагивал.

— Как-нибудь в другой раз, Рэйчел. Ладно? — ответил я, высвобождая руку.

— Ничего смешного! — цыкнул Макс на Викторю.

Наши дамы нас раздражали.

— I don't joke! — простонала в ответ Рэйчел и сложила личико в озабоченную гримаску. — I just wanna to help you!⁶

Виктория, не понимавшая, что происходит, но, очевидно, предчувствовавшая интересную развязку, так и окаменела, так и впиалась глазами в Рэйчел.

⁵ О, пожалуйста! Пожалуйста, женись на мне, милый! (англ.)

⁶ Я не шучу! Я просто хочу помочь тебе! (англ.)

* * *

До сих пор не знаю, когда она успела сочинить это. Пришла ли к Макс с готовой идеей или вдруг выдумала...

Рэйчел предложила мне уехать с ней в Лондон.

Да, мы поженимся. Нет, она не то, что любит меня, но, пожалуй, она в меня влюблена. Boyfriend'a у неё всё равно сейчас нет, а вот какого-то там экзотического белья она накупила. И почему бы нам не пожить вместе, тем более что она давно уже намеревалась больше помогать людям. А выйдя за меня, она убьёт двух птиц одним камнем — и boyfriend'ом обзаведётся, и доброе дело сделает. Ведь в Англии я смогу чувствовать себя в полной безопасности. А через несколько лет брака получу гражданство, и тогда уж никто не запретит мне остаться навсегда в свободной стране. И если к тому времени мы захотим расстаться, что ж, разведёмся. Все условия совместной жизни мы зафиксируем в брачном контракте. Так теперь делают во всём цивилизованном мире! А в нашем-то случае и подавно нужны гарантии...

В отличие от Макса я бы ни за что не помчался на край света из одной только призрачной надежды или мечты. Хотя бы и обстоятельства поджимали. Напротив, я дал себе слово не мечтать. Соблазна в предложении Рэйчел было довольно. Однако в серьёзность этого предложения я не мог поверить. «Одна только ревнивая выходка!» — думал я. И неизменно уносился в фантазиях так далеко, что, опомнившись, всякий раз досадовал на самоё себя. Раз даже я вообразил, что стану когда-нибудь премьер-министром Великобритании. «А что? — рассуждал я. — Вступлю в правящую партию, зарекомендую себя... главное — выступать с инициативами... ну... глядишь, и выберут».

А между тем, прошла всего лишь неделя со дня рождения Макса, и Рэйчел появилась у меня с чемоданом. Ещё примерно через неделю она получила из Лондона какие-то документы. Вскоре после Нового года мы уехали в Лондон.

Всё, что происходило со мной в то время — академический отпуск в Институте, звонки «братьев» — всё отошло на второй план. Голова моя была занята женитьбой.

Женитьба казалась мне то невероятным везением, то чем-то неопределённым и пугающим. Я ловил на себе тоскливые взгляды Макса, но гнать Рэйчел не спешил. Иногда я украдкой рассматривал её спутанные волосы и неприязненно думал: «Вот лахудра-то!..»

Я не сомневался, что, став гражданином Великобритании, непременно разведусь с Рэйчел. И вот тогда-то уж я отыграюсь на ней за то, что, пользуясь моим положением, она заставила меня стать альфонсом и радоваться этой чёртовой Англии как подачке! Конечно, никто не принуждал меня ни эмигрировать, ни жениться. Но ведь там была свобода, о которой я грезил. Там была... заграда!..

Ну не мог я тогда отказаться! И в слабости своей снова винил Рэйчел...

Родителей внезапная и поспешная моя женитьба озадачила чрезвычайно. К Рэйчел они отнеслись сдержанно и настороженно. Недоброжелательства не выказывали, но я был уверен: Рэйчел им неприятна.

До последней минуты не хотели они верить, что я оставлю их. Но я решил, что когда-нибудь это всё равно случится — не век же мне подле них сидеть! А потому не стоит руководиться жалостью.

— Может быть, ты и прав, — то и дело грустно говорила мама. — Там тебе, наверное, будет лучше. У нас на работе тоже все говорят, что надо уезжать за границу... Конечно, у кого есть возможность... Вот Марья Борисовна... Немчик... в Германию к дочери собирается...

Но отец не мог согласиться с такой постановкой вопроса.

— Не будет ему там лучше. Не обольщайся, — огрызнулся он на маму. — Не нужен он там никому.

— А здесь ему что делать? Без зарплаты, что ли, сидеть?

— И без зарплаты пускай посидит! — взвизвал отец. — Вся страна сидит без зарплаты, и он пусть посидит... Страну свою, как и отца с матерью, не только сильной да богатой любят! Но и поверженной!.. А иначе это хамством зовётся!..

— Угу... Москва — Третий Рим, а Четвёртому не бывать. Аминь!.. Атавизм какой-то! — фырчал я.

— Атавизм? Это Родину любить — атавизм?!

— Да всё это!.. Сиди... жди... Землю вращают авантюристы и первопроходцы! А ты мне сказки какие-то...

— А ты слабак! — патетически воскликнул отец. — Хочешь всего и сразу!

— Ну и в чём же слабость?

— Ты не способен отдавать! Ты не способен бороться и делать над собой усилия! Ты за лёгкие блага готов подхватить любую небыльщину про самого же себя!.. И откуда... откуда столько ненависти, столько гадливости к своему, к родному — к самому же себе!.. Русско-го интеллигента всегда отличала совесть...

— Совесть, — выходил я из терпения, — это тонкое извращение...

— Дурак ты, братец, — заключал отец и успокаивался. — Слабак и дурак. Смотри только... За безделушки дорогую цену платишь...

— Значит, всё-таки уезжаешь! — грустно подытожил отец в аэропорту.

— Да ладно, пап! — улыбнулся я. — Ну не навсегда же!

— Забугорный! — с напускной важностью сказал отец, смерив меня взглядом.

Это нелепое словечко произвело во мне странное действие. Расстроженный, с неизвестно откуда взявшимися морщинами в глазах, я принуждён был сделать вид, будто вдруг вспомнил о чём-то важном и, наклонив низко голову, принялся судорожно перебирать вещи в дорожной сумке. Но отец, отыскивая по карманам платок, и сам отвернулся.

Мама и не думала скрывать слёз. Как-то приниженно заглядывая Рэйчел в лицо, она в который раз повторяла одно и то же:

— Ты уж его береги там, Рэйчел. Чтобы он кушал...

На что Рэйчел неизменно отвечала:

— O'key!

* * *

Серый Лондон, ошетилившийся башнями, шпилями и трубами, произвёл на меня грандиозное впечатление. У каждого города, по-моему, есть свой характер. Встречаются добрые, простоватые городки — таких особенно много в русской провинции. Впрочем, там же вы найдёте города озлобленные и опустившиеся. Бывают города легкомысленные и точно подвыпившие. Бывают нарядные и весёлые. Бывают мрачные и деловитые.

Мне показалось, что Лондон — город коварный, город насмешливый, город порочный. Но порок этот не явный. За толщей серого камня тлеет бесовский уголёк, и кто знает, разгорится ли он пожаром...

Но всё это, конечно, фантазии. А на деле, сколько силы, сколько благообразия являет этот город! Город основательный, город, не терпящий возражений.

Ура! Или, как здесь говорят: Вау! Да здравствует Британия! Эта чистота кругом, этот комфорт повсюду, эта эстетика жизни, этот стиль — невозможно, раз увидев, не поклониться и не признать превосходства.

В Москве мне выдали визу сроком на полгода. За это время мы с Рэйчел должны были пожениться, после чего я смог бы работать и ходатайствовать о какой-то особенной марьяжной визе. Но я прожил в Англии всего лишь три месяца. После чего оказался на Гомере. Как и почему это было, я и собираюсь рассказать, предложив вниманию читателей свой дневник.

Признаться, я всегда считал дневник несовершенной литературной формой, вопиющей о писательской слабости. Чего уж проще? Ставь даты да вписывай события. Но сейчас я понимаю: дневник интересен причастностью. Дневник — живое свидетельство, фиксация первых впечатлений, незамутнённых ни временем, ни собственными мудрованиями.

А потому позвольте предложить

Дневник Иннокентия Феотихтова.

10.01.95

Моему другу Максиму посвящается сие, написанное без прикрас, ибо не гнался за словом, а возжелал правдиво сказать всё, что хотел и как мог.

11.01.95, среда

Перечитал написанное вчера «посвящение» и залился краской. Неизвестно, с чего бы это я так зарисовался.

Хотя... Всё ещё не могу поверить, что я лондонец. Каждую секунду наслаждаюсь Европой. Спускаюсь завтракать в кафе и уже приобрёл свои привычки. Каждое утро заказываю черничные оладьи с кленовым сиропом или лазанью. И то, и другое — дрянь. Особенно лазанья. Но я получаю удовольствие не от пищи, а от обстановки, в которой её поглощаю. Завтрак в кафе, лазанья — это вам не кусок варёной колбасы с кружкой растворимого кофе на тесной кухне.

Иногда, чтобы побаловать себя, заказываю сосиски или яичницу. Потом кофе «Латте» и шоколадный круассан. Чувствую себя буржуа.

Интересно, бывал ли Макс в этом кафе? Надо будет спросить его, а заодно зачитать моё «посвящение». Позавчера он звонил и сообщил приятную новость: «братья», кажется, оставили его в покое. Во всяком случае, в новом году никто из них не напоминал о себе.

Наверное, вся эта история с масонами нужна была для того, чтобы в один прекрасный день я заделался европейцем. Ха-ха-ха!!! Вау!!! Йес!!!

За Макса теперь я совершенно спокоен. И дело даже не в «братях». Просто Виктория уехала в Сочи и ждёт там Макса. А Макс, похоже, не торопится следовать за ней. Рассказывал мне о какой-то официанточке из бара на Земляном валу. Уверял, что «это нимфа из огня и робости». Не очень понятно, но зато, пока она ходила перед Максом со своими подносами, он «впервые влюбился по-настоящему». Обещал нарисовать её в письме. Что ж, посмотрим на эту нимфу.

А моя нимфа готовится к свадьбе. Решено, что мы будем венчаться. Говорят, здесь венчают всех и со всеми. Так что недоразумений по поводу моего православного крещения быть не должно. После венчания в Лондоне мы отправимся в загородный дом родителей Рэйчел. Свадьба будет довольно скромной, но, вероятно, с прессой. Какие-то дружки Рэйчел сделают репортаж о бедном русском. Бедный русский — это я. Хи-хи-хи!

Меня просят подготовить небольшой speech о правах человека в России и о том, какие надежды я возлагаю на переезд в Великобританию. «Жаль, что ты не чеченец», — сказал Тим, журналист, который будет меня интервьюировать. Кажется, гей...

А пока наша квартира в районе Chelsea уже завалена журналами мод для новобрачных. Я говорю «наша», так как вполне обжился у Рэйчел.

Отличный райончик, между прочим. Почти под окнами у нас протекает Темза. Кругом полно всевозможных магазинов, лавок и ресторанов. Публика здесь роскошная и ленивая: на соседней улице два каких-то немолодых джентльмена каждый день играют в шахматы прямо на открытом воздухе.

Квартира у Рэйчел не слишком большая, но после нашей московской она кажется мне дворцом. Войдя в квартиру и поднявшись по маленькой лесенке, оказываешься в передней. Дальше кухня, гостиная с камином и спальня. Из гостиной в кабинет тоже ведёт лесенка. Рядом с кабинетом — ванная комната с окном, выходящим на какие-то крыши.

Наверное, все эти лесенки и окошки и создают неповторимый английский уют.

Спальня тоже в английском вкусе. Покрывало, занавески, абажуры ламп устроены из белой в голубые цветочки ткани. Даже стены обтянуты всё тем же весёленьким ситчиком. По-моему, очень мило.

Вчера Рэйчел призналась мне, что ровно семь недель до меня у неё не было секса. Немного странное заявление. Во-первых, пришло же в голову подсчитывать! Во-вторых, чувствую себя сексуальным рабом, вывезенным из колонии для утех, что, впрочем,

приятно. Собственно, странность только в формулировке. Она не говорит: «Как давно я не чувствовала себя желанной и любимой!» Или что-нибудь в этом роде.

Ведь можно сказать: «Жрать хочу!». А можно: «Хорошо бы перекусить!». Словесные предпочтения характеризуют горящего...

И всё-таки она милая, моя Рэйчел. Так хлопочет... Временами мне кажется, что я люблю её.

Пожалуй.

Совсем немного.

Можно дать себе задание: полюбить её к свадьбе. Интересно, получится?

17.01.95, вторник

Сегодня знаменательный день. Побывали с Рэйчел у нотариуса. Составили и подписали брачный договор. Правда, в силу он вступит только после свадьбы. Но зато уже сейчас для меня многое прояснилось.

Итак, совместно нажитое нами в браке имущество оказывается в совместной собственности. Имущество, нажитое до брака, не является совместной собственностью. До момента заключения брака я не имею права работать по найму, в связи с чем Рэйчел обязуется оказывать мне по необходимости финансовую поддержку. Эти затраты я должен буду компенсировать после того, как найду работу.

Жильё оплачивается нами совместно. И я обязуюсь покрыть половину коммунальных расходов Рэйчел за весь период проживания в её квартире.

Каждый из нас может беспрепятственно ночевать вне брачного ложа. Претензии друг к другу в данном случае не допускаются. То же и относительно отпуска. Мы вольны проводить его отдельно, в любое время года и в любой точке земного шара, в том числе и в частных владениях, принадлежащих семье Рэйчел.

Расторжение нашего брака возможно только по взаимному согласию или же в особых случаях. Например, в случае жестокого обращения или умышленного нанесения материального ущерба.

Итак, 1) больше никаких завтраков в кафе; 2) в ближайшее время пытаюсь найти какую-нибудь нелегальную работёнку; 3) сухой корм «Muesli» — вот лучший завтрак для бедного иммигранта!

Чёрт побери! Только за завтраки я должен Рэйчел около ста фунтов! Остаётся надеяться, что я не окажусь в долговой яме.

Родители дали мне с собой пятьсот долларов. Тётя Галя — мамина сестра, бабушка и Макс подарили каждый по сто. Сто пятьдесят у меня было своих. Пятьдесят долларов я просадил где-то

в дороге. Таким образом, я прибыл в Британию с девятьюстами долларами в кармане. Сто долларов я потратил уже в Лондоне. Итого осталось восемьсот. Это что-то около пятисот фунтов. Немного. Но если с экономией, какое-то время я протяну без рэйчеловых дотаций.

Надеюсь найти работу и до марьяжной визы. В любом случае Рэйчел обещала устроить меня мойщиком посуды. В тот самый ресторанчик, где когда-то трудился Макс. Но, признаться, меньше всего на свете я желал бы стать мойщиком посуды. Уж лучше побираться или петь на улице.

Впрочем, здесь в Британии всё для меня ново, а потому интересно. Я кажусь себе гостем, которого развлекают хозяева.

После нотариуса обедали с Рэйчел в районе Holborn. Во время обеда произошёл один довольно любопытный эпизод.

Уже за кофе я увидел на улице двух девчонок, лет, может быть, двадцати-двадцати двух. Очевидно, они возвращались из похода по магазинам — в руках обе держали огромное число пакетов и пакетиков. Между собой они о чём-то разговаривали. Время от времени они останавливались прямо посреди улицы и, корчась, заходились смехом.

Несмотря на январь, пусть даже плюсовой лондонский, одежды они были в самые модные летние платья: длинные, с глубокими вырезами и пуговицами по всей длине. Теперь в большой моде малюсенькие косынки, плотно обхватывающие шею и завязанные где-нибудь сбоку кокетливыми узелками. У девиц от смеха узелки сбились назад и глядели нелепо. Поверх платьев на обеих были кожаные куртки нараспашку. Почему-то, несмотря на все их модные ухищрения, я сразу решил, что это не англичанки.

Наконец они приблизились к стеклянной двери нашего кафе. Одна из них уже приоткрыла дверь, как вдруг новый приступ смеха остановил их, и они замешкались на пороге. В кафе ворвались визгливые нотки девичьего хохота. Потом, не сговариваясь, они умолкли и чинно, цугом вошли в кафе.

Но, усевшись за соседний с нашим столик и разложив вокруг себя свои пакеты, они снова зафыркали и затряслись от смеха. К ним подошла официантка, и девчонки, точно опомнившись, принялись приводить себя в порядок. Пригладили торопливо волосы, поправили косынки. Как только официантка, принявшая у них заказ, отошла от столика, покрасили зачем-то губы.

Им принесли пирог, мороженое, кофе. И, приступив к трапезе, они разговорились.

— Ты видела? — громким шёпотом спросила одна по-русски.

Я вздрогнул, напрягся и стал прислушиваться.

— Ты видела? У неё в паспорте три шестёрки. Я ей говорю: «Нина Михайловна, у вас в паспорте три шестёрки». А она: «Ой, так вот почему у меня отдых всё не залаживается!».

Они снова засмеялись.

— А ты видела, как она испугалась? — спросила вторая.

— А то! Ха-ха-ха!..

— А давай ей по почте три шестёрки пошлём!

— Ха-ха-ха!.. Давай наберём на компьютере... покрупнее! А внизу напишем: «HELL».

— Что это?

— Ад!

— Ха-ха-ха!..

— Представь, получает такая Нина Михайловна письмо. Открывает, а там «666» и «hell». Она сразу у своего Ванечки... у неё Ванечка такой умный, английский язык учит... «Что это, Ваня?». А Ванечка: «Это ад, мама!».

И они снова скорчились и застонали от смеха.

— Это ад, мама! — повторяли они снова и снова и хохотали как безумные.

Две пожилые англичанки за столиком напротив с умилением и любопытством поглядывали на них и о чём-то тихонько переговаривались.

Вдруг стеклянная дверь распахнулась, и в кафе ворвалась дама, обвешанная такими же пакетиками, как у девчонок. Остановившись на входе, дама испуганно огляделась и, заметив двух хохотушек, широким, решительным шагом направилась к ним.

На вид ей было лет что-то около пятидесяти. По лицу её скользили сразу несколько выражений: от испуга и растерянности до строгости и высокомерия. Казалось, она никак не могла решить, как же ей вести себя.

Одета она была неброско и недорого, но подчёркнуто аккуратно. Аккуратными были её стрижка и макияж, словно она только что вышла из салона красоты.

Избыточная аккуратность выдавала непривычку. Было видно, что дама очень старалась выглядеть хорошо для какого-то случая.

— Вот они! — зашипела она на девчонок, подскочив к их столу.

Те опешили, но через секунду разразились самым безудержным хохотом.

Старушки напротив тихонько засмеялись. Рэйчел с неудовольствием покосилась на девчонок.

— Они русские? — спросила она меня.

Я кивнул. Мне не понравилось, что она спрашивает об этом.

— Их целый автобус ждёт, а они кофею кушают!.. — шипела дама. — Ну-ка быстро!

Она всплеснула руками, и пакеты все разом загремели, зашестели и зазвенели.

Девчонки расплатились, подхватили покупки и, переглядываясь и хихикая, устремились за дамой к выходу.

Вскоре и мы вышли на улицу. Я оглянулся. Но ни девчонок, ни дамы не увидел. Мне стало грустно.

Рэйчел повела меня в «Selfridge`s» — огромный магазин на Oxford street. Не сомневаюсь ни секунды, что в её планы входило поразить меня. Конечно, ничего похожего в Москве я не видел. Размеры магазина, занявшего собой целый квартал, количество и качество товаров, рассортированных по цветам и материалам — всё это впечатляло. Одних чемоданов здесь, наверное, целый этаж. Но назло Рэйчел я решил не выказывать восторгов. К тому же, с её стороны было бестактным приводить меня сюда — что мне здесь делать с моими пятью сотнями?

Я привёз с собой чёрный костюм. По-моему, он вполне годится для венчания. А если Рэйчел он чем-то не нравится, пусть одевает меня за свой счёт. Но пусть не пытается списать на меня свои расходы! Мне лично ничего не нужно.

Через две минуты у меня зарябило в глазах. А через два часа, которые мы провели в магазине, я воображал себя шахтёром, проведшим смену в забое. Или лесорубом, возвращающимся с делянки. Или, на худой конец, грузчиком из мебельного магазина.

Мне кажется, что Рэйчел целый день может щупать, примерять и нюхать. Рэйчел попросту в рабстве у товаропроизводителя. Она страдает от целлюлита, потому что кому-то надо продавать антицеллюлитные кремы. Она мучается из-за волос на ногах, потому что кому-то надо продавать эпиляторы и ужасный воск, который отстаёт от ног вместе с кожей.

К счастью, в пять часов у нас была назначена встреча с её друзьями. И, обвешанные пакетами, как мулы, мы понеслись в бар «Cheshire Cheese» в City.

По дороге Рэйчел взбрело в голову учить меня хорошим манерам, как будто я прибыл из джунглей.

— Запомни, — говорила она, — если кто-нибудь спросит, как тебе нравится Лондон, не нужно подробно рассказывать о своих впечатлениях. Просто скажи: «Oh! Спасибо! Очень нравится!». В прошлый раз Наташа чуть не уснула от твоих рассказов про Baker street.

У этой так называемой Наташи предрасположенность к летаргическому сну. Я просто сказал, что реальная Baker street не имеет ничего общего с киношной.

— А если мне не нравится? — спросил я у Рэйчел.
Но она только хмыкнула и продолжала:
— Когда тебе представляют человека, ты обязательно должен спросить его о чём-то.
— А если мне неинтересно?
— Никто и не говорит, что тебе должно быть интересно. Ты должен спросить из вежливости. Понятно?
— Понятно.
— И не разговаривай подолгу с одним человеком. Нужно общаться со всеми. Если разговор затянулся, просто скажи: «Приятно было побеседовать с вами». И ещё. В России совершенно не умеют улыбаться. Вы улыбаетесь только когда вам смешно. А вежливый и цивилизованный человек всегда должен улыбаться другим людям.
Я промолчал.
В кафе нас уже поджидали Таня с Диком.
— Oh! — завопила Рэйчел, увидев их.
Потом они расцеловались, и Рэйчел объявила:
— Это мой жених Кен (так теперь меня называют). Он из России... Это Таня. Она психолог, специалист по рекламе.
— Приятно познакомиться с вами, — Таня протянула мне руку.
— Oh! — сказал я. — И что же вы рекламируете?
— Это Дик, — перебила меня Рэйчел — Друг Тани. Он...
Рэйчел замялась, подняла брови, завела глаза и засмеялась. Таня с Диком тоже засмеялись. Засмеялся и я.
— Oh! — продолжала Рэйчел. — Дик... кажется... руководитель отдела продаж!
— Верно! — воскликнул Дик и протянул мне руку. — Как вам нравится Лондон?
— Oh! — улыбнулся я как можно шире и тряхнул поданную руку. — Благодарю вас. Очень нравится. А что же вы продаёте?
— Простите? — удивился Дик.
Таня и Рэйчел уставились на меня.
— Э-э-э... Рэйчел сказала, что вы руководите отделом продаж. Не так ли?
— Oh! Да! — заулыбался Дик.
— Вот я и хотел узнать, что же вы продаёте. Вы понимаете?
— А-а! — Дик рассмеялся. — Ну конечно!..
В это время в кафе прибыла остальная компания. Наша беседа оборвалась. Всё внимание переключилось на вошедших.
Это были Наташа, Тим и Джеффри..
Кстати сказать, Таня и Наташа — вовсе не Татьяна и Наталья. Обе они стопроцентные англичанки. И зовут их именно так: Таня и Наташа. Кажется, это главные подружки Рэйчел.

Таня — хорошенькая пухлявенькая брюнеточка с удивительной белой кожей и синими глазами. Наташа — высокая, сухопарая шатенка. Я подозреваю, что она — радикальная феминистка или что-то вроде этого. Она не пользуется косметикой и, по-моему, никогда не расчёсывается. Одеты она всегда в тёмные джинсы и свитер. Свитеров у неё, по всей вероятности, очень много, но все они почему-то рваные. Таких дамочек я встречал в нашем Институте. Они появились вдруг, неизвестно откуда и расползлись по аудиториям с лекциями по психологии и социологии. Их вид всегда возбуждал во мне желание навести кругом себя порядок. По той же самой причине я стараюсь как можно реже смотреть на Наташу.

Насчёт Тима я несколько не ошибся. Он действительно гей. И Джеффри — его... Не знаю, как это у них называется. Должно быть, любовник. Хотя Рэйчел настаивает на слове «друг». Но с этим я решительно не могу согласиться. Ведь мы с Максом тоже друзья...

Из этой троицы я не знал только Джеффри.
Пока все они целовались и жали друг другу руки, я стоял в стороне и старательно улыбался. Наконец, Рэйчел спохватилась.
— Oh! — обратилась она ко мне. — Это Джеффри... э-э-э... друг Тима. Джеффри художник. У него выставка в White Cube... А это, — она указала на меня, — это мой жених Кен. Он из России...

Похоже, моя национальность становится профессией. Они смотрят на меня как на снежного человека или King Kong'a — с любопытством и страхом. Точно ждут, что вот сейчас я достану из-под пальто топор или взмахну шашкой, или выкину ещё что-нибудь, что по их убеждению является верным признаком варварства.

Не знаю почему, но это раздражает меня. Я даже подумываю о том, чтобы купить топор и ходить с ним по улицам. Буду носить его на плече, а в кафе укладывать на стол или прислонять к стене. Пусть стоит мой топорик, как штык революционного матроса!..

— Oh! — воскликнул я и прижал руки к груди. — Неужели в White Cube?!

Признаться, я понятия тогда не имел, что такое White Cube. Только по дороге домой Рэйчел объяснила мне, что это лондонский выставочный зал.

— Да, — с достоинством ответил Джеффри. — А как вам нравится Лондон?..

19.01.95, четверг

Целых два дня моя нимфа со мной не разговаривала.

— Зачем ты это делал? — спросила она меня, когда мы возвращались из «Cheshire Cheese» во вторник.

— Что? — притворился я.
— Зачем ты задавал все эти вопросы?
— Какие вопросы?
— Зачем ты, например, спросил у Джеффри, какими венерическими болезнями он болел?
— Ты сама сказала, что новых знакомых надо спрашивать.
— Надо задавать приличные вопросы!
— А чем это мой вопрос неприличный? Ты сказала, что он «друг» Тима. Я подумал, что геи часто болеют венерическими болезнями. По-моему, логично.
— Логично, но неприлично!
— А задавать человеку пустые вопросы о том, на что тебе наплевать — это прилично?
— Просто всё дело в том, что ты... э-э-э... ты «валял дурака», — последние слова она сказала по-русски.

Я пожал плечами и замолчал...

К четвергу мне надоело молчать. И я решил как-нибудь задобрить Рэйчел.

Э-эх! Пришлось раскошелиться и набить холодильник продуктами. К тому времени, как Рэйчел вернулась с работы, я приготовил ужин. После ужина мы пили кофе у камина. Потом Рэйчел и со своей стороны продемонстрировала волю к примирению. А потом мы снова расположились у камина, прямо на ковре. Рэйчел принесла две книги — для меня и для себя — и углубилась в чтение.

Мне достался «Dracula. Bram Stoker». На обложке была изображена голая женщина с кровоподтёком на шее, а рядом старик с жёлтыми глазами и длинными белыми клыками.

Я открыл наугад и прочёл: «*My own heart grew cold as ice, and I could hear the gasp of Arthur as we recognized the features of Lucy Westenra. Lucy Westenra, but yet how changed. The sweetness was turned to adamant, heartless cruelty, and the purity voluptuous wantonness*»⁷. Я закрыл и отложил книгу...

Русскими книгами я не успел обзавестись, английских же не люблю. Во-первых, читаю я медленно. Во-вторых, у Рэйчел своеобразная библиотека. Например, я нашёл у неё целую подборку о буддизме...

Гораздо приятнее наблюдать за пламенем, чем читать о проделках графа Дракулы. Огонь мечется и возмущённо шумит, точно ему тесно в камине. Жарко, щёки горят, хочется спать.

— Что ты читаешь? — спросил я у Рэйчел, чтобы развеять сон. Она молча показала мне обложку своей книги. Названия точно не помню, что-то вроде «Решения Далай-ламы — в жизнь!».

— Ну и как? Интересно?

— Конечно.

— Разве ты буддистка?

— Нет, — сказала она, не отрывая глаз от книги. — Но сейчас это очень модно. А потом я хочу найти в буддизме путь жизни.

— Путь жизни? — я почувствовал, что совсем уже не хочу спать.

— Да. Это важно — выработать для себя новые нормы. Кое-что можно взять из буддизма.

— Что значит «новые нормы»?

— Это значит... ну... — она подняла глаза на меня. — Человек, когда перестал быть животным, перестал действовать только под влиянием своих инстинктов... Но с появлением сознания, человек, чтобы выжить, нуждался в системе координат и в объекте поклонения... — казалось, что она выучила наизусть какой-то текст. — Без системы человек не смог бы организовать и связать картину мира, найти своё место в нём, а просто растерялся и не был бы способен... ни к чему... Но для выживания нужна ещё и цель, которая указывала бы куда идти... Для этого нужен объект всеобщего поклонения, то есть Бог... Бог даёт направление. Бог, а точнее религия, провозглашает общепринятые ценности, которым должно следовать большинство... Бог удовлетворяет основную потребность человека в осмыслении своей жизни... Это необходимо для построения нормального гражданского общества... Поэтому, когда отмирают старые религии, появляется необходимость в новых.

— А что ты имеешь в виду: «старые религии»?

— Христианство, например.

— А разве религия может отмереть?

— Ну... она не то, чтобы отмирает, но... э-э-э... она не может оставаться универсальной. Понимаешь?

— Не понимаю. Если люди верят в то, что даёт их религия, они неизбежно признают, что эта религия — не просто свод правил и догм, а Божественное Откровение. А Божественное Откровение не может, как ты говоришь, отмереть или сделаться вдруг *неуниверсальным*. «Неуниверсальное Божественное Откровение»!.. Хм... А если люди не признают религию Божественным откровением, это означает только то, что они ни во что не верят.

— Как ты можешь говорить это, когда ты сам атеист? — возмутилась она. — И потом, Будда, Аллах, Дао, Конфуций, Христос — это всё Бог, только в представлении разных народов он разный!

⁷ «Моё сердце похолодело, а у Артура перехватило дыхание, когда мы увидели Люси Westenra. Люси Westenra, но совершенно переменяющуюся. Былая нежность сменилась бессердечием, чистота — сладострастием». (англ.)

— Ну, насчёт Дао не знаю. А что касается меня, я, между прочим, не атеист. Атеисты — это те, у кого нет веры. А религия здесь ни при чём. Я верю в высший разум. Я верю, что существует... что-то такое. Я просто пока не определился с религией. Но как только я выберу религию, я буду считать, что это Божественное Откровение. И это будет мой путь жизни.

— Я просто хотела сказать, — обиделась Рэйчел, — что... в век плюрализма, то есть, когда все признали, что не бывает одной истины, нужно искать что-то среднее. Ну... выбирать всё лучшее.

— А я просто хотел сказать, что быть неверующим и утверждать, что религии отмирают, это всё равно, что ослепнуть и говорить, что в кино теперь никто не ходит.

Рэйчел вела себя схоже в Москве, когда доказывала нам с Максом, что в России делают шубы из собак и кошек. Она почти плакала, стараясь вернуть себе уверенность, которую мы с Максом невольно пошатнули.

Вот и теперь мне нравилось дразнить Рэйчел, раскачивая подпорки, на которых держались её представления об устройстве мира.

— Вера в Бога, — надменно заявила Рэйчел, — это вера в собственное бессилие; отрицать сверхъестественное — это распинываться в собственной глупости. Придумала не я, но всё стало понятно с прочтением и осознанием этой фразы. И ещё. На сайте Института Открытого Общества ты увидишь такие слова: «Мы все действуем на основе идеи несовершенного понимания», — Рэйчел поднялась с ковра, отложила в сторону книгу и гордо покинула комнату.

— По-твоему выходит, что абсолютно то, что нет ничего абсолютного! — крикнул я ей вслед. — Но если это утверждение абсолютно, значит, оно ложно. А если нет — значит, бессмысленно!

Она ничего не отвечала.

— Подумаешь! Институт Открытого Общества... — снова прокричал я. — Это уж точно не Божественное Откровение!..

20.01.95, пятница

Сегодня занимался бухгалтерией.

Ой-ой-ой! Начинаю паниковать. Денег осталось триста долларов, а работы на горизонте не видно. Рэйчел настаивает, чтобы я шёл мыть посуду. Потом, когда получу марьяжную визу, она обещает подыскать мне что-нибудь поинтереснее. Может быть, выдвинет мою кандидатуру на пост премьер-министра?

Неужели я должен буду мыть посуду?!

Как говорили девчонки из кафе: «Это ад, мама!».

Всю неделю пытался найти работу. Обзвонил десятки компаний, но всякий раз повторялось одно и то же. По акценту во мне узнавали иностранца и вежливо осведомлялись, откуда я. Заслав ответ, заговорщицки спрашивали, есть ли у меня виза и образование. А я всё не мог отделаться от чувства, что собеседников моих интересует, как я попал в Лондон и не связан ли с русской мафией.

Наконец, мне довольно прохладно объясняли, что не нуждаются в моих услугах. И разговор прекращался.

Ничего мне не остаётся, как стряпать ужины для Рэйчел. Может, наняться к ней поваром?

Вечером, когда Рэйчел вернулась с работы, мы снова устроились с ней на ковре у камина. Она с Далай-ламой, я — с Дракулой.

Читать я не стал и, чтобы хоть как-то развлечь себя, решил зарисовать Рэйчел.

Она лежала на правом боку, изогнувшись, как креветка. И поза её просилась на бумагу. Ещё в школе у нас многие заводили «Книги гримас и неестественных поз», куда пером и тушью заносили рисунки всевозможных рож и положений тела. Самым сложным считался автопортрет. Нужно было, расположившись перед зеркалом, соорудить рожу и тут же её зарисовать. Гримасничать не так-то просто: мышцы лица устают довольно быстро, и схватить момент нужно мгновенно, выбирая только самое существенное...

Не поленившись, я принёс с кухни ежедневник, карандаш и принялся за дело.

Сеанс я не закончил: Рэйчел устала читать и, переменив позу, предложила мне выпить чаю на кухне.

— Что ты пишешь? — любопытствовала она, поднимаясь с пола.

Я протянул ей ежедневник.

— Это ты сейчас нарисовал? — удивилась она, разглядывая наброски.

— Нет, с собой привёз, — хмыкнул я, страшно довольный её реакцией.

— Разве ты умеешь рисовать? — Рэйчел пытливо заглянула мне в глаза.

— Ну-у...

— Но ты учился?

— В художественной школе.

— Значит, ты можешь нарисовать любой предмет?.. А портрет? Ты мог бы написать мой портрет? На холсте?

— Но у меня ничего нет для этого!
— А что тебе нужно?
Я подумал немного и выпалил:
— Краски... кисти... холст... подрамник...
Рэйчел записала что-то в ежедневник, и мы отправились на кухню пить чай.

21.01.95, суббота

Сегодня вечером она спросила меня:

— Хочешь, завтра утром пойдём в Kensington Gardens?

22.01.95, воскресенье

— Конечно, в январе здесь совсем не то, что в марте или августе, — вздохнула Рэйчел, как только мы оказались за оградой парка. — Летом здесь загорают и купаются.

— Это и есть Kensington Gardens? — спросил я.

— Нет, — пояснила Рэйчел, — это пока Hyde Park.

— Hyde Park? А где же Kensington Gardens?

— Там, — она кивнула. — За озером Serpentine. В этом озере утопилась беременная жена Перси Шелли...

— Зачем это?..

— А ещё одна девушка встретила здесь призрак, похожий на неё как две капли воды. И через месяц она умерла...

— Почему?

— Не знаю... Раньше где-то здесь была виселица... Там! — она махнула рукой в сторону. — В Лондоне было много виселиц. Раньше убийцу вешали, потом мазали жиром, потом приковывали к виселице. Так его оставляли, пока он не истлевал совсем. А в XIX веке мятежников вешали не до смерти, а когда снимали, то вырывали из ещё живых внутренности и тут же их сжигали, потом отрубали головы и четвертовали.

— А сейчас вы почему так не делаете? — спросил я.

Но Рэйчел только обиженно посмотрела на меня и объявила:

— Британия — цивилизованная страна. У нас нет смертной казни!

Kensington Gardens — чудесное место! Курорт посреди мегаполиса. Как я был благодарен Рэйчел, что она привела меня сюда!

Мы прошли сквозь Hyde Park и Kensington Gardens и оказались на Bayswater road.

Здесь, вдоль ограды Kensington Gardens, расположились художники со своими работами. Целая галерея местных достопримечательностей: Тауэр, Мраморная Арка, памятник принцу Альберту и какие-то неизвестные мне здания, монументы и фонтаны, запе-

чатлённые на бумаге и холсте. Отличительной особенностью лондонского вернисажа являются, пожалуй, изображения курительных трубок и номерных табличек с Baker street.

Каждый из этих шедевров, как и всё в Лондоне, стоит целое состояние. Просто удивительно, что нужно думать о своей работе, чтобы просить за неё такие деньги!

— А ты? Ты можешь *так* рисовать? — спросила Рэйчел.

— Даже Гитлер мог *так* рисовать, — хмыкнул я.

Рэйчел смерила меня взглядом, но ничего не сказала.

По-моему, она намекает, что и мне следует выйти на Bayswater road с кипой курительных трубок.

А что? Пожалуй, это идея. Стоит, например, красиво написать «Baker street, 221b», как можно смело спрашивать у туристов деньги. А главное, я выгодно отличаюсь от автохтонных живописцев. Во-первых, я всё-таки не англичанин и у меня другое видение мира. А во-вторых, пройдёт время, прежде чем местные поймут и скопируют мою манеру в изображении курительных трубок. И, между прочим, есть ещё Джеффри с выставкой в каком-то белом кубе. А это что-нибудь да значит!..

У-у-у...

Может, мне и не быть премьер-министром Великобритании, но потеснить Тёрнера я, пожалуй, готов.

23.01.95, понедельник

Целый день бродил я по городу. Погода скверная. Довольно тепло, но пасмурно и чертовски влажно. Ощущение такое, будто идёт невидимый дождь.

Прав был Макс: серый город. Серый в красных пятнах.

Красные телефонные будки, красные автобусы, красные почтовые ящики... Как холст, забрызганный кровью...

Признаться, Лондон пугает меня. Живя здесь, чувствуешь себя оторванным от всего света. Это ощущение усугубляется погодой. Иногда мне кажется, что Лондон вот-вот растворится в своей мороси и навсегда исчезнет. А я останусь один, на далёком острове, среди холодного моря.

А вечерами город похож на чудовище, ошетилившееся и ревущее, изрыгающее холодное пламя, которое в ясную погоду затмевает звёзды...

И ещё одно навязчивое впечатление. Я одержим каким-то интуитивным чувством, что вся лондонская жизнь пропитана расчётом. Даже благотворительность кажется мне лишь частью грандиозного коммерческого проекта. Чем-то вроде рекламы, перед отдачей требующей серьёзных капиталовложений. Не знаю, откуда у меня

это недоверие? Скорее всего, это проявление рабской психологии. Хотя... Неужели у меня рабская психология? Трудно сказать.

Но я гоною прочь все миражи. Я беспрестанно сравниваю Лондон с Москвой и хочу, чтобы сравнение оказывалось не в пользу Москвы.

Лондонское метро не разочаровывает меня. Напротив, я соглашаюсь с рационализмом и прихожу к выводу, что мрамор и витражи под землёй неуместны.

Картинки откровенного содержания и бесстыдные до наивности листовки в телефонных будках поначалу вызывают во мне недоумение. Но очень скоро я понимаю, что это могут позволить себе только очень свободные люди. И такой свободе нужно ещё учиться.

К нищим, роющимся в мусорных баках, я не испытываю жалости. Первое время я был удивлён, что в благополучном, цивилизованном городе можно стать свидетелем отвратительных, типично московских сцен поедания отбросов. Но потом я порадовался за нищих, для которых весь мусор рассортирован; и вознегодовал вместе с Рэйчел, уверенной, что «они тунеядцы, сидящие на пособиях и препятствующие оживлению экономики Англии».

Я смотрю на специальные ящики для собачьего дерьма в Kensington Gardens и, вспоминая весенний разлив фекалий в Москве, испытываю стыд. Я стыжусь московской слякоти, замечая, что после лондонского дождя на брюках нет ни единого пятнышка. Знаки внимания, которые оказывают здесь инвалидам, также заставляют меня стыдиться. И я с усмешкой думаю, сколько ещё предстоит России учиться такому милосердию.

Я пытаюсь понять себя: зачем мне нужны эти сравнения и почему я так радуюсь московской неразберихе. Чтобы разобраться в себе, нужно только одно: предельная честность с самим собой. Рисоваться недопустимо: истина ускользает от самой маленькой фальши.

Итак, я убежал за границу, как только мне представилась такая возможность.

Я убежал, потому что главной ценностью моего поколения было всё «импортное». Высшим достижением считалась эмиграция. Особенно в капиталистическую страну. Почему? Потому что наше поколение возненавидело хаос и возжаждало свободы.

Свобода! Я непрестанно думаю о ней. Я убежал в свободную страну, но свободы так до сих пор и не изведаль. Я сыт, обут, одет. Я даже развлекаюсь иногда. Вокруг меня чистота и порядок. Но где свобода? А может, и тут принимают за свободу какую-то чепуху, вроде газетной болтовни?

Рэйчел говорит, что для неё свобода — это поступать так, как ей кажется правильным. И здесь тайна! Всё дело именно в том, что считать правильным.

Разве Рэйчел сама придумала права человека, за которые она бьётся на страницах своей газеты? Или «несовершенное понимание» и плюрализм? Значит, то, что она считает правильным, ей кем-то навязано. Она всего лишь беззаветно и безусловно верит в предложенные ценности. И значит, её свобода — это ненастоящая свобода.

Где же тогда искать свободы?

А может, это приходит мне в голову только потому, что у меня рабская психология?

Рассуждения только пугают меня. Гораздо проще сравнивать Москву и Лондон, фальшиво стыдиться за родной город и чувствовать себя причастником цивилизации.

24.01.95, вторник

Сегодня пришло письмо от Макса. Ура! Самое приятное в моей лондонской жизни — это письма из России. И особенно от Макса.

Хотя сегодня я получил лишь первое письмо от него.

Помню, перебирая дедовские письма с фронта, бабушка как-то сказала: «А был бы телефон у него в окопе, с чем бы я сейчас осталась?».

Только живя в Лондоне, начинаю постигать мудрость этих слов. Все письма, а у меня их пять: от мамы, от папы, от двоюродного брата, от тёти Гали и от бабушки, — я храню как самые дорогие сокровища в резной деревянной шкатулке, купленной здесь, в Лондоне, на рынке Portobello.

Сегодня в шкатулку ляжет шестое письмо.

Макс пишет удивительную чушь. Но эта чушь кажется мне сейчас благой вестью.

Он ещё раз в подробностях поведал историю своего знакомства с «нимфой из огня и робости». Нимфу, к слову сказать, зовут Зоей. Макс приложил свой рисунок, на котором Зоя выглядит проглотившей шест.

Так и вижу похотливого Макса, расположившегося у барной стойки с блокнотом, и чахоточного вида Зою, проплывающую мимо с подносом!

Почему-то размер носа Зои, судя по рисунку Макса, совпадает с размером её груди. Одно из двух: либо эта Зоя фантастическая уродина, либо Максу пора заняться фотографией, а не пугать добрых людей своими рисунками.

Дальше следует описание какой-то кокаиновой тусовки и того, как Макс добирался на эту тусовку. «*Была полная луна, — пишет*

он, — *какая-то особенная в ту ночь, особенно красивая и особенно кокетливая со мной: сперва она показалась мне в роли огромного уличного фонаря, ибо висела низко, на прямой, уходящей вдаль улице, точно в центре её. В следующий раз я спустил её с белыми светящимися часами, а истинные часы, стало быть, с ней. Затем в окне как перед зеркалом, она гримасничала со мной; но между тем я видел её и суровой, задумчивой, строгой, с застывшим и всепрощающим взглядом. И это было в те минуты, когда и я был задумчив, и оба мы думали, кажется, о чём-то похожем...*»

Боже мой! Зачем ему кокаин?!

Ещё Макс передаёт мне приветы от Алисы и от Липисиновой.

В первом случае сердце моё сладко заныло, а во втором — тревожно ёкнуло. Ещё недавно, в Москве, я почти гордился связью с Липисиновой. Но сейчас я стараюсь забыть её, напоминовение о ней мне неприятно.

О том, что произошло с нами в Москве, я почти не думаю. Эти события я согласился считать неизбежным злом на пути к свободе.

Заканчивается письмо так: *«Мечтаю повидаться с тобой, скучаю временами, но верю, что у вас благополучие пребывает. Берегите друг друга, ибо не мне судить вас, и повода к суду быть не должно, ибо люблю вас. Максим».*

26.01.95, четверг

Странный день сегодня.

Вечером Рэйчел притащила домой целый ворох кистей — хороших, натуральных кистей; карандашей и красок; альбом для эскизов и два отменных холста; угля, картона, подрамник и даже мольберт. Подрамник, мольберт и кое-какие краски передал для меня Джеффри, всё остальное Рэйчел купила сама.

Потом она сняла со стены свою фотографию, на которой ей лет восемнадцать, и, кокетливо улыбаясь, объявила:

— Mister великий художник, позвольте заказать у вас свой портрет, — с этими словами она присела в реверансе.

— Валий, — сказал я, разглядывая вблизи её фотографию, — заказывай.

— Вот фотография. По правде, я немного изменилась...

Ничего себе «немного»! Худенькое личико, прозрачная русалочья кожа, наивный, удивлённый взгляд, собранные на затылке в хвост русые волосы — ни тебе второго подбородка, ни тебе нечёсаных патл, ни тебе близоруких, нелюбопытных глаз.

У многих я видел такие глаза — близорукие и нелюбопытные. «Смотрю на вас, потому что надо же мне куда-то смотреть!». Навер-

ное, это закономерно. Зачем острое зрение тому, кто дальше себя всё равно не хочет видеть?..

— Я желала бы, Mister великий художник, быть похожей на эту фотографию. Но так, чтобы меня могли узнать мои друзья. Этот портрет будет мне свадебным подарком... Ах, да! — она сделала вид, что спохватилась. — Если Mister великий художник сделает хороший портрет... — здесь она взяла паузу, — думаю... э-э-э... ну... думаю... будут ещё заказы!..

А ночью мне вдруг стало страшно.

Когда Рэйчел, дурачась, называла меня «Mister великий художник», я был в каком-то вдохновении, я действительно ощущал себя великим художником. Подарки, первый в моей жизни заказ и обещание новых заказов, реверансы — всё это пробудило во мне чувство собственной значимости и готовность сию же секунду взяться за портрет хоть королевской семьи. Но прошло время, я остыл и — о, ужас! Что я буду со всем этим делать?!

Несмыываемый позор станет расплатой за моё бахвальство.

Господи! И ведь даже поговорить не с кем!

Делать нечего. Видно придётся завтра графить целлофан и штрих за штрихом переносить лицо Рэйчел с фотографии на холст.

31.01.95, вторник

Итак, портрет окончен. Поясной вполоборота портрет. Я написал его в четыре сеанса по четыре часа. В нижнем левом углу поставил свой росчерк, на обороте написал: «Холст, масло, 27x41».

Я всегда знал, что у меня нет ни малейшего таланта. В лучшем случае я — дизайнер, но никак не художник. Впрочем, ещё в школе мне говорили, что у меня довольно точная рука и строгий рисунок. «Технический стиль» — так кто-то отзывался о моих работах.

Рэйчел вышла похожей, но как бы в общих чертах. Вот она глядит на меня с портрета стеклянными, помертвелыми глазами, точно как волк с картины Васнецова. Лицо её не выражает ничего решительно. Разве только слабое недоумение и недовольство, прорвавшиеся на холст случайно и не имеющие к живой Рэйчел никакого отношения.

Сегодня вечером я намерен предъявить портрет оригиналу. Я решил пойти на хитрость. Скажу Рэйчел, что портрет ещё не завершён. Если она сочтёт портрет произведением безупречным и окончательным, сделаю вид, что принуждён уступить, и к портрету уж не вернусь. Если она предпочтёт увидеть готовую работу... Что ж, придумаю что-нибудь яркое и экспрессивное!

01.02.95, среда

— Oh! — сказала Рэйчел, когда я подвёл её к портрету.

И я похолодел. Потому что не мог разобрать, что она хочет выразить этим своим «Oh».

Перед осмотром Рэйчел принесла два бокала вина. И теперь, прижимая свой бокал к щеке, с настороженным удивлением и даже как будто с испугом смотрела она на портрет. Потом подалась назад, повернулась к портрету левым глазом, потом правым. Потом недоверчиво взглянула на меня, отпила немного вина и сказала:

— Great!

У меня гора с плеч упала. Как же я волновался, ожидая, что она скажет! Я таки не теряю надежду писать на заказ. Пусть я бездарен, но быть живописцем, писать картинку за деньги — всё лучше, чем мыть посуду.

Залпом я выпил своё вино.

Оказывается, моя мазня может кому-то нравиться! Хо-хо!

Вот только зачем я сказал ей, что портрет ещё не окончен?!

— Как? — удивилась она. — Разве нужно ещё что-то?

— Видишь ли, — я подошёл к камину, поставил пустой бокал на каминную полку. — Я хотел только... кое-где тронуть. Так... чуть-чуть. Я хотел сделать портрет более... э-э-э... ярким, понимаешь? Более экспрессивным.

— Экспрессивным? Это в духе Мунка?

— Да-да. Что-то в духе Мунка.

— Oh! Я понимаю, — закивала она. — Немного скучно?

Я улыбнулся и неопределённо покрутил головой.

— Прекрасно! — сказала она, снова углубляясь в созерцание портрета.

Я почувствовал себя неловко.

— Эдвард Мунк! — громко сказал я.

— Прости? — она повернулась ко мне.

— Ничего... Я говорю: Эдвард Мунк!

— А-а! Да, мне очень нравится Мунк! Oh! — и она ласково погрозила мне пальчиком. — Я не ошиблась в вас, Mister великий художник!

Потом она подошла ко мне, обвила мою шею правой рукой и прошептала, дыша в лицо белым вином:

— Подумать только, я и не знала, что выхожу замуж за русского художника!

Однако наутро мне пришлось-таки разбираться с экспрессией. К счастью, у Рэйчел есть несколько альбомов по искусству и среди прочих — Мунк. Вероятно, ей действительно «очень нравится Мунк».

Мне нужно было уяснить для себя что-то общее, что-то характерное — то, из чего, собственно, складывается «экспрессия в духе Мунка». Альбом оказался тоненьким — всего-то сотня листов. Репродукций немного, зато печать отменного качества. Я полистал альбом, отметил для себя несколько работ и принял за дело.

Прежде всего, за спиной у Рэйчел я поместил широченную ультрамариновую волну. Волна выбегала из нижнего левого угла и по диагонали поднималась вверх. Показавшись из-за головы Рэйчел, волна круто забирала влево. И, перерезав холст надвое, разбивалась о левую вертикаль.

Изо всех сил я пытался навязать портрету экспрессию, для чего отчаянно смешивал краски, наносил мазки беспорядочными, резкими движениями, точно побивая холст. Верхнюю часть полотна я покрыл кроваво-красными перьями, вкрапывая местами лазурь.

Взглянув на своё детище с двух шагов, я пришёл в ужас. За спиной у Рэйчел развёртывалось что-то несветимое. Небо налилось кровью, и реки стали горьки! Но Рэйчел ко всему этому оставалась совершенно безучастной. Тогда я решил заняться её лицом.

Прежде всего, я тронул щёки и лоб Рэйчел синей краской. Рэйчел как будто удивилась. «Погоди же, голубушка!», — обрадовался я новому выражению. И следом затем добавил зелени под глазами и на подбородке.

В какой-нибудь час я разукрасил Рэйчел так, что от прежнего портрета не осталось и следа. Теперь при беглом взгляде на картину могло показаться, что это индейская женщина, одетая в европейское платье и причёсанная на европейский манер. «Река Амазонка и пожар в джунглях», — подумалось мне.

Но стоило присмотреться, и впечатление менялось. Раскраска, а точнее игра света и тени, придавала Рэйчел выражение жёсткое, хищное, но вместе с тем беззащитное.

Я ещё раз оглядел портрет.

Н-да!..

Картина способна разве что вызвать недоумение да навеять скуку.

И зачем я связался с этой экспрессией? Испортил и без того плохой портрет. А ну как Рэйчел не понравится? Что тогда?

А может, Макс был прав? Что если главное — оригинальность и эпатаж? В таком случае я должен рассчитывать не на ценителей талантов, а на любителей экстравагантности. И если уж художник из меня никудышный, так почему бы мне не сделаться шутом, забавляющим публику? Можно самому рассказывать о своих творениях, растолковывая и приукрашивая. Побольше уверенности, Mister великий художник!

Впрочем, слово «шут» мне совершенно не нравится. Гораздо лучше «show-men»...

Я назову картину так: «Урбанизация». Нет, лучше так: «Дитя урбанизации».

Нет, чёрт поberi! «Miss Урбанизация»!

Эта волна и эти кровавые перья значат течение городской жизни, беспощадной и неумолимой. А раскраска значит одиночество городского человека.

Да, но при чём тут раскраска?

Очень просто. Раскраска — это попытка городского человека привлечь к себе внимание.

Я поправил свою подпись в нижнем левом углу, добавил название и отправился спать до прихода Рэйчел.

— Oh! Darling! — вскричала Рэйчел и схватила меня за руку. — Это тот самый портрет?

— Да, — зевнул я. — Помнишь, я говорил тебе об экспрессии?

— В духе Мунка?

— Ага... в духе Мунка. Эту картину я назвал «Miss Урбанизация».

— «Miss Урбанизация»?!

— Ну да. Городской человек одинок... Видишь эту волну?

— Да.

— Это... это жизнь. Такая... суровая, — я покачал рукой, как будто взвешивал в ней камень. — Как сама вечность. Красный цвет подчёркивает жестокость жизни. А эти пятна на лице...

— Светотень?

— Да, но на лице городского человека это выглядит как боевая раскраска. Защитный слой, долженствующий пугать врагов. Городской человек одинок, но подозрителен. Он хочет любви, но не даёт любить себя и не умеет сам.

Рэйчел сложила на груди руки, точно Пабло Пикассо, и углубилась в созерцание.

— Это потрясающе, Кен! — воскликнула она наконец.

— Что?

— Твоя идея. И та свобода, с которой ты выразил её... Человек хочет и не умеет любить! И не даёт никому любить себя!.. Это действительно потрясающе! Сколько у тебя свободы! Я не знала...

— Ну, сколько? — усмехнулся я.

— Ну... э-э-э... ты быстро учишься. Понимаешь? Ты недавно приехал и уже умеешь свободно выражать себя. Ты ничем не скован... Это потрясающе! Знаешь, этот портрет обязательно нужно показать Джеффри...

05.02.95, воскресенье

Вчера к обеду у нас были гости. С утра мы готовили с Рэйчел угощение. Какие-то пирамидки на палочках — микроскопические квадратики ветчины, салатных листьев, рыбы, огурца и хлеба, смазанного майонезом. Ещё микроскопические квадратики с чёрной икрой. Рэйчел утверждает, что именно так и надлежит есть икру. И что в России едят её неправильно. Ещё фрукты, шампанское и белое вино.

Никакого застолья. Гости, пять человек, свободно перемещаются по квартире с бокалами, сидят на полу, на столах и непринуждённо болтают.

Главное угощение — портрет.

Рэйчел оставила его на мольберте прямо посреди гостиной, и все, кто входил в комнату, неизбежно оказывались во власти «Miss Урбанизации».

Первой пришла Наташа. Делая вид, что ей ни до чего решительно нет дела, она в передней принялась рыскать глазами, так что невзначай заглянула даже на потолок. Рэйчел ответила ей таким же напускным равнодушием. Можно было подумать, что Наташа заглянула с прогулки на чашку кофе.

Улыбаясь как можно более дружелюбно, обе они важно проследовали в гостиную. Я поплёлся за ними. Завидев портрет, Наташа вдруг остановилась и впиалась в него глазами. Дружелюбие улетучилось, от улыбки осталась лишь судорога.

Потом она достала откуда-то очки и, нацепив их, подошла поближе. Потом попятилась назад, обернулась ко мне и напрягла лицевые мышцы, изображая улыбку. Потом снова повернулась к портрету и наконец сказала:

— Мило...

— Это «Miss Урбанизация», — охотно пояснила Рэйчел. — Городской человек хочет любить, но не умеет. Хочет быть любимым и не даёт себя любить. Он одинок и подозрителен. Даже игра света и тени на лице и одежде городского человека выглядит как боевая раскраска у примитивных народов.

— Oh! — заметила Наташа.

В это время позвонили в дверь. Рэйчел, извинившись, поспешила открывать, а я, чтобы не оставаться с Наташей, увязался за ней.

Пришли Таня с Диком.

Дик, едва только перешагнул порог, спокойно и уверенно обшарил глазами потолок и стены. Не обнаружив ничего нового, он всё так же спокойно протянул Рэйчел свёрток и коробку конфет.

Таня также не думала скрывать своего любопытства. Но оглядываясь она с видом лукавым и извиняющимся, точно говорю: «Ниче-

го не могу с собой поделаться». Встретившись со мной взглядом, она хихикнула и опустила глаза.

Рэйчел подвела их к портрету и замерла в ожидании.

— Oh! Рэйчи! Здорово! — воскликнула Таня.

И, обернувшись ко мне, кокетливо улыбнулась:

— Я тоже хочу портрет.

— Да, это очень хороший портрет, — серьёзно заметил Дик. — Настоящий фамильный портрет. И, прежде всего, он хорош потому, что он есть. Потому что это здорово — иметь портреты членов семьи. У меня есть портрет моей прабабушки. Но он очень маленький. А я бы хотел, чтобы он был большой.

— Да, большой это лучше, чем маленький, — согласилась Рэйчел.

Она была в том особенном расположении духа, когда хочется, чтобы всем вокруг было хорошо. Оттого она охотно поддакивала и соглашалась с каждым.

— Картина называется «Miss Урбанизация», — отозвалась Наташа, развалившись на диване.

— «Miss Урбанизация»? — переспросил Дик.

Таня снова кокетливо мне улыбнулась.

— Да, ведь городской человек одинок... — с удовольствием принялась объяснять Рэйчел.

А я, к удивлению своему, вдруг понял, что мне жаль Рэйчел. В ту же секунду я заскучал и, отойдя от портрета, уселся на диван рядом с дружелюбно улыбавшейся Наташей.

Звонок в дверь оборвал Рэйчел на полуслове.

— Это Джеффри! — почему-то шёпотом объявила она.

Глаза у неё загорелись, она затрепетала.

В следующую секунду вся компания, включая меня, бросилась в прихожую. Рэйчел сумела заразить нас своим беспокойством. Я чувствовал, что и сам с нетерпением жду этого Джеффри. И отчего-то волнуясь.

— Привет, Рэйчи! — прогремел Джеффри. — Ну показывай, показывай... Привет, Кен. Как твоё здоровье?

И они с Тимом бешено расхохотались, намекая, очевидно, на мои вопросы в день нашего знакомства в «Cheshire Cheese».

Рэйчел нервно рассмеялась и повела всех в гостиную.

В дверях гостиной вся компания остановилась. Джеффри в середине, остальные около него полукругом.

В чёрном свитере с высоким горлом, испещрённая разноцветными, как конфетти, мазками, безразличная и равнодушная ко всему на свете, смотрела на нас с портрета Рэйчел. А за спиной у неё что-то такое полыхало и разливалось.

— Вау! — хихикнул Тим. — Да это крутой авангард, а? Рэйчи?

Никто не обратил на него никакого внимания. Все ждали, что скажет Джеффри. Меня, правда, неприятно кольнуло замечание Тима. Я уже приготовился обороняться, но потом решил послушать, что же всё-таки скажет Джеффри.

А Джеффри, знакомый, очевидно, с системой Станиславского, держал паузу.

— Эй, Джефф, ты уснул? — не вытерпела Наташа.

— Что ж, — очнулся Джеффри, — неплохо... Неплохо, старик! — он повернулся ко мне и погладил (ой!) меня по плечу. — Этот ультрамарин мне нравится... И умбра... Особенно ультрамарин... Я чувствую этот ультрамарин... Н-да... Только, вот что... Академизм... Поменьше академизма, старик!

— Что плохого в академизме? — удивился я.

— Видишь ли, — он обнял меня за плечо. — Для художника — для большого художника! — живопись сейчас не самое актуальное.

— Как это? — не понял я.

— Просто голая живопись — это как ученичество, понимаешь? В современном искусстве главное — это свобода выражения. Эй, раскрепостись! Почувствуй себя свободно и комфортно. Ничто не должно мешать или запрещать тебе самовыражаться. Вываливай из себя всё, что только есть в тебе, понимаешь? Это-то и интересно. За это хотят платить. Мысль, не табуированная ничем и воплощённая в образах — вот, что такое современное искусство.

— Да, но все великие культуры, в том числе европейская, рождались во времена великих табу, — робко заметил я.

— Нужно идти вперёд, старик! Нельзя до второго пришествия рыдать перед Рембрандтом! Надо создавать своё, современное. Tempora mutantur, меняется и искусство. Мы живём в век свободы, в свободной стране, где каждый человек может иметь любые взгляды. Это наше время, оно выпало нам, и мы должны творить здесь и сейчас. Художник просто обязан быть современным. Ну ладно! — он засмеялся. — Мы уже всем надоели. Нельзя злоупотреблять вниманием публики. Приходи лучше на нашу выставку. Посмотришь, что есть в Лондоне интересного. O`key?

— Окей, — вздохнул я.

Все сразу оживились, заговорили. Наступило какое-то облегчение, точно все мы успешно сдали экзамен.

— Понимаешь, Джеффри, — щебетала Рэйчел, — картина называется «Miss Урбанизация». Ведь городской человек одинок...

Чудесная английская вечеринка: пирамидки, икра, белое вино, чувство лёгкого голода, потом конфеты, добрая марихуана и, наконец, такси, которое везёт нас по ночному Лондону в какой-то клуб.

Едем молча. Во всю дорогу ни разу не останавливаемся на красный свет. Точно по сценарию проскакиваем все светофоры на зелёный. Джеффри делает водителю комплимент. Довольный водитель ёрзает в кресле и со скромным достоинством соглашается с похвалой.

И вот мы прибываем, расплачиваемся и выходим из такси.

То, что я вижу, превосходит все мои ожидания. Тяжёлое, мрачное здание бывшей фабрики, напоминающее чем-то каменоломню. Полная луна, тусклая от городского света. И, точно отголосок какой-то дьявольской оргии, тревожный гул под ритмичные удары, доносящийся откуда-то из чрева земли. «Это ад, мама», — невольно думаю я.

Мы вошли, заплатили за вход. Два охранника с огромным чёрным псом внимательно оглядели нашу компанию. В довершение картины мы получили печати на руки. И только после этого удостоились вступить в таинственный мир, скрытый в подземном лабиринте бывшей фабрики и недоступный любопытному глазу праздношатающегося обывателя.

Бесконечные, как мне показалось, коридоры и переходы, гулкие железные лестницы, кирпичные стены — я ждал, что вот-вот случится что-нибудь необыкновенное. Именно здесь, в этом странном месте, венчающем прежние лондонские впечатления.

Но ничего не произошло.

Мы спустились вниз по железной лестнице, прошли по длинному, узкому коридору и оказались на самой обыкновенной дискотеке. Здесь гремела музыка, которую я ощущал наверху подошвами. Было многолюдно, тесно и душно.

Рэйчел потянула меня за рукав, и мы протиснулись с ней в самую гущу колышущихся тел. Потом она сказала, чтобы я ждал, и исчезла куда-то. Я оглянулся. Вся наша компания растворилась в толпе, я остался один. Тогда я отправился за Рэйчел. Но её нигде не было. Я решил подождать Рэйчел где-нибудь с краю, протолкнулся к стене и оказался между двумя динамиками.

В ту же секунду звук захватил и сотряс меня, проник под кожу, прикоснулся к внутренностям. Я точно перешёл какую-то черту, вторгся во владения невидимого духа. К тому же, оказавшись внутри низкочастотного потока, я вдруг перестал слышать членораздельно: все звуки — музыка, разговор, чьи-то выкрики — слились для меня в один — неистовый, терзающий моё нутро гул. Диско-

тека вдруг показалась мне каким-то страшным видением: в тёмно-синем полумраке мечутся и скрещиваются белые лучи, выхватывая из тьмы полуобнажённых извивающихся людей. Меня охватил такой ужас, что я, сам не зная зачем, закричал, что было мочи. И не услышал себя. Меня никто не услышал. Я шагнул вперёд и смешался с толпой.

Излишнюю свою впечатлительность я объяснил действием марихуаны. Тем более что со мной случилась ещё одна странность. Когда мы уже собирались уходить, я вдруг увидел Вилену. Он не танцевал, стоял как-то в сторонке, поглядывал на меня и противенько улыбался. Сначала я не признал его и прошёл мимо. Но тут же опомнился, оглянулся — его уже не было. Я решил, что мне показалось.

А сегодня Рэйчел сообщила, что её родители приглашают нас в гости на следующей неделе. Я удивился, потому что никогда не думал об этом. То есть я совершенно забыл, что у Рэйчел где-то есть родители. Вообще-то я слышал, как она разговаривает с ними по телефону. Но вот уже месяц, как я живу в Лондоне, и до сих пор ни разу не видел их.

06.02.95, вторник

Боюсь сглазить, но, кажется, в моей жизни начинается полоса везения.

Сегодня вечером позвонил Дик и напросился к нам в гости, чтобы переговорить со мной по важному делу.

Со мной! По важному делу!

Я чуть не умер, пока дожидался этого чёртова Дика!

Наконец он появился. В тёмно-синем костюме, в полосатом галстуке, с дурацким кейсом.

Рэйчел провела Дика в гостиную, принесла ему чашку чая, и мы втроём расположились на диване. Из кейса Дик извлёк тощую папку, в которой оказались три старые чёрно-белые фотографии. На каждой так или иначе был запечатлён длинный, одноэтажный белый домик, обнесённый каменной оградкой. На одной из фотографий с домом виднелись высокие холмы и кусок какого-то водоёма — не то озера, не то моря. На другой фотографии перед домом была лужайка, покрытая редкими, похожими на метёлки кустарниками. На третьей фотографии дом казался не в фокусе; зато на переднем плане стояла улыбающаяся, склонившая голову набок молодая женщина в длинном платье и накинутом на плечи мужском пиджаке. В правой согнутой руке она держала несколько длинных травянок, касавшихся её щеки.

Выяснилось, что дом принадлежал семье Дика. В этом доме Дик провёл первые семь лет своей жизни. Отец Дика был фермером, и жили они где-то в Шотландии. Но в начале восьмидесятых отец Дика разорился. Дом пришлось продать, и вся семья переехала в Лондон.

Но дом остался для Дика самым светлым воспоминанием детства. Вот почему Дик хотел бы, чтобы я написал для него этот дом. Совершенно необязательна точная копия с фотографии. Я вполне могу проявить фантазию. Например, рядом с домом изобразить животных — собак, лошадей, овец.

Словом, единственное, чего бы хотелось Дику — это узнавать свой дом.

Дик готов заплатить за картину двести фунтов. Впрочем, если я не согласен, мы могли бы обсудить цену. У меня есть время подумать. Завтра утром Дик позвонит, чтобы узнать окончательное моё решение. А пока оставит мне небольшой залог.

Торопиться с работой не нужно. Главное, чтобы вышло похоже.

Дик выпил свой чай, выложил на столик пятьдесят фунтов и, с обещанием позвонить на следующее утро, ушёл.

Итак, я художник.

Я живу в Лондоне в районе Chelsea и зарабатываю тем, что пишу картины для руководителей отделов продаж.

У-у-у...

09.02.95, четверг

Домик, в котором прошло детство Дика, я написал в два сеанса по три часа.

Перед домиком, для контраста и воздушной перспективы, я поместил воронопегую лошадку с телегой. Холмы за домом я оставил; оставил и лужайку. Море писать не стал. Зато насадил перед домом деревьев и украсил фасад лепкой.

То, что я согласился считать окончательным вариантом, был вялый, застывший пейзаж, один из тех, что во множестве предлагают уличные живописцы.

Я знал, что лучше ничего не сделаю. И просить за эту ерунду двести фунтов мне было как-то неловко. Впрочем, утешал я себя, Дик сам назначил такую цену. К тому же, никто и не ждал от меня шедевра.

Чтобы хоть как-то скрасить впечатление от картины, я решил сделать эффектным момент передачи. Двухуровневая прихожая, вмещающая маленькую площадку перед входной дверью, семь ступенек и пространство второго уровня, позволила мне исполнить всё именно так, как я и задумал.

Дело в том, что на противоположной от входа стене у нас висит большое зеркало. Картину я разместил слева от входной двери, но на втором уровне и так, чтобы вся она отражалась в зеркале. Дик, войдя и поднявшись по лесенке, неизбежно наткнулся бы взглядом на отражение — картина оказалась бы у него за спиной. Так всё и вышло.

Уже на пятой ступеньке Дик увидел в зеркале картину.

— Как дела? — безразлично спросил он, остановившись и впривисшись в зеркало.

Я промолчал.

Точно обидевшись на моё молчание, Дик прямо на лестнице развернулся ко мне спиной, ухватился рукой за перила и замер. Потом снова обернулся, перепрыгнул через две ступени, по пути неловко улыбнулся мне и бросился к картине.

Спустя некоторое время, он произнёс:

— Good...

И, помолчав немного, спросил:

— Картина, стало быть, готова?

Неуверенность, а может быть, и разочарование, которые я различил в его тоне, заставили меня насторожиться.

— В чём дело, Дик? — спросил я, чувствуя, как ладони мои становятся влажными. — Что-то не так?

Дик виновато посмотрел на меня, потом взглянул на картину и вкрадчиво начал:

— Я понимаю... эти фотографии, что я дал тебе... они, конечно, старые. Там не очень видно, что дом... видишь ли, дом был белый.

— Понятно, белый! Он и есть белый, — я кивнул на картину.

— Но у тебя он вышел какой-то... голубой...

— Голубой?! — этот ужасный Дик сведёт меня с ума.

Господи! Ведь для меня всё только начинается. И неужели своими глупыми придирками этот джентльмен с замашками бургера хочет испортить мне будущность! Конечно, дом голубой. Кто же будет писать белый дом чистыми белилами? Разве какой-нибудь дилетант. Я всего-навсего приглушил белизну, доведя её до зелени с голубизной.

Это-то я и попытался объяснить Дику, прочитав ему целую лекцию по теории цвета и в доказательство мазнув дом чистыми белилами.

— Видишь? — ткнул я кистью в белый мазок. — Видишь теперь? Ну во что это превращается?

Дик слушал очень внимательно. Моя речь, похоже, произвела на него впечатление. Но более всего поразил его белый мазок.

— Потрясающе! — сказал он, разглядывая белое пятно. — Так стало ещё хуже.

«Ещё хуже!» Я усмехнулся.

И странно, это простодушное и даже, может быть, случайное замечание, почти обрадовало меня. Радость эта была сродни злорадству. А я, признаться, никогда не думал, что можно злорадствовать по поводу себя самого.

Ещё как можно! Я не вспылал и не обиделся на Дика. Я принял эти два слова как заслуженное унижение. Думаю, всё дело в том, что я чертовски неуверен в себе. Хотя нет. Я уверен, что не имею права быть в себе уверенным. Я отлично понимаю, что художник я никудышный, но уж коли взялся, пусть и по необходимости, так подавай мне и славу, и первенство, и Бог знает, чего ещё.

Представим себе человека с желаниями непомерными, а возможностями скудными. Ну как тут не позлорадствовать! А если такой человек я самый и есть?

Дик попросил меня убрать белизну и сказал, что хочет сделать ещё один заказ. Завтра он привезёт фотографию и тот самый маленький портрет своей прабабушки. Моя задача — с их помощью написать большой портрет прабабушки Дика.

А, кроме того, Таня тоже хочет писать у меня свой портрет. И если я не против, завтра Таня приедет с Диком обсудить свой заказ.

Итак, договорились: завтра в 11.00. Дик оставил мне причитавшиеся деньги, забрал свой «Белый домик» и уехал.

— Завтра в одиннадцать у меня в ателье, — сказал я ему на прощанье.

Похоже, я всё-таки становлюсь модным портретистом. И гостиная Рэйчел действительно грозит превратиться в ателье художника.

10.02.95, пятница

Ну и дела-а!

К одиннадцати приехали Таня с Диком. Уже по их лицам я понял: что-то не так. А когда увидел в руках у Дика «Белый домик», я чуть не заплакал.

Оказалось, что Тане не понравилась телега.

— Выглядит слишком бедно, — объяснил за Таню Дик. — Думаю, нужно заменить телегу каким-нибудь экипажем. Может быть, кэбом? — обратился он к Тане.

— Хм... Кэб здесь не при чём. И откуда в деревне кэбы?.. Тем более в Шотландии...

— Да, действительно, — согласился Дик. — Тогда, может, карета?

— Послушай, Дик, — сказал я. — Будет лучше, если ты найдёшь мне картинку. Покажи, что именно ты хочешь видеть вместо телеги, и я впишу это.

— О'кей, — обрадовался Дик. — Но ещё лошадь...

— Что с лошадью? — не понял я.

— Видишь ли, — промямлил Дик, — эта лошадь... она похожа на корову...

— Прости?

— Я говорю, лошадь. Лошадь похожа на корову.

Так. Вчера он сказал мне: «Ещё хуже», а сегодня утверждает, что я не могу написать лошадь. Тогда какого чёрта им от меня надо?

Конечно, эта чёрная с белыми пятнами лошадь, запряжённая в телегу, вовсе не орловский жеребец, а всего лишь вислозадая кляча. Но утверждать на этом её сходство с коровой... Нет, право, это выше моих сил.

Я припал к картине, стараясь понять, чем же это моя лошадь напомнила им корову. Положение моё было ужасно: во-первых, я вспылал и готов был нагругить Дику, во-вторых, я совершенно не понимал, как теперь вести себя. Спорить — глупо. Спрашивать — как-то неловко. Тьфу!..

— Я имею в виду её цвет, — пояснил Дик.

Ах, вот оно что!

— Было бы лучше, если бы ты сделал её просто чёрной. И, может быть, надо вписать ещё одну?

— Ещё одну — что?

— Ещё одну лошадь. Вторая лошадь подчеркнёт благосостояние хозяев дома.

— Лошадь подчеркнёт благосостояние?

— Да.

— А, может, пустить сюда отару овец? Сразу будет видно, что богатая семья.

— Овец? — Дик повернулся к Тане.

Таня в ответ улыбнулась самыми кончиками губ и повела плечом.

— Нет, не надо овец, — твёрдо заключил Дик. — А лучше убери вот эти пятна, — и он ткнул пальцем в лепку, которой я попытался украсить фасад дома.

— Это лепка, — сказал я.

— Я понимаю. Но она выглядит как... как ободранная штука-турка. И ещё вот это окно. За деревом его почти не видно. Мне бы хотелось, чтобы оно было обозначено более чётко...

— О'кей, — вздохнул я. — Это всё?

— Знаешь, я всё думаю про телегу... Может, просто передвинуть её поглубже? Вот сюда, — он снова ткнул пальцем куда-то в подножье холма. — А на переднем плане пусть будут две чёр-

ные лошади и карета... Да! А на телегу, пожалуй, нужно нагрести сена.

У меня такое чувство, как будто мне и в самом деле предстоит передвигать лошадей и грузить сено. Слава Богу, разобрались с лошадьми и коровами и перешли к прабабке.

Дик, как и обещал, принёс маленький портрет и фотографию. Портрет оказался настолько ужасным, что я даже приободрился и осмелел. Никакого сомнения, что мои работы на порядок лучше! Скорее всего, этот маленький портрет был написан, а лучше сказать, намалёван, каким-нибудь шотландским соседом прабабушки, художником-самоучкой, в свободное от полевых работ время забавляющимся живописью. Фотография, точнее дагеротип, не в пример лучше.

Прабабушка Дика оказалась весьма красивой и молодой особой. Одета прабабушка, как ей и положено, в платье старинного фасона с высоким воротником, плотно облегающим шею, и изящную кружевную тальму. Волосы собраны в сложную, высокую причёску. Выражение лица и глаз тоже не современное: смотрит прямо перед собой, но, кажется, ещё мгновение — и отведёт глаза. Что-то стыдливое, беззащитное и вместе с тем озорное в этих глазах.

За прабабушку размером 50x70 Дик предложил мне двести пятьдесят фунтов. Не знаю, много это или мало. Я рад уже тому, что пишу на заказ картинку, а не мою в ресторане посуду.

Разобрались с прабабкой, перешли к Тане.

Улыбчивая Таня привезла с собой альбом Гойи. Раскрыв на Обнажённой Махе, она сказала:

— Я хочу вот так. Ты можешь сделать копию и вписать моё лицо?

Только сейчас я сообразил, что Таня похожа на Маху. Невероятное сходство!

— А... А фотография есть у тебя? — не рискну писать лицо без фотографии.

Она достала из сумочки маленький, 5x6, снимок и, протягивая его мне, спросила:

— Можно я буду позировать?

— Можно. Но фотография мне нужна.

Мне показалось, что, передавая мне карточку, Таня на лишнюю долю секунды задержала свою руку. Но, может быть, это только мне показалось.

Таня оценила мою работу в двести фунтов.

Итак, я завален работой и деньгами. Жизнь обещает быть сытой и по-настоящему европейской.

Как же я благодарен родителям, что они дали мне живопись! Тысячу раз целую их, моих родных!

Договорились, что первым делом я пишу портрет Диковой прабабушки.

Прекрасно! Это самый дорогой заказ.

Затем берусь за рокировку телег и лошадей.

И на десерт — портрет Тани. Интересно, как она собирается мне позировать?

Дик оставил мне сто фунтов задатку и ценные подарки. В-первых, дорожную сумку с надписью «British airways». Во-вторых, сборник статей Льва Толстого на русском языке, выпущенный каким-то британским издательством.

Я так обрадовался книге на русском языке, что первым моим движением было бросить всё и засесть за чтение. Но передо мной стояли Таня и Дик и снисходительно улыбались моему восторгу.

Пришлось отложить книгу и со сдержанным дружелюбием попрощаться с гостями.

Чтобы сделаться настоящим европейцем, нужно научиться владеть собой.

13.02.95, понедельник

Моя жизнь в Лондоне стремительно меняется. За короткий период времени произошло столько значимых для меня событий, что я не успеваю осмысливать их.

В субботу мы отправились в White Cube.

Галерея White Cube находится в East-End'e, рабочем районе Лондона. Говорят, что теперь тут селятся художники, дизайнеры и прочие представители beau monde. Очень может быть, правда, от этого район не стал чище.

В White Cube выставляется целая плеяда молодых британских художников. Но ощущения, что я попал на художественную выставку, у меня так и не возникло. Мне казалось, что я пришёл в гости, и хозяин потчует меня своей коллекцией милых безделушек, привезённых со всех концов света. Здесь и гипсовые слепки с каких-то книг, и фигурки овец в натуральную величину, и картины, нарисованные чьим-то калом.

Кстати, фекально-генитальная тематика преобладает. Толстой как-то сказал про творчество Леонида Андреева: «Он хочет напугать меня, а мне не страшно».

Нет, я не против самовыражения! Но, по-моему, этому явлению давно пора придать особый статус. Ведь это не просто желание поделиться сокровенным, в этом случае самовыражение не шло бы дальше деревянного ящика в Hyde-park'e. Самовыражение — это

своего рода представление, show. Самовыражение призвано забавлять публику, а заодно вытряхивать из неё деньги. Занятие это не хуже и не лучше целого ряда других занятий. Просто справедливости ради следует отделить его от искусства. Ну должно же остаться хоть что-то в сфере человеческой деятельности, бескорыстно зовущее людей к совершенству!..

А, может, опять рабская психология?

— Вот работы Джеффри! — воскликнула Рэйчел.

В самом деле, мы оказались перед инсталляцией, где значилось имя Джеффри. Инсталляция называлась «Я никогда не рожу. Исповедь Гея» и представляла собой гинекологическое кресло, обнесённое колючей проволокой.

— Ты понимаешь, что он хочет сказать? — серьёзно спросила меня Рэйчел.

— По-моему, он всё сказал своим названием.

— Джеффри — гей!

— Я знаю.

— Мне кажется, ты не можешь понять, что это такое — быть геем.

— Слава Богу, не могу!

— Джеффри говорит, что уже в десять лет чувствовал себя женщиной.

Слабо верится! Этаким детина с громоподобным голосом чувствует себя женщиной!

— В десять лет? Ты хочешь сказать, девочкой?

— Это неважно. Только представь, он чувствует себя женщиной и твёрдо знает, что никогда не родит! Это же ужасно...

— Если бы он не забивал себе голову тем, что он женщина, не было бы ничего ужасного! — эта тема всегда только раздражает меня.

— Как ты можешь говорить такое? — прошептала Рэйчел.

С ней невозможно спорить. Всё, что идёт вразрез с её мнением, представляется ей посягательством на свободу личности и права человека.

— Многие женщины тоже знают, что никогда не родят. Но это ещё не повод сходить с ума.

— Джеффри не сумасшедший. Помнишь, я говорила тебе, что наша эпоха — это эпоха рухнувших идеалов? В нашу эпоху многое пересматривается. И гомосексуализм невозможно считать пороком, как это было во времена Оскара Уайльда.

— Почему невозможно? Очень даже возможно... — усмехнулся я.

— Потому что это почти расизм. И человек, который придерживается таких взглядов, скорее всего, заслужит только пре-

зрение. Он просто рискует стать изгоем. Мы живём в свободной стране...

— И именно поэтому ты навязываешь всем свой взгляд на мир! — взбесился я.

— Гомосексуалисты — это несчастные и гонимые люди...

— Гомосексуалисты — несчастные люди? О чём ты говоришь, Рэйчел? Да это... глобальная мафия. Они расползлись по свету, влезли во власть, они поддерживают друг друга. Это страшная сила, а не несчастные люди! И это всем известно! И вообще... Мне надоело любоваться этим... дерьмом! Хочешь — оставайся и лубуйся одна! А я уйду!

С этими словами я развернулся и широким шагом направился к выходу. Рэйчел осталась.

Домой она вернулась только поздно вечером. Не знаю, где она была всё это время.

Со мной, конечно, она не разговаривала.

Злиться на неё я перестал и даже, напротив, устыдился. Ведь это из-за меня она поехала на выставку. Наверное, хотела похвастаться передо мной своим выдающимся приятелем и британским искусством вообще. Должно быть, ей всё это очень нравится. И она испытывает что-то вроде национальной гордости.

В общем, я решил просить у неё прощения.

— Иногда мне бывает страшно с тобой, — сказала она в ответ на мои излияния.

— Почему?

Мы сидели с ней на ковре у камина. Я зажёл свечи, принёс бутылку вина и два бокала. Рэйчел прижалась ко мне и маленькими глотками отпивала вино.

— Ты ведёшь себя и рассуждаешь как... дикарь.

— Как дикарь?

— Да. Ты мой дикарь, — тихо сказала она.

И, помолчав немного, добавила:

— Это так сексуально! Такой сильный и дикий. И просит у меня прощения...

Поколение, к которому принадлежит Рэйчел, воспитано не на Шекспире и Вальтере Скотте, а на Голливуде и журнале «Cosmopolitan»...

А в воскресенье мы были у родителей Рэйчел. Я и не подозревал, что живут они в соседнем квартале! Загородный дом оказался вовсе не за городом.

Их особняк находится в Chelsea Harbour. Тут же пришвартованная яхта.

Отец Рэйчел как-то связан с банками. Это полный, небольшого роста, лысоватый господин с маленькими, прячущимися за квадратными стёклами очков, глазками. Когда Рэйчел представила меня, он долго тряс мою руку и сообщил, что бывал в Москве и Санкт-Петербурге. Мама Рэйчел тоже маленькая, но в отличие от супруга, чрезвычайно худая особа, улыбнулась мне, выставив искусственные зубы, и сообщила, что много слышала о Большом Театре. А когда Рэйчел отрекомендовала меня художником, поинтересовалась, не состою ли я в «Клубе Художников».

Я решил, что это нечто вроде Союза Художников, и сказал, что не состою, но собираюсь вступить. На это мама Рэйчел заметила:

— Oh!

Нас пригласили обедать. Стол был накрыт в каминном зале. Камин, огромный, как ворота постоянного двора, щедро делился теплом. В комнате было жарко, приятно пахло горящим деревом.

На какое-то время мне показалось, что я стал героем фильма про старую, добрую Англию — настолько необычной была здешняя обстановка. Стены, обшитые деревянными панелями, деревянные балки под потолками, большой гобелен, резная мебель из тёмного дерева, множество каких-то вазочек, ступок, подсвечников — думаю, оказавшись в замке Виндзор, я не был бы поражён так сильно.

Кроме папы и мамы Рэйчел в доме суетились ещё какие-то люди. Но за стол они не садились. Стало быть, эти люди — прислуга.

Мы обедали вчетвером за длинным массивным столом. Мама Рэйчел объяснила, что специально для меня был приготовлен традиционный английский обед: некий салат, состоящий, как мне показалось из одного майонеза, картофельно-мясная запеканка, называемая, вроде, «пастушьей сумкой» (там ей самое место). Ещё была рыба, ужасная варёная капуста, залитая растопленным сливочным маслом, варёная свёкла, нарезанная кубиками, фаршированные оливки и прочие закуски. На десерт был пудинг.

Признаться, обед мне не понравился. Но я тут же заверил себя, что просто не привык к европейской кухне. Поэтому с улыбкой съел всё, что мне предложили, и поблагодарил хозяев за внимание к моей особе.

Впрочем, были очень вкусные гренки.

За обедом мы беседовали.

— Как вам понравился Лондон? — спросила меня мама Рэйчел.

— Очень понравился, — вздохнул я.

— А... Когда ваша свадьба? — поинтересовался папа.

— Я уже говорила, папа. Наша свадьба в марте, — ответила Рэйчел.

— Да, да... Я помню.

— Как вам нравится Chelsea? — не унималась мама.

— Chelsea? — переспросил я зачем-то.

— Да. Район, где вы живёте с Рэйчел, — мама чуть заметно улыбнулась, должно быть, решила, что я не знаю, где это такое — Chelsea.

— Chelsea мне очень нравится, — чинно произнёс я, воображая маму Рэйчел королевой, а себя — премьер-министром.

Но мама, должно быть, думала о том же.

— Бывали вы в Королевском госпитале?

— Нет. К сожалению, пока нет.

— Рэ-эйчел! — разочарованно протянула мама. — Вы обязательно должны побывать в Королевском госпитале.

— Хорошо, мама. Я собиралась пригласить туда Кена в мае.

— В мае? Это замечательно! В мае, — обратилась она ко мне, — на территории Королевского госпиталя проходит выставка цветов. Дорогая, — переключилась она на Рэйчел, — папа собирается участвовать.

— В самом деле? Удачи тебе, пап.

— Спасибо, дорогая, — улыбнулся папа Рэйчел.

— Надеюсь, вы тоже придёте поддержать папу, — улыбнулась мне мама.

— Конечно, мам, — ответила Рэйчел.

— Главное, чтобы была хорошая погода, — продолжала мама. — Дождь всё испортит. Какая в России погода в мае?

— Хорошая, — сообщил я. — Иногда бывает пасмурно и идёт дождь, а иногда, напротив, очень жарко. По-разному.

— Совсем как в Лондоне, — вздохнула мама.

Потом заговорили о портрете Рэйчел, и мама выразила желание увидеть его. Рэйчел похвасталась, что у меня много заказов, и мама заверила нас, что это очень хорошо. Обсудили свадебный наряд Рэйчел и вечеринку, которая состоится у родителей. Мама напомнила, что гостей будет совсем немного, только близкие друзья невесты, несколько тётушек и дядюшек да ещё какая-то семейная пара — друзья родителей Рэйчел.

— А ваши родители приедут? — спросила меня мама.

— Не знаю, смогут ли они, — соврал я. — В марте они обычно очень заняты.

— А! Понимаю, — сказала сочувственно мама. — А тот молодой человек, который жил в лодке Бобби Хиггинса? Иван, кажется?

— Максим, мама, — поправила Рэйчел. — Он тоже очень занят.

— Ну конечно, Максим! Очень жаль. Очень жаль, что на свадьбу к Вам никто не приедет.

Пока говорили о свадьбе, я так разволновался, что даже замёрз. Я решительно не могу представить себя на свадебной церемонии в англиканской церкви и на вечеринке с английскими тётушками. Жизнь с Рэйчел хоть и отличается от моей прежней жизни, но всё же не так разительно. Во всяком случае, до сих пор я не чувствовал себя героем из фильма про Мисс Марпл. Действительно, очень жаль, что я останусь один.

В четыре часа Рэйчел сказала:

— Что ж, нам, пожалуй, пора... — и выразительно посмотрела на меня.

Я кивнул.

— Да, дорогая, — сказала мама. — В пять часов придет тётя Дора.

Они проводили нас до машины, оба пожали мне руку. Не удержавшись, я ляпнул:

— Передавайте от нас привет тёте Доре.

Папа Рэйчел улыбнулся, а мама с ужасом воззрилась на меня. Но, заметив улыбку мужа, сама заулыбалась.

— Знаешь, кто такая тётя Дора? — возмущённо спросила меня Рэйчел, когда мы отъехали от дома родителей.

— Нет, конечно.

— Мамина школьная подруга. А ещё старая глупая корова.

— Рад познакомиться, — лениво отвечал я.

Но Рэйчел почему-то обиделась и за весь вечер не сказала мне больше ни слова.

А у меня из головы не шёл Макс. Мне неудобно было просить Рэйчел показать тот самый ботик. И вот совершенно случайно я узнал, что бедолага Макс жил не просто в лодке, а в лодке какого-то Бобби Хиггинса.

Я всё пытался представить себе Макса, моющего в ресторане посуду, живущего из милости в лодке Бобби Хиггинса и вечерами прогуливающегося в одиночестве по улицам Лондона.

14.02.95, вторник

Сегодня день святого Валентина. Кто такой этот Валентин, я понятия не имею. Рэйчел рассказала мне что-то невнятное о каких-то влюблённых, которых кто-то и за что-то казнил ужасной казнью. По-моему, она и сама толком не знает, кто такой святой Валентин. Зато она прекрасно знает, что сегодня влюблённые дарят друг другу подарки. С большой натяжкой нас можно назвать влюблёнными, но это не имеет никакого значения. Значение имеют «валентинки» — открытки с сердечками. Эти сердечки — воздушные шарик, открытки, шоколадки — кажутся мне ужас-

но пошлыми. Что-то вроде котят с бантиками или фальшивых бриллиантов.

Впервые о дне святого Валентина я узнал ещё в Москве, и тогда мне понравилась эта новая традиция. На первом курсе я был влюблён в одну девочку и подарил ей 14 февраля серебряное сердечко, ломающееся пополам. Моя возлюбленная тоже сделала мне подарок — маленькую фарфоровую свинку.

Я прекрасно помню: обмен подарками был приятен мне более всего потому, что давал возможность чувствовать себя европейцем. Мне казалось, что я теперь ничем не хуже, чем какой-нибудь англичанин или голландец, что я так же цивилизован и внутренне раскован, что у нас теперь общие ценности и что на мир мы смотрим одними глазами.

Сердечко мы с моей возлюбленной разделили и обещали друг другу беречь половинки. Но осенью я обнаружил пропажу. А возлюбленная моя, по странному совпадению, объявила, что выходит замуж за парня с факультета информатики.

Я возвратил ей фарфоровую свинку и приложил несколько своих детских фотографий. Но это не помогло. Она не вернулась ко мне. А я с тех пор больше не был влюблён. А так хочется...

Правда, каждый год 14 февраля я обменивался с какой-нибудь девушкой сувенирами. Но больше для того, чтобы чувствовать себя европейцем.

Здесь в Англии всё изменилось. А главное, я сам изменился. Я наблюдаю, вникаю, хочу понять и разобраться. Хочу найти чего-то.

Между прочим, я заметил одну характерную странность: религиозные праздники в Англии обладают свойством оборачиваться в свою противоположность. Я не застал Рождества, но, судя по рассказам друзей Рэйчел и той озабоченности, с которой сама Рэйчел носилась по Москве, скупая матрёшки и ростовскую финифть для целого батальона друзей и родственников, Рождество в Англии сродни стихийному бедствию. А ещё чем-то похоже на 7 ноября в СССР — до повода никому нет дела, зато все рады лишнему выходному.

Я сам слышал, как Таня называла Рождество «ужасным стрессом».

— Во-первых, за праздники я поправляюсь на несколько фунтов, — жаловалась она Рэйчел и Наташе. — А во-вторых, остаюсь без фунта в кармане. Лучше, если бы всё было наоборот. И потом я так устаю покупать подарки и подписывать открытки, что после праздников нуждаюсь в отдыхе.

— А я считаю, что нам сейчас нужны совсем другие праздники, — соглашалась Наташа. — Рождество, по-моему, оскорбляет

чувства неверующих, а потому не может оставаться общенациональным праздником. Пусть Рождество будет домашним праздником для верующих, для тех, кому нравится бегать по магазинам и готовить индейку. А общенациональным пусть будет другой праздник.

— Верно, — поддакивала Рэйчел. — Непонятно, почему правительство не хочет видеть очевидного? Отмечать каждый год Рождество — это некорректно.

День святого Валентина похож на 8-е Марта. Поздравляют, конечно, не только женщин. Но женщины с бóльшим трепетом и волнением ожидают «валентинок». Для англичанки получить открытку 14 февраля — это дело чести. Раз в год, 14 февраля, женщины целой нации устраивают себе проверку на секспригодность, и каждая задаётся вопросом: есть ли хоть один мужчина на свете, готовый заняться со мною сексом? Подумать только: день всех влюблённых! Но влюблённые это всегда пара. Значит, и праздник для двоих. Однако, чем больше «валентинок» получает англичанка, тем отраднее у неё на душе.

Утром Рэйчел подарила мне открытку с сердечком, ещё шоколадное сердечко, сердечко-свечу и сердечко-брелок. А я преподнёс ей маленькую серебряную брошку, купленную на рынке Portobello и открытку собственного рисунка. На сложенном вдвое листе плотной бумаги я изобразил карикатурную Рэйчел с фотоаппаратом и в окружении целой стаи собак и кошек. За спиной у Рэйчел я поместил карикатурного себя с мольбертом и карикатурного Макса на борту лодки. И всё это на фоне куполов собора Василия Блаженного и башен Tower'a. Над Максом и над собой я нарисовал сердечки: вроде как оба мы сохнем по Рэйчел.

Открытка понравилась. Рэйчел радовалась как ребёнок. Схватила открытку двумя руками, принялась жадно разглядывать её, потом, оторвавшись, благодарно и как-то доверчиво улыбнулась мне и снова углубилась в созерцание. Потом спрятала открытку в сумку и сказала, что намеревается показать её на работе.

А вечером у нас был ужин со свечами. Рэйчел призналась, что в прошлом году она не получила ни одной «валентинки», в то время, как какая-то Литисия получила целых пять. Зато в этом году открытке Рэйчел позавидовали все подруги. Никто из них никогда не получал «валентинок» с собственным изображением.

16.02.95, четверг

Сегодняшний день запомнится мне двумя событиями. Во-первых, сегодня дочитал сборник статей Толстого. А во-вторых, согрешил напоследок с Таней.

Теперь по порядку.

Последней статьёй в сборнике оказалась «Что такое искусство». Я никогда не считал себя творцом, а только ремесленником, добывающим хлеб свой насущный. Ибо нужно же мне на что-то жить! Но, хотя я никого и не зову к совершенству, всё же я надеялся на некоторую сопричастность искусству. Толстой разметал все мои надежды.

Выходит, что я не только ремесленник, но ещё и поддельщик! И моя деятельность вредна, поскольку отбивает у людей вкус и способность воспринимать настоящее искусство. Доказывается это очень просто: когда я пишу свои картины, мною движет единственное чувство — написать картину.

Вчера, например, я расквитался с Диком. Он получил две картины, я — деньги. Оба мы совершенно убоготворены.

Портрет прабабки понравился Дикю безоговорочно. Он с видом знатока оглядел его и сказал:

— Очень хорошо... Ты сделал её волевой, немного жестокой. Такой она и была в жизни. Всех держала в руках. Тебе удалось ухватить главное...

Ничего я не ухватывал! Я изо всех сил старался передать внешнее сходство, а всё остальное произошло само собой, помимо моей воли.

Зато по части лошадей Дик оказался настоящим занудой. Накануне дня святого Валентина он принёс мне несколько книг с картинками — всё лошади да экипажи. И долго мы не могли с ним решить, какой именно экипаж разместить перед их домом. То вышло слишком бедно, то неправдоподобно роскошно. Остановились на небольшой коляске, запряжённой парой вороных лошадок.

Я всё сделал, как он хотел. Перед белым домиком я разместил коляску, у подножья холма — одёр с сеном. Дикю понравилось, и он унёс домой две неплохие подделки под искусство. А я остался перед недреманным оком Толстого, который не преминул мне напомнить, что потешатели богатой и развращённой публики рано или поздно теряют всякое достоинство, а вместе с ним и человеческий облик.

Вывод один: либо отказаться, толком не начав, от всей этой ерунды, либо посвятить себя настоящему искусству.

Но на сегодня у меня был назначен сеанс. Я уже наделил «Маху обнажённую» чертами Тани и сегодня намеревался сличить работу с оригиналом.

Таня приехала ровно в час. Улыбнулась мне нежно и лукаво, прошла в гостиную, спокойно и невозмутимо разделась и, голая, улеглась на диван. Я растерялся — мне не нужна была её нагота, я не просил её раздеваться. Но чтобы избежать неловкости, я промолчал и постарался казаться невозмутимым.

Таня удивительно похожа на обнажённую Маху! Достаточно было бы перенести Маху на свой холст, и даже неумелая копия сошла бы за портрет Тани. А передо мной всё время была фотография. И я, как мог, старался передать Махе Танины чёточки. Теперь же, любуясь оригиналом, я только кое-где тронул лицо, заставив Маху улыбаться самыми уголками губ, как это делает Таня.

Вышло неплохо. Я смог показать эту особенную Танину улыбку. Во всяком случае, рисунок мне здорово удался. Помню, ещё в школе я боялся линии, я ужасался перед мыслью, что не выведу её. Потом это прошло, я перестал заботиться о форме. Теперь форма удаётся сама собой. Линия точно играет, увлекает меня. И мне остаётся послушно следовать за ней...

— Готово! — сказал я Тане.

Она загадочно улыбнулась, помедлила, потом, не одеваясь, пошла к мольберту. Бросила взгляд на портрет, потом заглянула мне в глаза и тихо сказала:

— Спасибо...

Всё это ужасно походит на историю с Липисиновой, а потому отвратительно вдвойне. Не знаю, зачем я это делал? Ничего, кроме омерзения всё равно не получил. Стыдно перед Рэйчел и обидно за неё. Она так радовалась моей открытке, глупышка.

Что я за чудовище такое? Тридцати лет ещё не прожил, а столько наворотил, что вспоминать противно! И зачем я здесь, в Англии? Рэйчел я не люблю и, нечего себя обманывать, не полюблю никогда. Пишу картины. А зачем? Что, для вечности? Да через пятьдесят лет меня будут воспринимать так же, как того шотландского художника, который писал прабабушку Дика! Пишу на потеху! Потому что я потешатель, я шут! Художник я никудышный, мастерства своего у меня нет, интеллект куриный, фантазия скудная. И странное дело! Ничего, кроме живописи, делать я не хочу да и не умею! Значит, придётся всю жизнь потешать публику портретами. А честнее-то было бы посуду мыть! Но нет! Я развращённый, падший человек с рабской психологией. Скотина я, подленький червяк...

Таня ушла, оставив на журнальном столике деньги. Так в кино оставляют деньги проституткам.

А я ничего не сказал ей, я не смог отказаться от денег. Единственное, что меня утешает, это то, что я не прикоснулся к ним. Вечером, когда Рэйчел пришла с работы, я сказал ей:

— Это Таня оставила за портрет. Возьми, я тебе должен.

Впрочем, это слабое утешение.

17.02.95, пятница

Ура! Сегодня получил второе письмо от Макса! Правда, письмо довольно странное, и мне ещё предстоит поломать над ним голову. К примеру, Макс пишет: *«Это хорошо, что ты вернулся к живописи. Но как стать настоящим художником? Говори с умными, неиспорченными людьми, читай новости из газет о состоянии мира, сочувствуй страждущим и несчастным, разделяй ужин в семейном кругу. Каждый день проводи за мольбертом часы упражнений...»*

Или вот ещё: *«...Возвращайся лучше домой. Ибо в России твой крест стоит, а ты его оставил стоять как-то просто так. А Европе я шлю своё проклятье — там вонь цинизма, плесень тщеславия, жажда славы, богатства, гниль душ и иллюзия жизни...»*

Это ужасно! Либо он обнюхался кокаином, либо вступил в какую-то секту и теперь призывает птиц небесных к публичному покаению. Особенно мне понравилось «Европе шлю своё проклятье».

Правда, насчёт «часов упражнений за мольбертом» он, конечно, прав. Завтра же отправляюсь на этюды! Чем бы я ни занимался здесь, живопись скрасит мой досуг.

Воображаю себе Макса, читающим «новости из газет» и разделяющим «ужин в семейном кругу»!

А может, он женился?!

Нет, он бы написал.

Бред какой-то!

Надо будет позвонить ему. Хотя, какой смысл звонить, если рассказать он ничего не успеет. Рэйчел обижается, когда я часто звоню в Москву или разговариваю подолгу. А вчера я как раз звонил родителям. Так что, на звонок Макс денег не остаётся.

Ладно, разживусь немного — буду каждый день звонить в Москву!

18.02.95, суббота

С недавних пор меня донимает один и тот же сон. То есть вижу-то я разные картины, но все они связаны с ощущением близости кого-то невидимого и незнакомого и с запредельным страхом, вызванным этой близостью.

Сегодня мне снилось, будто Макс, я и Вилен сидим в какой-то комнате. У Вилены на голове огромная кепка, он что-то рассказывает, и Макс увлечённо слушает его. Я пытаюсь что-то возражать Вилену, но так робко и неуверенно, что никто из них не обращает на меня внимания. Вилен, глумливо ухмыляясь, поглядывает в мою сторону и предлагает Максиму куда-то пойти. А Макс, точно

давно ожидая этого приглашения, поспешно встаёт и идёт за Виле-ном. Я, чувствуя своё бессилие, пытаюсь как-то остановить Макса, я взываю к нему, но они только смеются и уходят. И вот я уже вижу себя возле какой-то реки. Это очень странное место: вокруг нет ни души, ни дерева; тихо кругом. Солнце утомительно-яркое, река голубая, не очень широкая, но вода в ней стоячая, мёртвая. Берега высокие, крутые, песчаные, тоскливого грязно-жёлтого цвета. Я медленно иду вдоль кромки воды и вдруг вижу впереди над рекой дом. Коричневый двухэтажный дом с плоской крышей и большими окнами, так что непонятно чего больше — кладки или стекла. Я захожу в дом, в доме нет ни души. Я брожу по комнатам, залитым солнечным светом, поднимаюсь и спускаюсь по лестницам и не нахожу никого. И вдруг я начинаю чувствовать что-то странное. Я не вижу и не слышу ничего особенного, но я именно чувствую, что *он* здесь и смеётся надо мной. Кто *он*, я не знаю, но ужас от ощущения этого присутствия парализует меня.

Наконец я проснулся. Но сон как будто перетёк в реальность, и, даже проснувшись, я ощущал, что *он* где-то здесь, рядом, и боялся пошевелиться.

Ночной кошмар — это не только страшный сон. Иногда моё пробуждение среди ночи подкарауливают уродливые помыслы. И то вдруг вся жизнь моя покажется мне жалкой и ничтожной. И тогда ужас от безысходности и невозможности изменить что-либо сдавит мне сердце. То вдруг вспомнится что-то из прошлого, и стыд заставит ворочаться с боку на бок.

Прошлой ночью я уличил себя в обмане. Мне было страшно и хотелось, чтобы кто-то оказался рядом. Но Рэйчел не было дома. В компании Тани и Наташи она уехала в какой-то клуб. Мне не привыкать, они довольно часто по выходным отправляются в клубы. Сначала мне казалось это странным: собралась быть моей женой, а продолжает жить отдельной от меня жизнью. Выходит, что наша семья — это общее хозяйство. А по-моему, супруги должны до такой степени быть близки, что собственных желаний не остаётся — всё общее.

И вдруг среди ночи я совершенно отчётливо понял, что страх и тоска — это то, на что я сам себя добровольно обрекаю. Ведь жён-то я не по любви, а в погоне за сладкой жизнью. И рассчитывать на что-то большее, чем общее хозяйство, никакого права я не имею.

А свобода? Тусовки, косяки — этого было мне мало. Декларации, законы — это тоже было не то. Я искал большего, я хотел воспарить, я мечтал об абсолютной свободе. И что же я получил? Страх, одиночество и тоску.

Живу с нелюбимой женщиной, потому что расчётлив. Называю себя художником, потому что тщеславен и корыстен. Работы своей стесняюсь, потому что нет в ней никакой правды. Трясусь над каждой копеечкой, даже другу не могу позвонить, потому что суетен и труслив. Этой свободы я искал? О ней мечтал? Нет. Тогда почему?!

Потому что я не искал свободы. Я искал сладкой жизни.

27.02.95, понедельник

Всю неделю ходил на этюды. Пожалуй, один-единственный картон я бы согласился считать удачным. Всё остальное никуда не годится. Может быть, причиной тому зарядившие дожди, которые навевают скуку и мешают работе на пленэре?

Удачный картон я сделал в Kensington Gardens. Был хороший вечер: тихий и серый. По дорожкам сада неспешно прогуливались люди. Город казался спокойным и умиротворённым. Наверное, это небо, укрывшееся неподвижными желтовато-серыми облаками, делилось покоем и тишиной и передавало городу особенную, неяркую и неуловимую красоту.

И мне так захотелось ухватить эту красоту! Чтобы никогда уж больше не отпускать её от себя, чтобы сохранить в себе это ощущение покоя и передать его каждой своей работой.

01.03.95, среда

Вчера у нас в гостях были Таня с Диком.

Я просто возненавидел Таню. Нет, какова мерзавка! Она ведёт себя так, как будто между нами ничего не было: спокойно говорит со мной, и в её взгляде нет ни малейшего намёка на то, что мы теперь чем-то связаны. То ли она презирует меня, то ли эта связь для неё ничего не значит.

Они приезжали по делу. В субботу племяннику Дика исполняется 11 лет, и Дик, желая устроить мальчишке сюрприз, пригласил меня на праздник художником. Я должен буду сделать порядка десяти набросков — по одному с каждого ребёнка.

Приглашению я чрезвычайно обрадовался. И тут же разволновался: что дарить новорожденному, удадутся ли мне наброски.

03.03.95, пятница

Странно. Уже больше недели у Макса никто не подходит к телефону.

05.03.95, воскресенье

Вчера ровно в пять тридцать мы с Рэйчел подъехали к дому сестры Дика, что в Richmond'e. Кажется, это деревушка в черте Лон-

дона. Именно так я всегда и представлял себе Англию: забавные старинные домишки, роскошные современные виллы. Газоны, стриженные кусты, аккуратные дорожки. Так чисто, точно местные жители всё своё время проводят за уборкой улиц.

Мы немного припозднились. Гости, преимущественно дети, уже собрались. В подарок племяннику Дика — мальчишку зовут Питером — мы припасли парочку моих этюдов, из неудавшихся. На одном Катти Сарк, на другом — колесо обозрения на берегу Темзы. Рэйчел, похоже, не поняла меня, когда я назвал эти работы ерундой. Она оправила оба картона в тёмные деревянные рамы, и неудачные этюды превратились в удачный подарок. Кстати, третьего дня Рэйчел кому-то выгодно продала «Вид на галерею Tate». Остальные мои этюды она, обравив, развесила по квартире.

— Это Рэйчел и Кен, — представил нас Дик своему семейству. — Кен художник, это он написал портрет прабабушки, — пояснил он своей сестре.

Сестра Дика Маргарет, очень приятная особа лет тридцати пяти, высокая, стриженная под принцессу Диану, ласково улыбнулась и, пожимая мне руку, сказала:

— Рада познакомиться с вами. Дик много говорил о вас. Портрет нашей прабабушки просто великолепен. Я тоже подумываю писаться у вас.

— Да, Кен становится модным живописцем, — весело подхватил Дик. — Ты ещё не видела портрет Тани, Мэг...

— В самом деле? — изогнув тонкую чёрную бровь, Маргарет обратилась к Тане.

— Да, — лукаво улыбнулась Таня, — в стиле Гойи...

— Oh! — восхищённо заметила Маргарет...

Милые, добрые мои англичане! Как художника они принимают меня таким, каков я есть, точно я сложившийся мастер. Мне приятно, хотя немного стыдно. Другое дело, что кроме живописи я ничем для них неинтересен. И оттого я чувствую себя здесь персонажем. Впрочем, здесь все персонажи. Дик — руководитель отдела продаж. Джеффри — художник-гомосексуалист. Я — русский художник, бежавший в свободную страну. Рэйчел — жена русского художника, бежавшего в свободную страну. Раньше она рекомендовалась журналисткой из «Independent», пишущей о соблюдении прав человека в странах третьего мира, но быть женой русского художника, бежавшего в свободную страну, кажется ей на сегодня более интересным.

В самом деле, англичане — милые люди. Увлекающиеся, ответственные, совсем не жадные. Говорят про них — консервативные. Но это означает только одно: они не склонны к самобичеванию, они уважают себя. А это как раз то, чего не достаёт русским.

Но иногда Англия напоминает мне СССР в худших его проявлениях. Англичане какие-то замороченные. Иметь своё мнение здесь не рекомендуется. И ящики в Hyde-park'e — это всего лишь иллюстрация к поговорке о собаке и караване.

Попробуйте-ка всерьёз заявить, что вы против однополых браков или свободы самовыражения. Да это примерно то же самое, что в своё время усомниться в дееспособности КПСС. Хочешь сладкой жизни — подчинись, прими правила. И запомни: нельзя выступать против того, что можно. А можно здесь многое. И я понял: отмена запретов освобождает от недовольства собой. Но что если свобода от недовольства собой — это всего лишь плата за другую, за настоящую свободу?

В таком раю можно быть сытым, спокойным, счастливым. Но свободным ли? Не знаю.

В сущности, какая разница, как именно навяжут вам рай земной?..

В этот момент точно мяч, упущенный в игре детьми, к нам полетел мальчишка. Худенький, сероглазый, с персиковыми щеками и торчащими во все стороны жёлтыми волосами. Он остановился и вопросительно посмотрел на Маргарет, словно спрашивая: «Кто это такие и почему не дарят мне подарков?».

— Познакомься, Питер, — улыбнулась Маргарет, — это Рэйчел и Кен.

— Привет, Питер, — Рэйчел протянула ему наш подарок, — с днём рождения.

— С днём рождения, Питер, — поддакнул я.

— Спасибо, — Питер осторожно взял подарок и, усевшись тут же на пол, сорвал с него обёрточную бумагу.

Должно быть, он очень удивился, получив в подарок не игрушки и не сладости, а всего лишь картинку в рамках. И, пытаясь, очевидно, угадать скрытый смысл необычного подарка, он напряжённо, сдвинув красивые, как у Маргарет, чёрные брови, вглядывался в рисунки.

Мы, взрослые, с интересом наблюдали за ним и, не говоря ни слова, пересмеивались.

— Вау! — воскликнул он вдруг. — Мама, это Катти Сарк!

— Кен — художник. Это он сам для тебя нарисовал, — открыла секрет Маргарет.

— Вау! — снова сказал Питер и посмотрел на меня так, как дети помладше смотрят на первого учителя, а те, что постарше — на хоккейного идола.

Я постарался улыбнуться ему как можно более дружелюбно.

— Хотите играть с нами в боулинг? — спросил меня Питер.

— В боулинг? — удивился я.

— Да. Хотите?

— Хочу.

Оставив рисунки лежать прямо на полу, он взял меня за руку и повёл за собой.

Собравшиеся у Питера дети играли в саду. На земле в ряд стояли семь пивных банок, и мячом надлежало сбивать их все сразу. Каждому предоставлялось по три попытки.

Справившемуся с задачей предстояло тянуть жетон из жестяной коробки. Все жетоны были пронумерованы в соответствии с номерами призов, разложенных тут же на небольшом столике. Попадались и пустые жетоны. На них можно было получить сладости.

Когда мы подошли с Питером, как раз какой-то толстяк вытянул жетон с номером 17. Под этим номером на столике оказался маленький, размером с сигаретную пачку, медвежонок, сшитый из мешковины. Жалкий и нелепый — я тут же назвал его про себя Выкидышем. Детей этот приз тоже рассмешил, и они принялись скакать вокруг толстяка и выкрикивать какую-то ужасную дразнилку. Смысл её сводился к тому, что если толстый мальчишка вдруг умрёт, все остальные будут только рады. Толстяк, прижимая своего медвежонка-выкидыша к груди, кротко и незлобиво поглядывал на товарищей. Своим смирением и добродушием толстяк немедленно расположил меня к себе. Я даже обиделся за него на эту дурацкую считалку и, чтобы отвлечь от неё детей, сказал, что тоже хочу играть. Дети тут же забыли про толстяка, и одна из девочек подала мне мяч.

Конечно, все банки я сбил с первой же попытки. Дети обрадовались и стали мне хлопать. Я галантно поклонился своим болельщикам. Мои манеры понравились, дети принялись передразнивать меня, кланяясь друг другу, а всё та же девочка, сделав книксен, поднесла мне коробку с жетонами. Жетон мне достался пустой. И пришлось довольствоваться шоколадным сердечком, оставшимся, видно, со дня святого Валентина.

Вскоре детям надоело играть в мяч. Тут же в саду показалась Маргарет и объявила, что «у нас в гостях художник» и каждого, кто только пожелает, «он сейчас же и нарисует».

Дети все пожелали быть нарисованными. Вскинув вверх свои ручки и столпившись кругом меня, они стали подпрыгивать и кричать:

— Меня!.. Меня!.. Нарисуй меня!.. Я первый!.. Я первая!..

Я разволновался, даже руки у меня задрожали. И всё никак не мог сосредоточиться. Зато и удовольствия такого никогда ещё не

получал от работы. Позировали дети серьёзно и терпеливо, точно пытаюсь помочь мне. Рисунки принимали бережно, подолгу и с интересом разглядывали себя и друг друга и радовались даже не сходству, которое, кстати, не всегда достигалось, а просто тому, что кто-то уделил им внимание и нарисовал их.

Лучше всех удался мне толстяк Пол. Да я, признаться, и старался более всего над его портретом. Уж очень хотелось порадовать добряка.

Портрет Пола я бы оценил на твёрдую «3». Всё остальное нукуда не годится.

Но дети и не заметили этой разницы.

Окончился сеанс, и в саду снова появилась Маргарет, и пригласила всех к столу. А после бутербродов и вкуснейших пирожных со свежей клубникой, кто-то из детей предложил пойти в парк помотреть на оленей.

— Пойдём с нами, — сказал мне Питер.

Дети обрадовались, принялись скакать вокруг меня и кричать:

— Пойдём с нами!.. Пойдём с нами!..

Мне было приятно, что дети пригласили именно меня. К тому же с детьми я чувствовал себя проще, чем со взрослыми. И я с удовольствием принял их приглашение.

Рэйчел осталась в доме, а я, захватив с собой блокнот, отправился в парк с дюжиной ребятшек.

Что мне действительно нравится в Лондоне, так это парки. Лондонцам как будто удалось приручить дикую природу. Их парки напоминают мне ручных хищников. С виду лес, да только умытый, причёсанный, тут и там цветами подкрашенный — точно садик хорошей хозяйки.

В Kensington Gardens полно белок. Здесь, в Richmond'e, гуляют олени. Правда, оленей мы так и не встретили, зато дети показали мне пруды. А я сделал ещё двенадцать рисунков.

Мы шли куда-то вглубь парка — я по дорожке, дети врассыпную по газонам.

В это время года в Лондоне уже цветут душистые нарциссы, яркие крокусы и ещё какие-то мелкие белые цветочки, волнующие и обнадёживающие.

До ста лет проживёт человек, а каждую весну будет удивляться и радоваться травке, листочкам, цветкам. Как будто боится, что не придёт весна, не наступит обновление, не зацветут большие цветы...

— Ты мог бы нарисовать? — робко тронул меня за рукав Пол, указав пухлым пальчиком на показавшийся впереди пруд; и так смутился, что даже шея у него покраснела.

Чёрной ручкой я сделал набросок в блокноте и, вырвав листок, передал его Полу.

— Спасибо, — прошептал Пол, принимая двумя руками рисунок.

Дети больше не задирали Пола. Они окружили его и какое-то время молча рассматривали набросок. Потом кто-то из них сказал:

— А мне можно?

И тут же все оживились, запрыгали и закричали:

— И мне, и мне...

Пока я рисовал, они молча стояли рядом и наблюдали за мной. Но как только лист освобождался от скреп блокнота, дети принимались спорить, кому из них должен достаться рисунок. Так, второй рисунок захватил Питер на правах новорожденного. Но чем дальше, тем тише становился спор, и двенадцатый рисунок я, с молчаливого согласия всей компании, передал Мэри — той самой девочке, что подавала мне мяч и коробку с жетонами.

Всю дорогу домой дети несли рисунки в руках. То шли молча, а то вдруг начинали говорить все разом, подпрыгивая, перебивая друг друга и всё сравнивая свои картинки.

А когда мы прощались у ворот дома родителей Питера, дети махали мне ручонками и кричали:

— Good bye, Ken!.. Good bye, Ken!..

Вот такой необычный у меня выдался день. Как будто лучший из тех, что я провёл в Лондоне.

19.03.95, воскресенье

Это ад, мама!

В двух словах: я избил Тима.

И теперь мне угрожают судом из-за какого-то извращения только лишь потому, что я не дал себя изнасиловать. Чёрт возьми! Я искренно считал, что русские не доросли до свободы. Я был готов на всё, чтобы нащупать путь к освобождению. Я хотел свободы, не навязанной законом, а изливающейся из души. Я воображал, что здесь, в Европе, не нуждаются в освобождении. По правде, я ничего о них не знал. Но мне казалось, что они давно цивилизовались и потому настолько свободны, что преступление им ни к чему совершать. И что же я встретил?..

Итак, в прошлую субботу отмечали день рождения Джеффри. Был заказан большой стол в ресторане «Мого». Собралась вся наша компания и какие-то богемного вида дружки Джеффри.

Дружки эти мне сразу не понравились: вели они себя жеманно, бесцеремонно поглаживали друг друга. А один из них — худощавый брюнетик с причёской пологового из московского трактира,

в узеньких очёчках, оправленных чёрным пластиком и в массивных серебряных перстнях, по два на каждой руке, — так нежно и заинтересованно смотрел на меня, что, ей-богу, мне сделалось страшно. Я вдруг ощутил себя точно в компании призраков или вампиров. Вот сейчас они поймут, что среди них чужой, и то-то начнётся!

Слава Богу, всё обошлось! Из друзей Джеффри меня никто не гладил и не приглашал танцевать. Брюнетик так и не осмелился подойти ко мне. После ресторана он бросил на меня долгий плотоядный взгляд, сел в чёрное такси и уехал в неизвестном направлении.

Джеффри объявил, что расходиться ещё рано, и предложил перенести вечеринку в клуб «Turnmills». Предложение поддержали не все. Даже Тим признался, что устал и хотел бы поехать домой. Наташе, познакомившейся в ресторане с каким-то скульптором, тоже не терпелось оказаться в спокойном и уединённом месте. А я, выпив с перепугу лишнего и осовев, давно уже мечтал только об одном: добраться поскорей до постели.

И вот тут-то неумолимому Джеффри пришла в голову совершенно бестолковая и бессмысленная идея, которая в тот момент почему-то показалась всем нам спасительной: пускай желающие веселиться едут в клуб, а желающие отдохнуть поедут на квартиру Джеффри и Тима. Тем более что живут они где-то недалеко от «Turnmills».

— Мы немного потанцуем, а вы нас ждите. Мы приедем, ещё посидим у нас.

Итак, Джеффри, Рэйчел, Таня, Дик и несколько дружков Джеффри отправились в «Turnmills». Меня и Наташу со скульптором Тим повёз к себе.

Тим оказался заботливым и гостеприимным хозяином: Наташу со скульптором проводил в спальню, мне предоставил вельветовый диван в гостиной. А сам решил принять душ и выпить кофе.

Не раздеваясь, я с удовольствием вытянулся на мягких диванных подушках, укутал ноги лежавшим тут же красным пледом с магрибским орнаментом, успел подумать, что нелепо по ночам пить кофе, и провалился куда-то в темноту и тишину.

Проснулся я оттого, что в комнате кто-то был. Каким-то непонятным образом я ощущал это присутствие, и во мне раздувалось беспокойство. Было темно. С улицы доносились редкие звуки. Пахло кофе. Я лежал на боку, лицом к спинке дивана. Проснувшись, какое-то время я оставался неподвижен, прислушиваясь и вчувствуясь. Потом резко повернулся и лёг на спину. Рядом со мной на диване сидел Тим и смотрел на меня.

— Тим? — удивился я. — Что ты здесь делаешь? Ты меня напугал...

— Не спишь? — мягко спросил Тим и улыбнулся, поплёскивая зубами в бродивших по комнате пятнах уличного света.

— Спал, — промурчал я и зевнул.

Но Тим как будто и не заметил моего недовольства.

— Наташа тоже спит, — сказал он.

— А этот... ушёл?

— Дэниел? Нет, он с ней.

Помолчали.

— Наши ещё не приехали? — спросил я, чтобы не молчать.

— Знаешь, — мечтательно проговорил Тим, не слыша моего вопроса, — в этот день ровно шесть лет назад я познакомился с одним человеком. Я возвращался из Эдинбурга, и мы оказались в одном купе. Он был красив как бог. Я сразу влюбился в него. Он тоже был лондонец и дал мне свой телефон. Я позвонил, мы встретились у него и целую ночь занимались любовью...

Меня передёрнуло. Во-первых, рассказы об однополой мужской любви не находят во мне сочувствия. А во-вторых, зачем он заговорил об этом?

— А потом, — продолжал Тим, — потом он меня бросил.

Я лежал на спине, подложив правую руку под голову и уставившись в потолок.

Опять помолчали.

— Лондон — очень прогрессивный город, — сказал вдруг Тим.

— Угу, — ответил я.

— Уже в XVIII веке в Лондоне было что-то около двадцати Гей-клубов!

Тьфу!.. Опять за своё!..

— Для того времени, я думаю, это большая редкость. Нет, был, конечно, закон, который запрещал. Но разве можно запретить любовь! — Тим тихонько засмеялся. — Присяжные всегда оправдывали геев, — он упёр на слово «всегда».

Тим замолчал, звонко шмыгнув носом и продолжал:

— Здесь, в Bloomsbury... здесь была «Bloomsbury Group»... Ты знаешь?..

Я насторожился. Что-то происходило с Тимом, в нём что-то менялось.

— Многие из них имели любовников обоих полов. Знаешь, у тебя красивые ноги... такие длинные...

— Ты что, охренел? — в голос по-русски сказал я и приподнял ся на локте.

Наверное, он не понял меня и в темноте не видел моего лица, потому что в следующую секунду я почувствовал его руку на своей ляжке.

— Виржиния Вульф... — хриплым, сдавленным голосом про- бормотал он.

Не помня себя от бешенства, я рванулся, кое-как освободился от пледа и, вскочив на ноги, ударил Тима кулаком в лицо.

Тим повалился на диван, протонал глухо и попытался подняться. Но я, охваченный злобой, азартом и какой-то дикой радостью — радостью, что наконец-то можно поквитаться с кем-то — ударил его ещё раз. Потом приподнял за свитер с дивана, развернул к себе лицом и снова ударил.

— Виржиния Вульф ему... — бессмысленно цедил я.

Тим не сопротивлялся. Он был слабым и лёгким, так что я без особого усилия управлялся с ним. Он только тихонько постанывал и прикрывал руками лицо. «Рожу бережёт, сволочь!..», — промелькнуло у меня.

После третьего или четвёртого удара я остановился.

Всё прошло. Я вдруг охладел. Мне не было жаль Тима, скрючившегося и неопределённо шевелящегося на диване. Но бить его больше я не хотел. В темноте я заметил на диване тёмные пятна и понял, что это кровь. Я, не спеша, оделся в прихожей и ушёл, не думая, куда и зачем.

В каком-то безлюдном переулке, не доходя Great Russell Street, я увидел двух молодых особ, нарядных и подвыпивших. Отчаявшись отыскать уборную, они без церемоний присели на мостовой. Одна из них, темнокожая, придерживая трусики, делала своё дело и без умолку трещала о чём-то над ухом своей белокурой подружки. Та смеялась навзрыд, всхлипывала и никак не могла усидеть на месте, то падая на колени, то раскачиваясь из стороны в сторону.

Поддавшись какому-то звериному любопытству и не успев сообразить, как следует вести себя, я остановился в нескольких шагах и уставился на них. Темнокожая заметила меня, кивнула подружке и громко, обращая ко мне, сказала:

— Эй ты! Ты что, никогда не видел чёрную женщину?

Блондинка захрюкала от смеха.

— Писающую на мостовой — никогда, — очнулся я и, отвернувшись, прошёл мимо.

Они захохотали и что-то крикнули мне вслед. Но я уже не слушал.

С Great Russell Street я свернул на Charing Cross. Я шёл в Soho, чтобы найти такси — они там дежурят прямо на улице. Усевшись в первую же машину, я поехал домой.

Дома, выйдя из душа и погрузившись в душистую прохладу постели, я испытал неопишное блаженство. Растягивая удоволь-

ствие, я лежал на спине, поёрзал, поёжился, потянулся, потом повернулся на бок и тут же уснул.

Проспал я до полудня.

Проснувшись, я затосковал, не сознавая ещё, почему. Вспомнив Тима, я понял, что самое неприятное у меня впереди. И приготовился ждать.

Рэйчел приехала домой только к пяти. Я знал, что она не захочет говорить со мной, и, разозлившись заранее, решил и сам молчать. Но Рэйчел продержалась недолго. Через пару часов, разбив на кухне стакан, она в голос разрыдалась.

— Что ты наделал? — взорвалась она криком, когда я, прибежав на шум, стал подбирать куски стекла с пола. — Что ты наделал?

Я молчал.

— Они хотели вызвать полицию. Я просила... Тим хочет подавать в суд, — она стояла посреди кухни и плакала, обхватив ладонями щеки. Очки у неё смешно скособочились, но она, казалось, ничего не замечала.

— Я сам на него подам в суд, — не выдержал я. — Он собирался меня изнасиловать.

— Ты врешь! Ты врешь! — она оторвала от лица руки. — Он сказал, что просто прикоснулся к тебе!

— Просто прикоснулся? — я посмотрел на неё снизу вверх.

— Ты думаешь, ты мужик? Да? — выкрикнула она по-русски и сделала шаг в мою сторону.

— А ты думаешь, я кто? — усмехнулся я.

— Ты... ты дикарь! — кричала она по-русски. — Ты... азебьян! Никто не хочет даже видеть тебя! А через несколько дней наша свадьба!..

И она в голос зарыдала, завывала.

— Азебьян, Рэйчел, это армянская фамилия. А то, что ты имеешь в виду, называется «обезьяна». Перед Тимом я извинюсь. И прошу тебя: не плачь!

— Гомосексуализм — это не порок, — всхлипнула она. — Это просто другие люди...

— Да, — вздохнул я, — это улыбка вечности...

— ...и это понимают в цивилизованных странах. Если тебе не понравилось, что Тим прикоснулся к тебе, ты мог бы просто сказать ему об этом. Все говорят, что ты не умеешь себя вести, потому что... — она запнулась.

— Ну и почему?..

Я знал, что она хочет сказать. Я понял это по её заминке и по испугу, промелькнувшему в глазах. Но я видел, что говорить об этом ей неприятно, и именно поэтому хотел заставить её говорить.

— Потому что ты... из такой страны! — гордо заявила она, перестав плакать и втягивая носом.

Мне стало смешно.

— Из какой страны?

— Третьего мира, — сказала она, глядя на меня с любопытством и страхом, точь-в-точь, как её дружки, когда мы знакомились в кафе.

— Значит, третьего мира? — спросил я, высыпая осколки в мусорное ведро. — Именно третьего?

— Да, третьего.

Я вдруг понял: она боится, что я и на неё наброшусь с кулаками. И только слабая надежда на мою цивилизованность удерживает её и побуждает говорить. И мне действительно захотелось прибить её. «Ты этого боялась, ты думала, что я на это способен — так получи, не хочешь тебя разочаровывать!»

Но я сдержался. И зачем-то ляпнул:

— А Наполеон называл англичан совершенно дикой расой. Поняла?

— Почему? — растерянно спросила она.

— Потому что Англия обворовала полмира, разжирела на ворованном, а теперь поучает и тех, кого уже обворовала, и тех, кого только собирается обворовать, — объявил я, намыливая и споласкивая руки.

— Англия защищает принцип свободы и равенства всех перед законом, — вдруг завелась Рэйчел. — Англия защищает права человека во всём мире!

Я пожалел, что заговорил с ней об этом.

— Ни хрена она не защищает! — сказал я по-русски.

И, вытирая руки полотенцем, по-английски добавил:

— Как будто всё дело только в правах и законах!

И не дожидаясь, что она мне ответит, вышел из кухни.

Она осталась на месте.

Из-за кровоподтёков Тим не явился на работу. А поскольку они с Рэйчел работают вместе, уже в понедельник все сослуживцы Рэйчел узнали о происшедшем и, осудив меня, назвали мой поступок варварским.

На 22-е число была назначена наша свадьба. Но ни друзья, ни коллеги не поддержат Рэйчел, если она, вместо того, чтобы выразить свою солидарность Тиму, как ни в чём не бывало выйдет замуж за его обидчика. Рэйчел боится, что после этого от неё все отвернутся. Бедняжка Рэйчел! Она совершенно потерялась и не знает, что теперь делать. Готово платье, назначено время венчания, про-

думано угощение. И каждый вечер на меня сыплется град пощёлок. Пока я терплю и молчу, но не знаю, надолго ли меня хватит.

В среду Рэйчел встречалась с Наташей и Таней, и те посоветовали ей отложить свадьбу. Пройдёт время, исчезнут синяки с лица Тима, он забудет обиду — и вот тогда-то нам можно будет пожениться. Конечно, необходимо, чтобы я извинился перед Тимом.

А у меня предчувствие: если мы не поженимся сейчас, мы не поженимся уже никогда. Предчувствие крепнет во мне с каждой минутой и становится убеждением. Как будто давно принятое, но неосознаваемое решение напрашивается теперь к исполнению.

Это предчувствие взбудетенило во мне взвесь новых чувств. Я не хочу жить с Рэйчел и буду рад возможности расстаться с ней, но я готов терпеть её ради достижения своей конечной цели — гражданства Великобритании. Моя собственная корысть вызывает во мне отвращение. И я боюсь, что отвращение это разрастётся во мне со временем до таких пределов, что мне будет невозможно жить с ним. Но если я расстанусь с Рэйчел сейчас, мне придётся уехать домой, а я успел привыкнуть к порядку, и родная бестолковщина уже страшит меня. К тому же вести с Родины приходят неутешительные: Рэйчел говорит, что в России неизбежна гражданская война; Дик где-то вычитал, будто самые красивые проститутки — русские; все здесь напуганы какой-то русской мафией, которую и в глаза-то никто не видел.

Но самое неприятное для меня — это зависимость от Рэйчел. Я искал свободы, я верил в свободную Европу. И вот попал в кабалу, запутался в каких-то дрязгах. И опять же предчувствую: ради достижения конечной цели мне придётся преодолеть ещё немало затруднений, и несвобода моя только усугубится со временем.

А есть ли свобода на свете? И кто же может быть свободным? Или прав был Вилен: свободы следует в преступлении искать?

В пятницу Рэйчел была у своих родителей. Не знаю, что именно она рассказала им, но мама посоветовала отложить свадьбу.

— Не стоит жениться впопыхах и назло всем, — сказала она Рэйчел.

В субботу, после сомнений и тягостных раздумий, Рэйчел решила: свадьбу откладываем на неопределённый срок, до тех пор, пока нелепое происшествие не будет забыто.

Я воспринял новость равнодушно. Мне надоело думать об этом.

22.03.95, среда

Сегодня день нашей несостоявшейся свадьбы. Наверное, по этому случаю Рэйчел особенно ласкова со мной. Приняв решение

отложить свадьбу, она тут же успокоилась и уже строит планы. А я, как это не раз случалось со мной, охвачен безразличием. Я где-то читал, что такое бывает с приговорёнными к смертной казни накануне исполнения приговора. Это смирение перед неотвратимостью, усталость от борьбы и, быть может, ожидание предстояния перед Неизвестным.

Ещё третьего дня Рэйчел и говорить-то со мной не хотела, а сегодня почти заискивает. Чувствую себя обманутой девицей, которой соблазнитель, не глядя в глаза, суёт деньги.

— Хочешь, поедим отдыхать вместе? — спросила меня Рэйчел за ужином. — Подождём, пока всё здесь уляжется. А?

— А деньги? — буркнул я.

Рэйчел рассмеялась.

— Ты не понял! Мы поедим в наш дом на Гомере! Деньги нужны только на билеты и на питание.

Я пожал плечами.

Конечно, я не против отдыха, тем более на Канарских островах. Но, признаться, я так устал от сюрпризов, что совершенно не хочу куда-то идти или ехать. Последнее время я сижу целыми днями дома, так что даже кеды мои марки «Victory» покрылись слоем пыли!

«Victory»... Что за название такое? Кого я в них победить должен? Только ноги потеют, как у прапора!

Но нет! Мои кеды — это частица современного мира! Этим плохоньким башмачкам так хотелось быть купленными, что они лебезили передо мной, лстили мне, расточали обещания, будили тщеславие — играли на дурных свойствах моей натуры. Они добились своего. Они попирают улицы Москвы и Лондона. Их следы, возможно, отпечатались рядом со следами башмаков сильных мира сего. Но когда-нибудь я выброшу их в мусорный бак и злорадно поспею над полинявшей вышивкой «Victory».

Целыми днями сижу без дела. Писать не хочу. Да и зачем живопись, когда есть фотокамера?

Тут я, правда, немного зарисовался, поскольку ответ мне давно известен. Всё дело в том, как писать. А писать-то можно и клопов с тараканами.

Но нет заказов, и опускаются руки.

А профессионализм, как взывает ко мне Толстой, есть первое условие распространения поддельного искусства. Только, как видно, ждать мне стабильного дохода от живописи не имеет никакого смысла. Вот и выходит, что ни к искусству я отношения не имею, поскольку суетен, малодушен и тщеславен, ни денег заработать не могу, поскольку не согласен фекалии по холсту размазывать.

Другими словами, на маленькую-то подлость я готов пойти, а вот на большую — духу не хватает. Чтобы сорвать в жизни куш, нужно быть готовым совершить и, главное, после принять большую подлость. Не нужно убивать, не нужно грабить. Достаточно просто предать самого себя. А тому, кто на такое предательство не готов, не стоит даже и мечтать о благах и сладкой жизни.

А о свободе?

Чтобы хоть как-то занять себя читаю буддийские книжки Рэйчел. «Нет ничего дороже самого себя», — прочитал я в одной книге и усмехнулся. И тут же: «Не люби ничего, ибо любить в этом мире нечего. Познай ничтожество всего сущего. Не желай ничего, не совершай ни худых, ни добрых дел. Ибо и худые, и добрые дела приводят к новому перевоплощению. Конечная цель — избавление от перевоплощений, прекращение личного бытия и полное освобождение».

Заманчиво.

Только, по-моему, проще сразу повеситься.

Буддизм — религия мёртвых.

25.03.95, суббота

Решено. В начале апреля я еду на Гомеру. Буду жить в доме семьи Рэйчел. Сама Рэйчел присоединится ко мне через две недели. Мы пробудем там до конца апреля и в первых числах мая вернёмся в Лондон. Приблизительно десятого мая состоится, наконец-то, наша свадьба.

Надо будет написать Максу письмо и сообщить свой новый адрес. Странно, но к телефону у него так никто и не подходит.

04.04.95, вторник

Ура! Я на Гомере! Наш самолёт приземлился на острове Тенерифе. Из аэропорта я автобусом добрался до местечка Лос-Кристианос, и дальше чудесный белый паром на подводных крыльях в какие-нибудь сорок минут доставил меня на Гомеру в городок Сан-Себастьян.

После серого Лондона я буквально ослеплён этой бесконечной синевой!

На пароме я, наверное, впервые ощутил себя по-настоящему свободным. Свободен! Свободен от мелочных дразг, от денежного гнёта и от желания всем нравиться! Свободен от зависти, ревности, ненависти! Свободен!

А какие милые, симпатичные здесь люди! Я прямо-таки влюбился в испанцев с первого взгляда. И особенно в испанок. По парому ходила одна — стюардесса. Предлагала карамельки. Раскрасоточка...

Кстати, уже на пароме я обзавёлся знакомствами. Клаус Баслер — баварский немец, проживающий постоянно на Гомере и возвращавшийся из Германии, где гостил у своего отца. Выяснилось, что его дом — в деревушке Вайермосо, конечном пункте и моего путешествия! Мой попутчик оказался моим соседом.

Судя по всему, Клаус — добрейшей души человек. Хотя и неказистый внешне. Наверное, он не чистокровный немец, в нём нет ничего арийского. Это не белокурая бестия, он похож, скорее, на первобытного человека. Он невысок ростом и сутуловат, у него длинные руки, массивная челюсть и низкий лоб. Но зато он какой-то настоящий!

У Клауса большая семья и хозяйство. Он пригласил меня в пятницу в гости, и мы расстались с ним совершенными друзьями.

Пока мы добирались до Вайермосо, я немного обиделся на Гомеру: здесь совсем не так солнечно, как на Тенерифе. Но Клаус объяснил, что за солнцем придётся ездить на юг острова, а Вайермосо почти всегда окутана лёгкой дымкой. Понятно теперь, почему мои англичане выбрали именно Вайермосо!

Я без труда нашёл своё новое пристанище. Это двухэтажный белый домик с плоской черепичной крышей. В Вайермосо все домики такие. Рэйчел говорила, что когда-то, лет сто назад, в этом доме жила одинокая швея. На втором этаже до сих пор стоит её швейная машинка. Теперь здесь поселился одинокий художник. И может, когда-нибудь к швейной машинке присоединится мольберт.

Итак, в моём распоряжении семь комнат, просторная терраса и ветхая пристройка. На кухне, к превеликой своей радости, я обнаружил целый пакет картошки, несколько банок джема, чай и бутылку красного сухого вина. Я нажарил картошки и устроил себе на террасе королевский ужин с вином и десертом.

Приятно с бокалом вина любоваться закатом! Облака рассеялись, показалась похожая на лодку луна. Приглушённую вечернюю голубизну заходящее солнце выбелило на горизонте так, как и белильщик на земле не выбелит. В ручье, что течёт за домом, кричат лягушки. Окружившие меня чужие и незнакомые запахи тормашат и дразнят. И всё это так ново, так необычно, так волшебно! Я поневоле заражаюсь неизъяснимым волнением, я возбуждаюсь и начинаю ждать. И в этом томительном состоянии я нахожусь до тех пор, пока тихая, мягкая ночь не сменяет нежный, девственно-трепетный вечер.

05.04.95, среда

Утро заглянуло ко мне в комнату голубым глазом и ослепительно улыбнулось. Прекрасный денёк! И я прекрасно отдохнул после

дальней дороги. Я полон сил и желания работать. Ночью я понял одну очень важную вещь: каждому человеку в жизни нужно избрать свой собственный путь и с него не сворачивать, делать своё дело до конца и несмотря ни на что. Главное, не ошибиться с выбором. А рассуждения по поводу силы и величины таланта — это всё пустое, это тщеславие. Все сосаки, как известно, лают на разные голоса.

Позавтракав остатками картошки, решил зарисовать вид с террасы — «Утро в Вайермосе». Во время работы я вдруг заметил на ступенях террасы двух мальчишек лет по одиннадцати. Они наблюдали за мной, и когда я их обнаружил, слегка смутились. Мы говорили недолго, потому что с трудом понимали друг друга. Они хотели знать, из какой я страны. Услышав, что я из России, очень удивились и поинтересовались, один ли я здесь. Наверное, почувствовав мне, обещали приходить говорить со мной.

Этюдом я остался весьма доволен. Пожалуй, на сегодня этот этюд — лучшая из моих работ. Воодушевлённый успехом, я отправился на этюды к морю и по дороге сделал два картона. Один хуже другого. В одном недоработал, в другом — переработал. Тот же час, под бичами неудачи, от меня бежали и вдохновение, и работоспособность. И когда я доплёлся до моря, меняхватило только на то, чтобы искупаться.

Хорошо ещё, что я не заплывал далеко и, заметив, что возле моего этюдника трётся какой-то малый, тут же поспешил к берегу. Все мои вещи оказались целы, но, недовольный появлением длинноволосого незнакомца, я повернулся к нему спиной и нарочно стал перебирать своё добро. Я хотел уязвить его, показав, что не очень-то ему доверяю и хочу проверить, всё ли на месте. А этот наглец всё время крутился рядом и улыбался. Потом он сказал:

— Hello!

— Хэло, хэло... — буркнул я, всё ещё чем-то недовольный.

— Я живу вон там, — незнакомец указал куда-то наверх.

— Где? — я проследил за его рукой, но кроме голых скал ничего не заметил.

— Вон там, — он снова махнул куда-то.

Наконец в скале я разглядел расщелину, а рядом, на выступе, несколько консервных банок.

— Урс, — сказал незнакомец и протянул мне руку.

— Прости?

— Меня зовут Урс, — повторил он и улыбнулся ещё шире.

Мы познакомились. Оказалось, что Урс приехал из Швейцарии к своему другу Джейкобу. Джейкоб живёт где-то то ли на Гомере, то ли на Тенерифе, но где именно, Урс не знает. По-испански Урс тоже не говорит.

— Как же ты будешь его искать?

— Не знаю, — пожал Урс плечами и засмеялся. — Хочу сплавить на Тенерифе.

— Тогда тебе надо в Сан-Себастьян, — сказал я, — там паром.

— Нет, я сам, — и он замахал руками, изображая, что плывёт брасом.

— Как сам? — не понял я.

Он засмеялся и ещё энергичнее замахал руками.

— Да здесь километров шестьдесят!

— Семьдесят, — поправил Урс.

Я смотрел на него и не мог ничего понять.

— Ты художник? — Урс кивнул на этюдник.

— Да.

— Я тоже художник, — сказал Урс. — Только у меня нет такого ящика. Он мне не нужен.

— Ты здесь ничего не пишешь?

— У меня есть большой чемодан, — сказал Урс и показал руками размеры своего чемодана. — В этом чемодане я вожу с собой самые большие тюбики красок, свои старые майки и подрамник. Понимаешь?

— Нет, — честно признался я.

— Смотри, — сказал Урс и стал мне показывать. — Беру старую майку... натягиваю её на подрамник... потом беру тюбик и делаю так... — и воображаемым тюбиком он стал мазать по воображаемой майке.

Я смотрел на него как зачарованный.

— И что получается? — поинтересовался я.

— Картина, — совершенно серьёзно сказал Урс. И добавил:

— Я три месяца не мылся.

— Почему? — не понял я.

— Некогда было, — посетовал Урс. — Сначала из Швейцарии в Испанию — там теплее. Потом в Португалию, там вино покупали за доллар. Потом в Марокко — там тепло, там мандарины. Все там остались, а я сюда, к Джейкобу. Одному спокойно. Здесь вымылся, — он кивнул на море, — постирался.

— Кто ты, Урс? — взмолился я.

Он удивлённо посмотрел на меня и сказал:

— Хиппи...

Мы договорились встретиться с ним здесь же завтра утром. Я пообещал принести Урсу бутылку вина и два загрунтованных картона.

По дороге домой я зашёл в магазин на площади и купил кое-какие продукты: хлеб, молоко, масло, рис. Но дома выяснилось, что

молоко — это вовсе не молоко, а молочный напиток красного цвета с запахом клубничной жевательной резинки. Но идти в другой раз за молоком мне не хотелось, и я сварил кашу на клубничном напитке.

На обед у меня была красная рисовая каша с запахом жвачки. Может быть, все гомерианцы едят такую кашу? Может быть, это национальное гомерианское блюдо? В любом случае, для меня это так же необычно и ново, как запахи местных цветов, крики осла и волнующий, обдирающий душу южный закат. Красная каша — ещё одно гомерианское впечатление.

Завтра я собираюсь в гости к Клаусу. Идти без подарка мне неудобно. Я решил написать для Клауса натюрморт. На террасе я соорудил композицию: накинул на стол белую скатерть, поставил медный чайник, глиняное блюдо, бросил ветку лилового вьюна, разросшегося в саду, а с краю примостил маленькую алюминиевую сахарницу.

Остаток дня я убил на этот проклятый натюрморт. Чтобы не разбирать композицию, ужинать пришлось в комнате, и когда дело дошло до чая, за каждой ложкой сахара я отправлялся на террасу. Потом только мне пришлось в голову, что можно было подойти к столу с чашкой и положить весь сахар сразу.

Вечером позвонила Рэйчел. Я очень удивился, когда услышал её голос, и вдруг понял, что ни разу ещё не вспомнил о ней. Она спросила, как я добрался и как устроился. Сказала, что отправила мне письмо, «а там сюрприз». Милая, добрая, заботливая Рэйчел! Почему бы мне не любить её?

06.04.95, четверг

С утра отправился к морю, прихватив, как и обещал Урсу, бутылку вина и картон. По пути сделал два этюда: «Вид на море» и «Вид на Вайермосо». Удались оба. Насвистывая, я двинулся дальше.

Но Урса у моря не оказалось. Не оказалось его и в пещере. Здесь повсюду разбросаны его вещи и пустые консервные банки. Но большого чемодана я так и не увидел.

Я решил подождать Урса и искупаться. Но не успел я войти в воду, как море выплюнуло на берег какой-то предмет. Я подошёл поближе и — о, ужас! — я узнал сандалию Урса! Вчера он был именно в таких, открытых, с петлёй для большого пальца, кожаных сандалиях. Значит, он, не дождавшись меня, поплыл на Тенерифе. Отчаянный тип! И тут же у меня мелькнула мерзкая, корыстная мыслишка: что, если море отдаст и кожаный браслет Урса? Вчера я заметил на нём симпатичный кожаный браслет. Может, стоит подождать и браслет? А, может, вынесет и тело?

Но, ужаснувшись собственным мыслям, я поспешил домой. Нужно было подготовиться к визиту.

Баслеры встретили меня радушно. Жену Клауса зовут Николь. Эту симпатичную, пышную блондиночку я назвал про себя Гретен: мне кажется, такими именно и должны быть немки. Старшему сыну Клауса Эриху тринадцать лет, дочке Зилке — одиннадцать, а младшему Мартину недавно исполнилось шесть.

Мой натюрморт всем понравился. Они по очереди, включая детей, с интересом разглядывали его. А Николь, смеясь, дважды переспросила, подарок ли это.

Пока готовился обед, Клаус предложил осмотреть его владения. Клаус держит свиней и кур. На его земле растут картофель и помидоры, лук и паприка, морковь, спаржа и апельсины. У Клауса есть всё, что нужно для жизни. И ничего лишнего.

Между делом Клаус рассказал мне свою историю. Он родился на юге Германии в городе Аугсбурге. Когда ему было десять лет, отец взял его в поездку по Италии. И вот тут-то Клаус впервые понял, что не любит ни Германии, ни немцев. Открытия он слагал в сердце своём и, когда в шестнадцать лет увидел Испанию и Францию, окончательно убедился, что сумрачная Германия ему ненавистна. Отец Клауса владел сетью каких-то магазинов и хотел приобщить к торговле сына. Но неказистый и застенчивый Клаус, с детства мечтой о синих морских просторах и белом дурманящем олеандре, однажды удивил отца, примкнув к движению хиппи.

Воображаю себе Клауса с длинными волосами — настоящий неандерталец!

Отец Клауса, человек прагматический, планирующий каждый свой день, был раздавлен выходкой сына.

Но время шло, Клаус повстречал Николь, и нужно было подумать о будущем. Клаус оказался перед выбором: торговля или фермерство — семья Николь имела большое хозяйство. Подумав немного, познакомившись с крестьянским трудом, Клаус ненавистной торговле предпочёл фермерство. И снова отец Клауса затаил обиду.

А вскоре Клаус с Николь отделились от родителей, обзавелись собственным хозяйством и принялись плодиться и размножаться и добывать хлеб свой в поте лица. После третьих родов Николь стала прихварывать. Доктора настаивали на южном климате, и вот однажды Баслеры собрались в путешествие. Была зима, и в туристических агентствах им предложили Юго-Восточную Азию и Канарские острова. Азия оказалась не по карману, и Клаусу с Николь ничего не оставалось, как ехать на Гомеру. А вернувшись домой, Клаус объявил, что не прочь был бы перебраться туда насовсем. И Николь поддержала его.

Отец Клауса разразился в адрес сына проклятиями. Но Клаус и тут поступил по-своему: продал имение, купил землю и дом в Вайермосо и навсегда покинул Германию. Прошло несколько лет, прежде чем отец согласился на свидание с сыном.

Сколько же силы в этом неказистом Клаусе! Сколько упорства и жизненной стойкости! Что кинул он в центре Европы и что хотел найти здесь, на краю света? Как он живёт, чему радуется, свободен ли он? Глядя на него, я испытал сильнейшее желание вернуться в Россию. Построить свой дом где-нибудь под Москвой, поселиться в нём с родителями, украсить стены своими картинами. Писать, работать в саду, ходить в гости, растить детей...

За обедом Клаус признался, что рассказал обо мне своему приятелю Пако — хозяину бара на площади, — и отцу Доминго — местному священнику. И тот, и другой загорелись желанием заказать у меня работы. Пако хочет что-нибудь типично гомерийское, а отец Доминго — две картины для крестильной комнаты. Обещают заплатить за работу. Клаус сказал, что отец Доминго намеревается лично подобрать модели.

В Плайя-де-Сантьяго Клаус занимается отделкой дома какой-то своей соплеменницы. Это городок в южной части острова, где всегда солнце, где не бывает туманов. Завтра Клаус собирается поехать туда на три дня и предлагает мне составить ему компанию. С восторгом я принял его предложение!

В миллионном городе я был никому не нужен, у меня не было ни друзей, ни единомышленников. А здесь, в деревне на краю света, у меня уже столько знакомых, что я не успеваю делать визиты. Меня зовут в гости, приглашают на прогулки, предлагают работу. Об этом думал я, когда довольный, сытый и чуть пьяный, возвращался домой от Баслеров.

По пути я решил спуститься к морю, посмотреть, не вынесло ли тело Урса. Тела я не нашёл, зато в пещере явно кто-то побывал. Вещей стало как будто меньше, а на полу появились тюбики из-под краски. Действительно самые большие тюбики, какие только бывают. Чемодана по-прежнему я не обнаружил. Неужели Урс плавает туда-сюда? Да ещё с чемоданом?

Урс напоминает мне Макса. С тою лишь разницей, что Урс отщипывает понемногу от одного куска, а не надкусывает всё подряд. Урс может бродить по свету, переплывать море, двигать горы. Неважно, что всё это бессмысленно. Ум его всё время занят, ум его не скушает.

Урс жив. И нечего больше думать о нём.

Сегодня надо пораньше лечь спать, ведь завтра я отправляюсь в путешествие по острову Гомера!

10.04.95, понедельник

Вчера вечером мы вернулись с Клаусом из Сантьяго. Красивое местечко, правда, нет того первозданного очарования, что хранит Вайермосо. Кругом дорогие отели, рестораны, бассейны и виллы. Но я всё же сделал один неплохой картон. И прекрасно загорел.

Я решил помочь Клаусу в строительстве. Дом, отделкой которого он занят, находится в горах. И ведёт к этому дому узенькая горная тропка. Подъехать на машине к дому невозможно. А между тем, нужен цемент, нужна плитка и черепица. Именно в таких случаях гомерийцы прибегают к помощи ослов. Оказалось, что у Клауса уже была договорённость с владельцем белого бигго⁸.

И хозяин животного Хуан, и сам ослик работали на славу. Я никогда прежде не видел так близко осла. Что за славное животное! Какие печальные и умные глаза! Какая выносливость и готовность работать! С двумя огромными корзинами по бокам, осторожно переступал он тонкими ногами и гулко постукивал копытцами, мерно, в такт шагу, покачивал головой и мелко прядал длинными, разведёнными в стороны ушами.

Сам Хуан — весельчак, болтун и бабник. Два года назад он работал в Германии и водил там дружбу с какими-то русскими, от них и научился немного языку. Это обстоятельство сразу расположило меня к Хуану. Хотя его познания сводятся преимущественно к нецензурной лексике, и просто поговорить по-русски у нас не получается. Но мне смешно слушать его бесконечные рассказы о любовных похождениях. Рассказы эти он излагает на плохом английском, приправленном какими-то страстными испанскими словечками и отборными русскими ругательствами.

— Bobo!.. hortera!.. maricon, puto maricon!.. — восклицал Хуан по поводу некоего Пабло, мужа Аниты. И сверкал похожими на маслины глазами.

Досталось и коварной Аните, не пустившей Хуана в свою спальню в отсутствие Пабло. Бедняжку Аниту Хуан приложил по-русски.

— Правду ли говорят, что ты художник? — недоверчиво прищуриваясь, спросил меня Хуан, когда мы втроём, устроив небольшой перерыв, присели отдохнуть и выпить пивка.

— Да, — отвечал я.

— Тогда сделай мне две картины, — попросил он. — На одной, чтобы было море, а на другой — эти горы. Я заплачу!

— Хорошо, — пообещал я. И искренно про себя порадовался. Во-первых, тому, что кто-то взывает к моей кисти. А во-вторых, мне приятно быть полезным этим простым и добрым людям.

⁸ Осёл (исп.)

А Клаус всё помалкивал и только, глядя на нас, добродушно посмеивался.

Мы расстались с Хуаном друзьями. Я пригласил его в гости, и он пообещал, что приедет ко мне на своём осле.

— Когда ты доедешь, его уже там не будет, — напоследок подал голос Клаус.

На что Хуан выругался по-русски, и мы с ним расхохотались.

— Я научу тебя ругаться по-испански, — заверил меня Хуан, протягивая на прощание руку. И, подмигнув, добавил:

— Женщинам это нравится...

А сегодня я побывал в церкви. Клаус успел договориться с отцом Доминго, и тот встретил меня у дверей храма в одиннадцать.

Отец Доминго оказался толстым, гладко выбритым молодым парнем. Как все гомерианцы, он говорлив и улыбчив. Пожав мне руку, он объявил:

— *Пжалста, дасвидань, огурци солёни.*

И тут же, не дав мне опомниться, ткнул себя указательным пальцем в грудь и пояснил:

— Интеллигенто!

И поднял палец вверх.

Потом он провёл меня в храм, показал крестильную комнату и объяснил, какие картины хотел бы увидеть в храме.

— Пусть на переднем плане будет купель и женщина с младенцем, — шёпотом говорил он. — А рядом пусть будет Спаситель. Как будто это простой человек, но все должны понять, что это Спаситель. А на второй картине будут дети в храме. Вот что: приходи в воскресенье на службу, будет много народу, и дети будут. Модели я уже начал подбирать, — и он подмигнул мне. — Может, уже в воскресенье покажу.

А когда мы вышли во двор, отец Доминго махнул в сторону храма и утвердительно сказал:

— Fog you...

После посещения церкви я немного расстроился. Одно дело — написать чайник и вьюн, и совсем другое дело — написать Богочеловека. Хватит ли у меня умения и чувства? И потом, для того чтобы писать Богочеловека, нужна вера. Если веры нет, получится, в лучшем случае, Человекобог. Но едва ли это подходящий образ для церкви.

Пожалуй, не стоит мне братья за эту работу.

Но на службу в воскресенье я всё-таки схожу.

11.04.95, вторник

Прекрасный день и чудесный вечер!

В Вайермосо было пасмурно, но до моря облака так и не дошли. Поэтому почти весь день я провёл на берегу. Сделал два картона, купался, грелся на камнях. Потом на пляже появилась влюблённая парочка. Они так застенчиво мне улыбались, что я почувствовал себя лишним и предпочёл убраться. Я поднялся на скалу, где была пещера Урса, и расположился на небольшом уступе. Отсюда я мог видеть и море, и пляж, и даже тропинку, ведущую с пляжа в деревню.

Я сидел на камнях созерцающим истуканом. Море заворжило меня, глядя на его бесконечную синеву, слушая неспешный шёпот, вдыхая горько-солончатый запах, я точно выпал из времени. Очнувшись, я почему-то вспомнил о влюблённых, которых оставил на пляже.

Они лежали на песке обнявшись, слившись в поцелуе. Я усмехнулся. И тут заметил, что к пляжу по тропинке продвигается целая ватага детей.

Как странно! Ни дети, ни влюблённые ещё не знают, что приближаются друг к другу. Все заняты своим делом: влюблённые целуются, дети идут вперёд. А я уже знаю, что произойдёт через несколько минут. В известной мере я могу стать вершителем судеб этих людей. Например, смогу остановить детей и не пустить их на пляж. Конечно, это им не понравится. Зато я позволю влюблённым не прерывать поцелуй, и, быть может, за этим поцелуем последует предложение руки и сердца. А от союза в дальнейшем родятся гениальные дети, которые произведут переворот в науке или изменят геополитическую ситуацию в мире.

А что до нарушителей спокойствия — детей — я смогу оградить их от развращающего неокрепшие души зрелища. И, кто знает, один из них, благодаря мне, совершит в будущем на одну глупость меньше.

Пока я рассуждал, мои влюблённые слышали детские голоса и распались, как рассечённое яблоко. Дети не обратили на них никакого внимания. Побросав свои вещи и подняв визготню, они устремились в море.

А я пошёл домой. Шёл знакомой уже тропкой, слушал птиц, вдыхал тёплый, душистый воздух и ни о чём не думал. А вечером, расположившись у себя на террасе с бокалом вина, я любовался очистившимся небом, слушал лягушек и почитывал «Что такое искусство».

12.04.95, среда

Весь день с небольшими перерывами идёт дождь. В такую погоду мне грустно и ничего не хочется делать. В комнатах у меня холодно и сыро, как в склепе.

Как одиноко и тоскливо! Последнее время я подумываю о том, что пора вернуться домой. В смысле, в Россию. Хватит, набегался. Кому я здесь нужен? Чем занят? Что за будущее ждёт меня? Да и не так уж она хороша, эта хваленая заграница. Даже южный пейзаж, приторный как сливочная помадка, приедается через несколько дней.

Ну да, делают в Германии автомобиль «Mercedes», а во Франции духи «Fidji». Только я-то тут при чём? Зато я устал от этой еды — от мяса с вареньем, от супа со сливками, от незасыхающих белых булочек. Хлеба чёрного здесь днём с огнём не сыщешь! Да, конечно, в Англии изобрели унитаз и светофор. Но мне-то что от этого? Неужели всю жизнь до икоты гордиться, что на родину унитаза попал? Да если на то пошло, в России придумали сапоги и дублёнки, радио и электрическую лампочку. И когда их короли по два раза в жизни мылись, то есть в первый свой день и в последний, у нас самый захудалый, самый расперезадрипаный мужичонко в бане по субботам парился.

Ко всему человек привыкает. Только мне-то зачем себя ломать? Не большевики же мне в спину стреляют — так, блажь, престиж, мода.

А дома сейчас весна. Снег уж сошёл с дороги и, лишённый зимнего величия, жалкими почерневшими кучками прячется в тени. Скоро Пасха. Интересно, когда в этом году Пасха? Мама с тётей Галей понесут святить раскрашенные яйца. В церкви у метро с утра зазвонят в колокола. Макс, наверное, с новой подружкой. И всех уверяет, что «впервые влюбился по-настоящему». Каждый день Макс проживает теперь на три часа вперёд меня. Значит, умрёт раньше.

Откуда такие дурацкие мысли?

В перерыве между дождём успел сбежать в магазин на площади. Купил кое-какой снеди. Возвращаясь домой, увидел впереди себя старичка-соседа, бредущего с тяжёлыми пакетами. Пару раз я встречал его раньше, мы здоровались, и старичок, шевеля густыми седыми бровями, приглашал меня к себе «на стаканчик вина». Я благодарил и обещал как-нибудь заглянуть. «Вот и случай представился!» — подумал я, нагоняя согбенного соседа.

— Buenas tardes!⁹ — окликнул я его.

Старик неловко обернулся и испуганно уставился на меня. Наверное, целую секунду он всматривался, шевелил своими бровями и шурил чёрные глаза. Потом наконец признал меня и обрадовался.

— А-а-а! — проскрипел он. — Buenas tardes!

— Позвольте мне помочь... — я указал на пакеты.

Старичок помялся немного и передал мне свою ношу. Мы поплелись к его дому. По дороге разговорились. Вернее, говорил мой старичок, а я слушал. Он немного знает по-английски — вполне достаточно, чтобы поддержать разговор. Он признался мне, что я первый русский, которого он видит. А потом этот гомерианский старик, совсем как какой-нибудь московский пенсионер, принялся ругать капиталистов и демократию. И всё нахваливал Кубу и Фиделя Кастро. Под конец он так разгорячился, что сбился с английского на испанский, и я перестал понимать его. К счастью, мы подошли к его дому.

У ворот нас встречала маленькая старушонка в белых брюках и полосатой майке. На голове у старушонки красовалась широкополая соломенная шляпа. Должно быть, пожилая модница разволновалась и нарочно вышла встречать супруга.

Завидев меня, она удивилась и, кажется, немного испугалась. Но в ту же секунду сообразила, в чём дело, заулыбалась и что-то залепетала по-испански. Старичок нарочито строго прикрикнул на неё и сказал мне:

— Она приглашает тебя, пойдём.

Мы прошли в сад, поднялись по лестнице на террасу, старушка, всё что-то говорившая, усадила нас за стол, а сама исчезла в доме. Было слышно, что и там она продолжает говорить. Потом она появилась уже без шляпы и, тряхнув лиловыми кудрями, поставила на стол стаканы, бутылку красного вина и корзину с печеньем.

Мы выпили по стаканчику, закусили печеньем, и тут всем, по-моему, стало понятно, что обсуждать больше нечего. Старик, очевидно, выдохся, ругая буржуев, и развернул газету. Старушка, смекнув, что я не понимаю ни слова из её рассказов, умолкла и только улыбалась да кивала мне. Я хотел уже распрощаться и отправиться восвояси, как вдруг мне в голову пришла превосходная мысль. Я извинился, объяснил старику, что ненадолго отлучусь, попросил подождать и убежал. Старик, оставившись в газету, деловито кивнул мне.

Дома я взял два этюда — те самые недоработанный и переработанный — и вернулся с ними к старикам. Я решил сделать им подарок. Но старики не сразу поняли меня и несколько раз спросили, что значат «эти картины». Когда же наконец они сообразили, в чём дело, страшно обрадовались, точно я подарил им вторую

⁹ Добрый день! (исп.)

молодость. Снова я был усажен за стол, снова старик заговорил о Фиделе, а старушка залепетала по-испански. С новой, удвоенной энергией принялись они потчевать меня вином, печеньем, к которым присоединились хлеб, сыр и копченая колбаса.

Домой я вернулся пьяным, а потому сразу лёг спать.

13.04.95, четверг

Сегодня утром принесли письмо от Рэйчел. Памятуя об обещанном сюрпризе, я поспешил вскрыть конверт. Внутри я нашёл фотографию Рэйчел в полный рост. Вот интересно, кто её снимал?

Она стоит, опершись о край какого-то стола. Распустила волосы, сняла очки, губы, кажется, подкрасила. Из одежды на ней чулки с кружевной резинкой и туфли на высоких каблуках. На обороте надпись: «*Не забудь, какая тебе ждет супер классная, теплая, мажкая и сексуальная женщина!*». От конверта и фотографии пахнет духами Рэйчел.

Бедняжка!

Мы прожили вместе три месяца, а знаем ли мы хоть что-нибудь друг о друге? Понимаем ли, что каждому из нас нужно? Что можем дать мы один другому? И зачем мы вместе?

Моя жизнь состоит из одних вопросов. А где искать ответов — не знаю.

Ещё в понедельник мы условились с Клаусом, что я помогу ему с обустройством нового курятника. К трём часам я отправился к Баслерам. От прежних хозяев, переехавших куда-то в Латинскую Америку, у Клауса осталась небольшая каменная халупа. Её-то Клаус и решил переоборудовать под курятник. Работы оказалось немного. Мы вывели камни и сор, приладили дверь, устроили настил — и курятник был готов.

Николь позвала нас обедать. За обедом Зилка рассказывала, как они с ребятами ходили на озеро. Я заинтересовался: оказывается, здесь есть ещё и озеро.

— Да, тебе будет интересно, — подтвердил Клаус. — Очень красивое место. Горное озеро с морской водой и, кажется, соединяется как-то с морем. Утопленников в нём никогда не находят. Попроси Зилку, она покажет тебе.

Зилка, симпатичная, живая девчонка, сразу обрадовалась, что её выбрали в провожатые. И тут же заёрзала и заважничала перед братьями, толкнув локтем сидящего рядом Мартина. Мартин не преминул ответить, и у них с Зилкой завязалась настоящая потасовка. Но вмешалась Николь, и дети присмирели.

После обеда Зилка не отходила от меня ни на шаг. И когда я уже засобирился, первая спросила меня:

— А во сколько мы пойдём завтра на озеро?
Договорились, что в одиннадцать она зайдёт за мной.

14.04.95, пятница

Ужасный день!

Мне опять снился он. Снова какой-то дом, комнаты и ощущение, что он где-то здесь, рядом. Ещё немного и я увижу его. Но нет, я не выдержу этой встречи! Сердце моё разорвётся на части от ужаса, который он внушает.

Я проснулся и сразу вспомнил о швейной машинке, что стоит на втором этаже. До первых лучей я не мог заснуть и лежал, скованный ужасом. Но с появлением солнца исчез кошмар, и я забылся глубоким, здоровым сном.

В девять меня разбудил телефонный звонок.

— Ты получил моё письмо? — игриво спросила Рэйчел.

— Да.

— Ну и как?

— Хорошо. Когда ты приедешь?

— Ой, — вздохнула она. — Понимаешь, я готовлю материал... Раньше двадцатого никак не смогу. Но на двадцатое уже взяла билет... Ты обиделся?

— Нет, что ты... Ты говоришь, двадцатое?

— Да. Это следующий четверг. Недолго, правда?

— Да.

— Всего неделя.

— Да.

— Ну ладно. А то дорого, ты знаешь.

— Да, конечно.

— Я ещё позвоню.

— Хорошо.

— Ну пока?

— Пока.

Значит, задерживается. Значит, сбагрили меня на этот... почти необитаемый остров, как Наполеона на остров Святой Елены, и успокоились. Избавились, значит. Рэйчел может и вовсе сюда не приезжать. Кончится моя виза, обнаружат меня, ну и вышлют домой. Впрочем, я законов местных не знаю, может, мне пожизненное заключение за это полагается или каторга. Ловко! Ничего не скажешь... Единственное, что мне остаётся, это ждать до двадцатого. А там... Там посмотрим...

Ровно в одиннадцать ко мне заявила Зилка. Эта белокурая немочка выгодно отличается от своих испанских подружек. Подрастёт — все женихи на Гомере будут у её ног.

— Какое у тебя красивое платье, Зилка, — сказал я, заметив, что девчонка принарядилась: вчера бегала по двору в штанишках, а сегодня на ней длинное синее платье с белыми горошками и новые чёрные туфельки.

Зилка улыбнулась от удовольствия и потупилась.

Я наскоро собрался, захватил этюдник, и мы вышли за ворота. Зилка повела меня в горы. Шли мы довольно долго — минут сорок. И чем выше поднимались, тем уже становилась тропинка. Лес наступал, то и дело приходилось отводить ветки какого-нибудь наглого колючего кустика. Было парко. Птицы шумели. Огромные длинноногие осы с громким зловецим жужжанием несколько раз пересекли нам дорогу, пролетая низко, почти касаясь ногами тропинки. Я и раньше встречал здесь этих тварей и всегда старался держаться от них подальше — уж очень угрожающе они выглядят. Кто они такие? Как много для меня здесь чужого и непонятного! Сам бы я ни за что не полез в эти дебри. Но Зилка смело продвигалась вперёд. Можно подумать, что она хозяйка или хранительница этого леса.

— Не бойся их, — сказала она про страшных ос. — Они первые не тронут.

Точно это не осы, а собаки, существа ей подвластные и знакомые по именам.

Наконец мы вышли из леса и оказались на краю котловины, похожей на огромную пиалу. На дне пиалы дремала гладкая синезелёная вода. На секунду я даже усомнился: точно ли это вода, не выложил ли кто атласом дно котловины?

— Вот, — кивнула Зилка на озеро. — Нравится?

— Очень, Зилка!

Довольная, что сумела угодить, Зилка хихикнула.

— Пойдём к нему? — спросила она.

— Конечно.

Зилка вприпрыжку побежала вниз.

— А почему оно в середине чёрное, Зилка! — крикнул я, не посевая за прыткой Зилкой.

— Там дна нет, — она остановилась, повернулась ко мне и, наклонив голову к плечу, сощурилась.

— Как это? — не понял я.

— Ну нет дна, — она дёрнула плечиком, удивляясь моей бестолковости.

— Ну как же без дна, Зилка! Даже у моря есть дно.

— А у нас нет, — объяснила Зилка и поскокала дальше.

Ну, нет, так нет.

— А купаться можно? — спросил я у Зилки, когда мы спустились вниз.

— Купайся... Здесь вода как в море.

— А ты?

— Нет, я не хочу, — нахмурилась Зилка и отвернулась от озера. Наверное, побоялась измять или намочить своё платье.

Что ж, Зилка! В другой раз я бы составил тебе компанию и проявил солидарность. Но только не теперь. Ты ещё войдёшь в ложе молчаливого озера, хранящего какую-то тайну. А я, быть может, никогда больше не увижу его. Так позволь мне, Зилка, навсегда сохранить в памяти ласку бирюзовой озёрной воды.

Коварную ласку.

Я заплыл на середину озера, к тому самому месту, что манило сверху слепой чернотой. И опустил вниз лицо.

Не знаю, как меня не парализовало от ужаса. Вошёл бы в историю Вайермосо как ещё один пропавший утопленник.

Подо мной была бездна. Чёрная дыра, пустота, ничто. Только что в толще голубой прозрачной воды я видел, как покачиваются водоросли и суетятся рыбки. И вдруг обрыв, пропасть — врата ада!

Никогда ещё не плыл я так быстро. Я удирал, спасался бегством. Мне казалось, что задержись я ещё немного, и тьма обьмет и поглотит меня.

Вскочив на берег, я спешно стал одеваться, натягивая одежду прямо на мокрое тело.

— Страшно? — голос маленькой Зилки успокоил меня.

Я взглянул на неё. Щуря глаза и морща нос, она внимательно наблюдала за тем, как я одеваюсь. Мне стало неловко. К тому же второй раз за день она пеняет мне за мою боязливость.

Я ничего не ответил и отвернулся от Зилки, сделав вид, что хочу отряхнуть этюдник.

— Мы туда на лодке плаваем, чтобы страшно было, — кивнула она на озеро.

— Зачем? — не поднимая глаз на Зилку, спросил я.

— Так... интересно.

Наверху, когда мы уже поднялись из котловины, я сделал два картона и один рисунок. Оба картона не удалась. Не передал и той доли того, что хотел и мог бы передать. Сколько ни бился, улучшить не сумел. Разозлился и хотел порвать их, но передумал и подарил Зилке. Зилка осталась весьма довольна.

Привёл Зилку домой и поддался на уговоры Николь остаться на ужин. И тут же пожалел, потому что семейный будничным ужином оказался невыносимо скучным.

Поспешил к себе. Скинув этюдник и приняв душ, расположился на террасе. Сидел и всё ждал чего-то. А ничего не происходило. Стало вдруг тоскливо и одиноко.

Ничего не остаётся, как идти спать.

Хорошо бы уж и не просыпаться.

15.04.95, суббота

Дождь, дождь, дождь.

Весь день провёл в постели.

16.04.95, воскресенье

Кажется, я влюбился.

О, Боже! Только этого мне не хватало!

Теперь по порядку.

День начался для меня с церковной мессы. Как правоверный католик, я отправился к одиннадцати часам на службу. Я решил, что возьмусь за картины для крестильной комнаты. Правда, пока не знаю, как быть с Христом. Думаю, этот образ мне не под силу. Может быть, получится обойтись и вовсе без Христа?

Во дворе церкви уже собрались прихожане, преимущественно дети, несколько молодых девиц и пожилые дамы. Все улыбочивые и трогательно-нарядные. Пришла и Зилка. Чинно поздоровалась со мной и присоединилась к подружкам, шушукавшимся о чём-то в сторонке.

На днях я спросил у Клауса, будет ли он на службе. Но Клаус объяснил, что они с Николь вышли из лона католической церкви ещё в Германии.

— Теперь у нас Зилка за всех молится, — смеялся Клаус.

— Постой... как это? — не понял я.

— Налог высокий...

— И что?

Оказалось, что любой католик, не желающий платить церковный налог, может официально выйти из лона католической церкви. Всё равно, что отказаться от членства в клубе. Я никогда раньше не слышал, что такое бывает. Мне очень хотелось узнать подробно, но неловко было расспрашивать Клауса.

Может быть, молодые католики предпочитают тратить деньги как-то иначе, нежели отдавать их церкви, и именно поэтому на службу сегодня пришли дети да старики?

Ровно в одиннадцать часов к церкви на чёрном джипе подъехал отец Доминго. Выйдя из машины, он поздоровался с прихожанами, особо кивнул мне, посмеялся, потрепал по плечу какого-то мальчишку и прошёл в храм.

Народу оказалось совсем немного. Все расселись и замерли. Кажется, в Англии тоже сидят в церкви. А вот на вечеринках стоят столбами. Интересно, почему я ни разу в Лондоне не зашёл в церковь? Даже в соборе святого Павла не был.

Я занял место в четвёртом ряду и приготовился, как перед спектаклем. И действительно, откуда ни возьмись, в храм влетел белый голубок и присел на Распятие.

Началась служба. Отцу Доминго помогали служить двое мальчишек. То и дело прихожане принимались петь, и тогда все вставали. Вставал и я. А когда все с шумом упали на колени, я, чтобы не торчать свечой, прилёг на скамью.

Потом все причащались, жали друг другу руки и целовались. Даже меня облобызали две какие-то старушонки и моя маленькая подружка Зилка. Когда всё закончилось, отец Доминго попросил внимания. Все, как в сказке, замерли и повернули к нему головы. Отец Доминго достал листок бумаги, прочёл какие-то имена и что-то прибавил по-испански. Я понял, что он назвал имена моделей.

Я подождал отца Доминго и вместе с ним вышел из храма.

— O'key, — кивнул мне святой отец.

Во дворе нас ждали дети и подростки, всего человек десять.

Отец Доминго обратился к ним с какой-то речью, и они внимательно слушали, улыбались, перешёптывались и бросали в мою сторону любопытные взгляды. Потом отец Доминго слегка подтолкнул меня в их сторону и сказал:

— Please, please...

Я понял, что он хочет познакомить меня с моделями.

— Pedro... — указал отец Доминго на серьёзного мальчика лет девяти в серых отутюженных брючках и крапчатом свитерке домашней вязки.

Я пожал руку Педро.

Затем последовали Хуанита, Серхио, Хулио, Вивианна...

Вивианна!

Что было потом, я не помню.

Вивианна!

Как же раньше я не заметил тебя? Юная, кроткая, где ты скрывалась от моих глаз? Что за улыбка, взгляд, грация! Господи! Есть ли существо прекраснее на земле?

И что за необыкновенное сходство! Те же черты, та же синевя глаза, то же спокойное, царственное достоинство в лице. Только волосы, собранные в такой же длинный пушистый хвост, не медовые, а тёмно-русые, шоколадные.

Ещё в прошлую нашу встречу отец Доминго выразил желание увидеть мои работы. И я обещал принести фотографии. У меня есть

фотографии всех моих работ, я сделал их ещё в Лондоне. И сегодня я захватил эти фотографии с собой. Сначала отец Доминго завладел всей пачкой, долго рассматривал, качал головой, причмокивал и отпуская какие-то замечания по-испански. Потом вернул мне пачку и сказал:

— Good. Very good...

Я передал пачку кому-то из моделей. Фотографии тут же расхватили, стали рассматривать, меняться и тихо, почтительно переговариваться по-испански.

А я не спускал глаз с Вивианны, я никого не видел кроме неё. В груди у меня заныло, в висках застучало. Я одеревенел, я боялся пошевелиться, потому что вдруг испугался, что покажусь ей неловким и несимпатичным. А она улыбалась, водила по фотографии пальчиком и что-то объясняла подружке, время от времени поглядывая в мою сторону. Плутовка! Уверен, что она всё поняла.

Фотографии моих работ произвели впечатление. Все, включая отца Доминго, вдруг точно расположились ко мне и стали больше доверять. Условились, что на следующей неделе мы встретимся и проведём первый сеанс. Модели будут в старинных платьях, и я попробую сделать кое-какие эскизы.

Мы попрощались и разошлись по домам. На прощанье Вивианна бросила на меня любопытный взгляд и улыбнулась.

Остаток дня я провёл в мечтах о Вивианне. Я полулежал в кресле на террасе, но мысленно я целовал руки Вивианны, я любовался Вивианной, я писал с неё портрет за портретом. В конце концов я сделал ей предложение и в мечтах своих женился на прелестной испанке.

А почему бы мне в самом деле не жениться на Вивианне и не остаться здесь на Гомере? Кто, интересно, её родители? Мы поселились бы с ними в их доме, занимались бы хозяйством, я рисовал бы. Мы дружили бы с Клаусом и Николь и ходили бы к ним в гости. А Клаус и Николь приходили бы в гости к нам. Мои родители приехали бы навестить нас. Потом мы поехали бы с Вивианной в Россию. Правда, я даже не знаю, сколько ей лет. Но это ничего, я бы подождал, если нужно.

Эта идея завладела мной, и я всерьёз стал обдумывать детали сватовства и совместной жизни. Я так распалил себя, что не в силах был усидеть на месте. Я вскочил, прошёлся по террасе, воображая своих будущих детей, таких же прекрасных и нежных как их мать.

Поймал себя на том, что расплываюсь в дурацкой, глупейшей улыбке.

Решил отвлечься немного и попить чайку.

В этот момент зазвонил телефон.

Чёрт! Чёрт! Звонила Рэйчел. Провалиться бы ей!

Я совсем забыл про неё.

Хорош же я! Живу в её доме, мечтаю жениться на аборигенке да ещё недоволен, когда Рэйчел напоминает о себе.

Она приезжает в четверг. И все мои мечты разбиваются как глиняный горшок. И почему мне так не везёт? Только я влюбился в одну женщину, как тут же появляется другая и всё портит. Но разве смогу я за четыре дня забыть Вивианну?

Вивианна! Я был бы счастлив только смотреть на неё издали, вдыхать её запах, хранить у себя какую-нибудь её вещь. Но ведь она увидит меня с Рэйчел!..

Как некстати я встретил Вивианну! И как некстати приезжает Рэйчел!..

19.04.95, среда

Прощай Гомера! Прощай Вивианна! Прощай заграница!

Завтра я уезжаю домой. В Москву!

Приедет Рэйчел, ну и чёрт с ней! Напишу ей письмо, позвоню — объясню как-нибудь. Главное, завтра я буду дома. Конечно, я успел привыкнуть к другой жизни. Я теперь европеец. И хоть я зол на Европу за обман и разочарование, знаю, что по русской привычке ещё не раз кольну глаза соплеменникам фразочкой «Я ведь в Европе жил...». Но это пустяки. Главное, завтра я буду дома.

Завтра я увижу своих, Макса, наемся чёрного хлеба с солью и зелёным луком. Хорошо бы ещё огурца. Попрошу у мамы суп с клёцками. Будем чай пить с вареньем вишнёвым.

Но хватит восторгов. Пора описать всё по порядку.

В понедельник, влюблённый и несчастный, захватив с собой блокнот для рисования, я отправился на Тенерифе. Решил путешествовать перед приездом Рэйчел. Прибыл я в городок Лос-Кристианос и остановился в небольшом пансионе. Дорога от Вайермосо заняла несколько часов, и я порядком устал. Поэтому, расположившись и отужинав, отправился спать. Спал отвратительно. В открытое окно ко мне врвался уличный шум — транспорт, музыка, чья-то болтовня. Потом, уже за полночь, ко мне под окно сбежались все лос-кристианские собаки и затеяли свару. Сначала они просто лаяли друг на друга, а когда лаять им надоело, они — уж не знаю, с чего это у них началось — сцепились. Схватка продолжалась что-то около часу. Потом вдруг вся эта компания снялась с места и с лаем умчалась куда-то вдаль. Наконец я задремал. Но примерно в шесть часов под мои окна прибыла мусороуборочная машина и добросовестно принялась собирать все склянки

и жестянки, треща и грохоча как на заказ. Уснул я что-то около семи и проспал до десяти.

Я успел-таки немного отдохнуть, хотя под глазами у меня остались синие следы многотрудной ночи.

Спустившись в кафе на набережной, я заказал бутерброд с сыром и ветчиной и чай. И через несколько минут официант принёс мне бутылку с ужасной светло-коричневой жидкостью.

— Что это? — ужаснулся я.

— Чай, — ответил мне официант.

«Скорее небо упадёт на землю, и Дунай повернёт свои воды вспять», — почему-то вспомнилось мне.

— Чай?!

— Да, холодный чай.

Тут только до меня стало доходить, и я вздохнул облегчённо: официант, дурашка, принёс мне лимонад под названием «Холодный чай». Я уже встречал эти бутылки в Англии, и у меня, московского любителя и ценителя чая, они вызывали неподдельное презрение.

— Вы ошиблись, — гордо сказал я официанту. — Я заказывал горячий чай.

Он ушёл с недовольным лицом, но ещё через пару минут принёс мне мой бутерброд, чайник и молоко. Расхорохорившись, я хотел заодно обругать и привычку лить в чай молоко, но вовремя сдержался.

После завтрака отправился осматривать город. Лос-Кристианос, вытянувшийся вдоль берега и оттого напоминающий колбасу, мне не понравился. Город состоит почти из одних отелей, к тому же весь пропитан разнообразными южными запахами, от которых у меня нарастает беспокойство и сосёт под ложечкой. Здесь пахнет то ли акацией, то ли олеандром, жареной рыбой и ещё какими-то южными кушаньями с чесноком и специями.

Туристов тьма. И для них кругом лавчонки с ярким и жалким товаром. Много броской рекламы — мороженое, лимонад, шоколадные батончики... Скучно. Но людям как будто нравится — туристы ходят довольные и важные. Все что-то покупают, точно за тем только и приехали сюда.

Был на рынке и окончательно разозлился на городишко. Что такое рынок прошлого столетия? Это вывески, от руки, пусть и с ошибками, написанные. Это дамы и девицы в кисейных платьях и шляпках, это горничные и кухарки в платках и клетчатых юбках, это господа с тросточками, мужички в кафтанишках, нищие в лохмотьях. Это лошади и свиньи, куры и канарейки, петухи на палочках и прочие ландринки — это товар кустарный, всамделишный и у каждого свой. А сейчас что? Люд голый. На всех, незави-

симо от пола и возраста, трусы да майки. Товар пустяшный и одинаковый — смотреть не на что. Мир какой-то неживописный стал, никакой красоты в его наружности не осталось. Как проститутка раскрашенная!

От греха подальше решил пойти на пляж. Море слегка штормило. Но как приятно качаться и кувыркаться в волнах! Главное, вовремя подпрыгнуть и не дать волне накрыть себя с головой.

Потом загорал и с тоской думал о Вивианне. Никогда мне не быть с этой девушкой... Что ж... Ну и пусть! Я сохранил мечту о ней. И пусть эта мечта будет для меня священной, пусть будет моей звездой. Вивианна недосягаема для меня, и я недостоин её. Но пусть светит, пусть зовёт меня за собой...

Тут поблизости я услышал английскую речь. И, само собой, повернулся полюбопытствовать. В нескольких шагах от меня развернулась настоящая фотосессия в жанре «пие»: молодой англичанин снимал свою обнажённую подружку. Тут же два пожилых лысоватых и пузатых англичанина с нехорошими улыбочками наблюдали за происходящим, переговаривались и глотали слюны.

— Ну, давай! — подначивал девушку фотограф. — Дай страсть!

Модель извивалась, выворачивалась мездрой и «давала страсть».

— Вау! — подбадривал каждую новую позу фотограф.

Она кокетливо и, как бы даже стыдясь своих успехов, отвечала ему короткими, ничего не значащими фразами, типа:

— Ну уж!.. Да будет тебе!.. Какой ты, право!..

Проходившие по пляжу люди косились на них, но они ничего не замечали и нисколько не смущались. Они резвились на песке как молодые зверьки, им не было дела ни до чего, кроме удовольствия, которое они получали от своего занятия. Они были довольны, раскованы и свободны.

А мне отчего-то сделалось так грустно и так гадко, что захотелось бросить в них песком или отобрать у фотографа камеру и зашвырнуть её в море. Я оделся и ушёл с пляжа.

Выйдя на набережную, я поплёлся куда-то вдоль моря, не думая о том, куда и зачем иду. Я был зол и растерян. Я хотел думать о Вивианне, но у меня не получалось, я сбивался на Рэйчел, на фотографа с подружкой и ещё на какую-то неясную мысль, тяготившую меня, но медлившую отлиться в образ.

И тут я увидел машину. Volkswagen Golf серебристого цвета, я ещё подумал, что цвет неприметный. То есть на набережной было много машин. Но та машина была с открытым верхом, и в замке зажигания у неё болтались ключи. Рядом с машиной никого не было,

и вообще поблизости, как нарочно, не оказалось ни души. И я вдруг понял, что именно тяготило меня: вот эта машина.

Я ещё раз оглянулся, отжал мягкую, неслышную ручку, проскользнул на водительское кресло, повернул ключ и надавил на педаль газа. Машина, повинувшись мне, плавно покатила по мостовой, никто так и не окликнул меня.

Сначала я ехал медленно, точно надеялся, что кто-нибудь мне помешает. Но постепенно моя собственная дерзость, движение и скорость опьянили меня, внушив обманчивое чувство свободы. Я выехал за город и помчался куда-то, судя по указателям, в сторону Санта-Круз. Зачем и для чего, я не хотел знать. Мне было легко и весело. Казалось, что не хватает какой-то ерунды, малости, чтобы оторваться от земли и полететь, и что всегда тёплый ветер будет трепать мои волосы, и всегда будет пахнуть морем.

Я вполне освоился в машине и с удовольствием, насколько позволяла скорость, рассматривал её нутро. Отличная машина! Я включил и выключил приёмник, потрогал пухлую кнопку аварийной сигнализации, погладил мягкую кожу сиденья, потом открыл бардачок. Там лежали кассеты, автодорожный атлас и сверху две какие-то фотографии. Мне захотелось взглянуть на них.

На одной фотографии седой дедок обнимал за плечи старушку с серебристым перманентом. На другой — тот же дедок обнимал двух серьёзных подростков, стоявших справа и слева от него. Этот дедок, чем-то напомнивший мне соседа из Вайермосо, скорее всего, и был хозяином Volkswagen`а.

Я смотрел на фотографии и мало-помалу начинал понимать, что ненавижу этого дедка. Ненавижу его довольную, счастливую улыбку, его манеру обниматься со всеми подряд — всё, всё в нём было мне омерзительно!

Я разодрал фотографии в клочья и швырнул на дорогу.

В ту же секунду воодушевление моё растаяло, скорость и ветер потеряли обаяние, стало скучно и грустно. Я проехал ещё километр десять и остановил машину.

Конечно, можно накататься до тошноты, вернуться в Лос-Кристианос и уплыть, как ни в чём не бывало, в Вайермосо. А дедок пусть бегаёт по побережью, пусть звонит в полицию, глотает валидол или что тут у них... Плевать! Я о себе пекусь, и о себе хочу думать. Мне-то что за прибыль? Ну не дурак же я машины угонять — покататься! Я нарушил закон. Я давно хотел этого и знал, что исполню. Ради идеи, ради свободы. И вот, свершилось. Правда, чувства свободы хватило на полчаса. А дальше снова страх, одиночество и тоска.

Ну не хочу я, чтобы этот растреклятый дедок снился мне каждую ночь! Чтобы обнимал кого-нибудь у меня во сне!

Я вернулся в Лос-Кристианос и, опасаясь, что Volkswagen повсюду ищут, оставил его на въезде в город. Воровато озираясь, я выскочил из машины и бросился бежать. Слава Богу, никто не обратил на меня внимания. Я заблудился и не сразу нашёл свой пансион. Наконец, поднявшись в свой номер, я упал на кровать. Какое-то время я лежал без движения. Как же я устал!

И вдруг меня осенило. Я вскочил и бросился к телефону.

Я ничего ещё не сказал, а мама уже всё поняла.

— Тебе там плохо, сынок? — осторожно спросила она.

Я подумал немного и ответил:

— Это ад, мама...

Мама тихо простонала в трубку и робко предложила:

— Возвращайся домой...

Намаявшись за день, я хорошо спал. А утром с первым же паромом я вернулся в Вайермосо. Сейчас я собираю вещи. Я знаю: сегодня я куплю билет и завтра возвращаюсь домой.

Addio, bella Napoli!

* * *

На другой день я был дома. Рэйчел я оставил письмо, в котором умолял о прощении и каялся в любви к другой женщине. Я попрощался с Клаусом и оставил ему два этюда для Хуана. Всё, как он хотел: горы, море. Потом я зашёл к отцу Доминго и объяснил, что должен ехать домой. Отец Доминго понимающе кивал, хлопал меня по плечу и на прощанье пожелал удачи. А я подарил ему на память свой лучший этюд — «Утро в Вайермосо».

Уже в самолёте я точно вдруг опьянел от грусти. Сердце моё сжалось в крохотный, горячий и влажный комок. Несказанно родными показались мне Лондон и Вайермосо, Рэйчел и Клаус, Зилка и Вивианна, Дик и даже Тим. Всё, что пережил и видел я за последние несколько месяцев, стало как будто частью меня, а сам я точно пророс и навеки сроднился с чужим до недавнего времени миром.

Но я знал, что принял правильное решение. Я знал, что должен уехать.

В Москву я прилетел на закате. Из иллюминатора я видел, что к городу подступает ночь и горизонт на западе, точно флаг неизвестного государства, стал сине-жёлто-зелёным. Сверху всё казалось чужим, незнакомым — дома, дороги, огни... Странно, но жизнь не остано-

вилась, пока меня не было. И как встретит меня теперь эта русская жизнь? Найдётся ли мне в ней место?

Разочарую читателя: сойдя с трапа, я не бросился целовать родную землю и не заплакал, вдохнув родной воздух. Родина встретила меня неприветливо и настороженно — очередью на таможне, толкотнёй и грязью в аэропорту. Я уже был раздражён, я уже смотрел свысока, и мысль о том, что «я ведь в Европе жил», неотвязно крутилась в моей голове. Но тут ко мне подскочил мой двоюродный брат и на радостях так пихнул меня, что я с трудом устоял на ногах. Вслед за ним подскочили тётя Галя и родители. Все они тормозили и целовали меня, мама с тётей Галей заплакали, все говорили о чём-то наперебой. А я ничего не понимал и только смеялся. Про то, что я жил в Европе, я забыл.

В тот же вечер у нас был праздничный ужин: суп с клёцками, чёрный хлеб, пирог «Утопленник», вишнёвое варенье — всё то, без чего я так соскучился.

Мне показалось странным, что Макс не приехал встречать меня. Но я решил отложить встречу с ним до завтра, а вечер целиком посвятить родным. Ведь для них я был мёртв и ожил, пропал и нашёлся.

А наутро, когда я, предвкушая, как услышу сейчас знакомый хрипловатый голос, расположился в прихожей перед телефоном, ко мне подошла мама и, глядя куда-то в сторону, попросила, чтобы я не звонил.

— Почему? — не понял я.

— Не надо звонить, — тихо, но твёрдо сказала мама. — Его нет дома.

— А где он? — насторожился я и почему-то подумал, что Макса посадили в тюрьму.

— Видишь ли... — мама задрала голову и погладила себя по шее. — Видишь ли... он умер.

— ?!

И мама рассказала мне, что где-то месяц тому назад бабушка Макса, вернувшись откуда-то вечером домой, обнаружила внука повесившимся. Он висел в своей комнате на крюке для люстры на толстом чёрном ремне. Само собой, с бабушкой сделалось дурно. И в тот же вечер она отправилась вслед за Максом.

Что именно случилось с Максом до сих пор никому не известно. Было ли это убийство или самоубийство — ещё не установлено. Хотя следствие склоняется к версии самоубийства. Но зачем понадобилось Максиму убивать себя — этого никто не может сказать. Никаких записок он не оставил, своего желания свести счёты с жизнью ничем не выдавал. Словом — тёмное дело.

Родителей моих известил обо всём Виталик Экземпляров, которого вызывали в милицию как свидетеля. Виталик справлялся у родителей, как можно и мне сообщить о случившемся. Но мама решила, что благодарнее будет ничего не говорить мне до поры до времени.

Я собрался и поехал в Земледельческий переулок. Возшёл по лестнице, позвонил в знакомую дверь. Звонок, прокатившийся по пустой квартире, показался мне более резким и звонким, чем я помнил его. Я позвонил ещё. И тут совершенно отчётливо услышал у себя за спиной голос Макса:

— Мы умерли... — сказал Макс печально.

Остолбенев от ужаса, я медленно повернулся. Прямо у меня за спиной стоял мальчишка лет четырнадцати — сосед сверху. Он возвращался домой, а я мешал ему подойти к лестничному маршу. Он остановился, чтобы попросить меня посторониться.

Я пропустил его. Он поднялся на несколько ступеней и, обернувшись ко мне, сказал:

— Они умерли. Макс, говорят, повесился. А бабку удар хватил.

— Почему? — спросил я.

— Да кто ж их теперь разберёт...

И, шаркая как старик ногами, он пошёл дальше.

Я спустился вниз. И после тёмного, затхлого подъезда оказался на солнце, на чистом воздухе. Весна бушевала: разбуянились птицы, лужи блестели как начищенный паркет. Но я ничего этого не видел. Мне казалось, что я стал меньше, что у меня забрали сердце или какой-то орган и всё моё существо перестало быть полноценным и способным к жизни. Но ещё более страшной была неизвестно откуда взявшаяся и поселившаяся во мне уверенность, что это я, я виноват в гибели Макса. «Не надо было мне возвращаться...», — малодушно подумал я.

Мне припомнилась наша последняя встреча с Максом. Это было в аэропорту. Макс приехал провожать нас с Рэйчел. Он был грустен, всё время молчал и по своему обыкновению держал руки в карманах.

— Ну, давай... — сказал он мне на прощанье.

Мы обнялись.

— Смотри там... — грустно усмехнулся Макс.

— Я тебя к себе вызову, — ударил я его по плечу.

Он снова усмехнулся.

А когда мы с Рэйчел уже прошли таможню, и я обернулся, чтобы напоследок помахать своим, Макс, приподнявшись на цыпочки, крикнул мне:

— Вермут!

На воровском жаргоне «вермут» значит: «Вернись, Если Разлука Мучает Уже Тебя». Однажды мы прочитали это в словаре блатного жаргона, долго смеялись и, переняв, придумали игру. Мы «расшифровывали» любые слова. Так «лужа» у нас раскладывалась на «Люблю Уродку Жалостью Анаконды», «снег» — «Скоро Наступит Естественная Гальванизация», «метро» — «Может, Ему Травму Родовую Обеспечить?» и так далее. Этой ерундой мы могли заниматься часами, веселя самих себя до колик...

— Шампанское? — крикнул я в ответ Макс.

В словаре «шампанское» трактовалось как «Шутка? А Может Просто Адская Насмешка? Скажи, Как Объяснить Её?».

«Со стороны может показаться, что мы обсуждаем карту вин на вечер...», — это было последнее, о чём я успел подумать на родной земле.

Макса я больше не видел.

В самоубийство Макса я не верил. Я знал, чьих рук это дело. За себя я не боялся. Я был уверен, что мне ничего уж больше не угрожает. Может, прошло довольно времени. А может, нужна была жертва. И ею стал Макс.

А я бросил его. Я отправился за сладкой жизнью и оставил его одного.

Нет, я не боялся. Я хотел быть на его месте.

До позднего вечера я слонялся по городу. Мне хотелось сделать что-нибудь для Макса, но я не знал, что можно сделать. Всё казалось бессмысленным и бесполезным. В конце концов я пошёл в парикмахерскую и остригся наголо. Наверное, это было самое бессмысленное и бесполезное из того, что можно было придумать.

А ночью, уже в постели, я вдруг вспомнил, как Макс хвалился, что его имя значит «великий». «Великий грешник или великий мученик?» — подумал я. И жалость к этому несчастному, растерявшему себя человеку, давила мне нутро. Вцепившись зубами в подушку, я разрыдался. Обессиленный, я уснул только на рассвете.

А наутро ко мне пришла мама. Я уже не спал. Уткнувшись в диванную спинку, я изучал узоры гобеленовой обивки. Из-за цветов и огурцов мне всё мерещились какие-то фигуры, чьи-то глаза и лица.

Мама села на край дивана и вздохнула. Потом погладила меня по ноге и сказала нежно:

— Спи сейчас больше. Сон хорошо, сон помогает. Сон для здоровья — что масло коровье. Поспи, поспи...

Она ещё что-то говорила и ласково гладила меня. А я и в самом деле уснул.

Проснулся я только на следующее утро.

* * *

Потом была Пасха. В церкви у метро ударили в колокола. И мы ходили христосоваться к тётке Гале.

А в четверг я поехал в Гончарную улицу. Я и сам не знал, зачем это делаю. Хотел ли я разогнать их или только в глаза посмотреть. Но я бы не успокоился, если бы не побывал там.

Но в Гончарной меня ждал ещё один камуфлет.

Я поднялся по светлой широкой лестнице и позвонил в знакомую дверь. Те же чувства владели мной: снова я дрожал, снова сердце моё стучало и ладони снова были влажны. А услышав пронзительный визг звонка, снова вздрогнул и поморщился. И, точно Раскольников перед старухиной дверью, затрепетал, припомнив до мелочей первый свой визит сюда. Так же, как и тогда за дверью слышались торопливые женские шаги. Но это была не знакомая лёгкая походка Алисы: кто-то тяжёло переступал мелкими шажками. Я понял, что дверь мне откроет не Алиса, и сник. Зазвенел ключ, и кто-то долго, неумело возился с замком. Наконец дверь отворилась, и я увидел неизвестную мне пожилую даму.

Прежде всего, я отметил, что в квартире стояла непривычная тишина, а значит, никакой вечеринки не было. Это обстоятельство мне почему-то понравилось, и я приободрился. Между тем, открывшая мне дверь дама смотрела на меня строго и вопрошающе. Я отметил, что она аккуратно, не по-домашнему, одета и причёсана и что, наверное, когда-нибудь была очень хороша собой. Я улыбнулся ей и сказал:

— Здравствуйте.

— Добрый день, молодой человек, — красивым, поставленным как у певицы голосом ответила она.

— А-а-а... Дома ли Алиса?

— Так вам Аличку? — она чуть заметно улыбнулась. — Но её нет здесь.

— А когда она будет? — насторожился я.

— Хм... Она не живёт здесь больше, — подозрительно и в то же время насмешливо произнесла дама.

— Как?! А где... Да как... — залепетал я. — А вы... вы не могли бы сказать, где она живёт. То есть не где живёт... не надо, где живёт...

А в смысле, могу я позвонить ей? Пожалуйста, не могли бы вы дать её телефон? Я её знакомый... просто я уезжал. За границу... я в Европе жил... И вот... Я здесь бывал! Мне, правда, очень надо. Мне надо у неё узнать...

Она испытующе и чуть насмешливо смотрела на меня и терпеливо слушала моё бормотание. А потом сказала:

— Пройдите...

Обрадовавшись неизвестно чему, я вошёл в прихожую. Не получив приглашения следовать дальше, я остановился и лишь позволил себе заглянуть за распахнутую двустворчатую дверь. В квартире как будто ничего не изменилось, но в то же самое время чувствовалось что-то новое. Так бывает, когда встречаешь свою возлюбленную, ставшую чужой женой. У меня защемило сердце.

В это время новая хозяйка квартиры показалась из комнаты, где, как я знал, была библиотека. Подойдя, она протянула мне сложенный в несколько раз небольшой листок бумаги.

— Я записала только то, что мне самой известно, — категорично заявила она. — Больше я ничего не знаю. Имейте это в виду!

— Ой, — обрадовался я. — Спасибо вам огромное! Как я вам благодарен! Спасибо...

Я схватил листок, спрятал его во внутренний карман куртки и попытался к двери.

— Спасибо... Спасибо вам большое...

А она только молча кивала и с любопытством наблюдала за мной.

Мы раскланялись. Она захлопнула дверь, а я побежал вниз. Выскочив из подъезда, я достал из кармана листок, развернул его и прочитал:

Владимирская обл., село N, Свято-Троицкий женский монастырь.

И в следующее мгновение Гончарная улица огласилась визгом тормозов, нетерпеливыми автомобильными гудками и характерной водительской бранью — прочитав записку, я остановился столбом посреди мостовой.

Сначала я решил, что старуха просто посмеялась надо мной. Первым моим порывом было вернуться и заставить её говорить. Но я тут же сообразил, что она больше не впустит меня. А если впустит, значит, и обмана не было. И я окажусь в глупейшем положении.

Я поехал домой.

— А где у нас такие путеводители... ну, были у нас такие маленькие, жёлтые... — спросил я за ужином у родителей. И зачем-то добавил:

— Pocket-book...

— Маленькие, жёлтые? — задумалась мама.

— «Дороги к прекрасному», что ли? — догадался папа.

— Да вроде...

— А-а-а! Так вон лежат, — обрадовалась мама и махнула куда-то рукой. — Я тебе их достану. Это мы с папой покупали по одной книжечке, в разных магазинах. Специально ездили, искали... — и она засмеялась, как человек, предавшийся приятным воспоминаниям. — У нас, правда, не вся коллекция... Но многое есть. Там «Верховья Волги», «Ока», «По Смоленщине», «От Валдая до Старицы», «Владимирские земли»...

— Владимирские? — переспросил я.

— Да, Владимирские есть.

— А что там?

— Э-э-э... Ну, я так не помню! — и она снова рассмеялась. — Я тебе сейчас достану, посмотри...

В книжке «По окраинным Владимирским землям» я нашёл описание села N и Свято-Троицкого монастыря. Основанный в четырнадцатом веке, при большевиках он был упразднён и переоборудован в колонию для малолетних преступников. Больше ничего не было сказано.

Я решил поехать туда в ближайшее воскресенье.

* * *

На краю Владимирской области есть маленький и захудалый городишко. Был бы он хорош и живописен, если бы улицы его не были так замусорены, а мостовые разбиты, если бы чистился пруд и обихаживался парк, если бы чугунные оградки не валялись как пьяные на земле, а стояли бы там, где им и положено стоять и если бы фасады коренастых каменных домишек хотя бы изредка штукатурились и подкрашивались. Но жив этот несчастный кряжистый городишко, жив, жив, не умер. А рядом с ним и раскинулось село N. Я приехал туда воскресным утром на папиной машине. Издалека я увидел кирпичную монастырскую стену, облезлую, щербатую, с полуразрушенными башнями. Зато надвратная церковка сияла белизной, и новенький золотой крест её отражался слепящей стрелой в водах местной разлившейся речонки.

Едва только я остановился у монастырских ворот, раздумывая, что делать дальше, как навстречу мне выскочила и заковыляла монахиня. Когда она приблизилась, я рассмотрел, что была она просто сказочно безобразна. Глаза её смотрели в разные стороны, так что невозможно

было перехватить взгляд. Нижняя губа отвисала, лицо было белобрысым и безбровым. Но она приветливо улыбалась, и уродство словно бы таяло в искреннем дружелюбии.

— Христос воскрес! — пропищала она, подбежав вплотную к машине.

И отвесила мне глубокий поясной поклон.

— Воистину воскрес! — ответил я и вытянул вперёд шею.

— Вы к кому? — спросила монахиня, улыбаясь. — Или вы на службу?

— Да. То есть... у меня тут одна знакомая живёт. Я хотел её навеситить. С праздником поздравить, — нашёлся я.

— А-а-а! Ну заезжайте! — и она побежала назад к воротам.

С усилием растащила она створы. А створы лениво проскрипели, точно зевнули, и медленно раскрылись мне навстречу.

Территория монастыря оказалась большой. Тут и там располагались постройки. Разрушенные и восстановленные. Справа от ворот в уцелевшем куске стены помещались какие-то мастерские и котельная. Чуть дальше, торцом к входу, стояло длинное двухэтажное здание с высоким крыльцом. Напротив был небольшой недавно выбеленный храм. У ворот примостилась картинная бревенчатая сторожка, оттуда, наверное, и выскочила ко мне вратарница. Она, кстати, стояла рядом со мной и терпеливо ждала, когда я осмотрюсь.

— Так вы к кому? — спросила она, поймав мой взгляд.

— У меня знакомая, — смутился я, вынужденный снова объяснять цель своего приезда. — Алиса... Зовут её Алиса. Она у вас недавно.

— Алиса? — разочарованно переспросила вратарница. — Не знаю... Нет, у нас нету. Алисы у нас нету.

— Да как же? — испугался я. — Как это нет?.. Вот...

На всякий случай я захватил с собой фотографию, сделанную в Гончарной улице примерно год тому назад.

— Вот, — я протянул фотографию вратарнице и, пристроившись с ней рядом, ткнул пальцем в Алису. — Вот она...

— Эта? Ну это не Алиса никакая, — обиженно сказала вратарница. — Эту я знаю. Она у нас недавно.

— Ну да... — подтвердил я.

— На испытательном сроке. Александрой её звать.

— Как, то есть Александрой? Это что, новое имя у неё? Монашеское?

— Да не в монашестве. Она ещё и не пострижена. На испытательном сроке она. Это её имя-то. Послушница Александра. Да пойдите в храм-то! Увидите её там... на клиросе. Пойдите в храм-то!

Она вернула мне фотографию и ещё раз указала на храм:

— Пойдите в храм-то!

Я кивнул и пошёл к храму. Эта путаница с именами несколько озадачила меня. Несомненно, речь шла об Алисе — вратарница узнала её. Но почему Александра?

Я медленно шёл по мощённой камнем дорожке мимо огромных старых дубов, помнящих, как разоряли обитель, и сурово молчащих, мимо первых ярких цветов, ни о чём не помнящих, но короткой своей жизнью призванных радовать насельниц и паломников, мимо аккуратно постриженных кустиков, мимо вьющегося по шпалерам дикого винограда — всё было так чисто и хорошо. Монахиня попалась мне навстречу. Я заметил только, что у неё широкие чёрные брови. Так почему же всё-таки Александра?

Я потоптался на паперти и вошёл, не крестясь, в храм. Я всегда думал, что перекреститься стоит хотя бы ради приличий. Но пересилить себя не мог.

Признаться, я был мало знаком с миром религии. Наблюдая украдкой за религиозными людьми, я иногда жалел их, считая убогими, но иногда завидовал чему-то. Я не врал Рэйчел, когда говорил, что «путь жизни» следует искать в религии. Но только в той религии, которую согласишься считать Божественным Откровением. Но русская вера всегда казалась мне немного простоватой, а потому какой-то сказочной. Я считал, что Божественное Откровение не может быть слишком открытым. Я был уверен, что это всегда тайна. Я охотнее поверил бы в каких-нибудь праотцев, дремлющих в пещерах и охраняющих манускрипты со всечеловеческими секретами, чем в мироточивые иконы. И, наверное, идею вечного блаженства я охотнее променял бы на тайное знание.

Впервые я столкнулся с миром религии сразу после своего рождения. Мама задумала окрестить меня, но папа, человек партийный, воспротивился её намерениям. Но тут на горизонте нашей семейной жизни появилась какая-то дальняя папина родственница, дама весьма странная, живущая уединённо и несообщительно. Увидев как-то меня в коляске, она сказала маме только одно слово:

— Окрести...

Выслушав затем сетования на отцовские запреты и на отсутствие всякой возможности бывать в храме Божиим, она назначила маме день и час и велела ей вместе со мной явиться по адресу, который тут же и сообщила.

Мама не преминула воспользоваться приглашением. И в назначенный срок отправилась к той самой родственнице, доводившейся папе

неизвестно кем. Делалось это, конечно, тайком от отца и, конечно, без определённой цели. Направляясь куда-то, на окраину города, с грудным младенцем в колясочке, мама рассуждала примерно так: «Что бы коммунисты ни говорили, а там, наверху, всё-таки что-то есть».

Папина родственница жила совершенно одна в собственной избушке. Во дворе у неё жил серый козёл, а в горнице — кошка. Более никакой живности мама не заметила. Повелев маме покормить меня и, распеленав, положить на стол, хозяйка куда-то ушла. За ней убежала и кошка. Исполнив всё, мама уселась на лавку и принялась ждать. Хозяйка не возвращалась, я никак не проявлял себя — освободившись от пелёночных пут, я раскинулся на столе и млел, наслаждаясь свободой, сытостью и мягким теплом комнаты.

Было тихо, никаких звуков, кроме тиканья ходиков, мама не слышала. И в какой-то момент маме стало казаться, что хозяйка ушла насовсем и оставила её в доме одну. От этой мысли маме сделалось страшно, и она, чтобы разогнать страх, поднялась со скамьи и прошлась по комнате. Это была небольшая, несколько вытянутая комнатка с двумя оконцами. Большую часть пространства занимала русская печь с поместительной лежанкой. С потолка на корявом ребристом проводе свисала электрическая лампочка. Между окнами, наклоняясь вперёд, висела большая застеклённая рама со множеством мелких фотографий. На одной из них мама узнала папу. Это несколько ободрило её. Сверху из-за рамы выглядывал букет сухого зверобоя. Всюду по стенам висели пучки сухих трав. Такие же пучки лежали и на подоконниках. Взяв пучок какой-то травы, мама поднесла его к лицу и втянула в себя терпкий запах. В носу у неё зашекетало, и она чихнула. Точно в ответ на её чих, стали бить часы. А с последним ударом в комнату вошла хозяйка.

Ни слова не говоря друг другу, женщины сошлись у стола, где лежал я.

— Зря не окрестила, — сказала хозяйка маме. И, выслушав всё те же сетования, продолжала:

— Я сделаю так, что сорок дней он болеть не будет. Но на сорок первый день он заболеет. Если бы вы его окрестили, я бы смогла сделать так, чтобы он вообще не болел. Но сейчас моей силы хватит только на сорок дней. Если за сорок дней, начиная с этого, успеете его окрестить — хорошо. Не успеете — будет болеть.

Разложив на столе пучки каких-то своих трав, она повелела маме не мешать и, что бы ни происходило, не произносить ни единого слова. Потом она подожгла один из пучков и, шевеля губами, принялась

водить тлеющим пучком по воздуху, оставляя каждый раз полоску пахучего дыма, от которого маме неизменно хотелось чихать. Так она поворачивалась на все стороны света, кому-то кланялась и всё что-то нашёптывала. Потом она бросила остатки травы в печь, после чего началась другая процедура. В руках у неё оказались спички. Эти спички она зажгала по одной и с неясным бормотанием отбрасывала от себя. Наконец и спички у неё закончились, и она обратилась к маме.

— Всё, — сказала она, — забирай его. И помни, что я сказала о крещении.

Довольная тем, что всё так хорошо прошло и наконец-то закончилось, мама проворно собрала меня и, рассыпаясь в благодарностях, поинтересовалась ценой. На что хозяйка объявила, что денег не берёт, а разве только продукты. Это понравилось маме, и она на радости спросила:

— А вот интересно, что вы шептали?

Хозяйка внимательно оглядела её и сказала:

— Молитвы.

Это тоже понравилось маме и, довольная собой, она отправилась восвояси.

О том, чему посвятила она день, мама ни словом не обмолвилась папе. Но когда, спустя примерно месяц, я вдруг заболел ангиной, и меня с высокой температурой увезли на скорой помощи, признаться всё-таки пришлось. Высчитав дни и убедившись, что всё случилось на сорок первый день после посещения родственницы, мама обвинила в моей болезни отца.

— Вот окрестили бы ребёнка, не было бы ничего, — плакала мама. — Ты всё!.. Отвезли бы потихоньку в церковь, никто бы и не узнал. А теперь вот, не знаешь, что и думать...

Папа был сражён коварством и легкомыслием мамы. Мало того, что за всеми её действиями проглядывала прямая угроза его карьере, папу особенно почему-то потрясли эти спички, разгоравшиеся над моей головой.

— Ясное дело! — кричал он. — Напугали ребёнка, он и заболел...

— Это через сорок дней-то? — язвила мама.

— Да у него шок был! Понятно? Шок!.. А если бы вы его обожгли? Своими спичками... Если бы сера ему в глаз попала? А?

— Если, если, если, если! — оборонялась мама.

— Да и что там эта ведьма над ним шептала? Ты знаешь?

— Эта ведьма, между прочим, твоя родственница!..

Они ещё долго ссорились, а я долго болел. И каждый раз, когда новый недуг обнаруживал себя в моём хилом тельце, мама неизменно принималась обвинять отца, уверяя его, что «надо было крестить вовремя». Отец же в свою очередь убеждал маму, что «напугали его своими спичками, вот он и растёт ледящий».

А крестился я уже после школы с одним приятелем. Тогда все крестились. Мода была такая. Веру не обсуждали, но крестились охотно и с увлечением. Зачем — никто не знал. Скорее всего, назло большевикам, которых уличали тогда в обманах. Раз большевики запрещали религию, значит, укрывали что-то важное. И здесь была тайна. И все, точно навёрстывая упущенное, бросились в церковь.

Потом я иногда забегал в храм и даже ставил свечи, воображая, что в этом-то и состоит вся суть веры. Как-то я просил у Бога, чтобы родители купили мне CD-плеер. И когда мне его купили, я понял, что Бог действительно существует. С этим я жил какое-то время. Памятуя об этом, я разглагольствовал перед Рэйчел о религии и «пути жизни». Но когда я узнал о Максе, я подумал, что Бога, наверное, всё-таки нет. И права была Рэйчел, когда говорила о системе координат. Но судьба привела меня в монастырь, и я как-то смутно почувствовал, что это не простая случайность. Я вошёл в храм, затаив дыхание, я точно боялся чего-то — я предвкушал Встречу.

Народу в храме оказалось на удивление много. Публика подобралась разношёрстная. Монахини соседствовали с какими-то потёртыми тётками и холёными дамочками, приехавшими, очевидно, из Москвы — во дворе я заметил несколько машин с московскими номерами. Бок о бок стояли и толстые дядьки с золотыми перстнями, и трясущиеся деды, и наряженные дети. Что ещё могло бы заставить всех этих людей собраться вместе?

Когда я вошёл, до меня донеслись чистые, натянутые как струны женские голоса, словно певчие шли по тонкой грани и в страшном напряжении сил, чтобы не сорваться, выводили:

*... воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ...*

Дальше я не разобрал, но замороженный красотой музыки, замер. Я был в каком-то восторге. Мне хотелось снова и снова услышать этот кусочек. Ни о чём больше я не мог думать. Только бы услышать ещё. И вот...

*Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ...*

И дальше снова не разобрал. Но это неважно, неважно! О, какое блаженство, какая гармония! И почему я не слышал этого раньше?

— Христос воскресе! — возгласил священник.

И толпа — все эти бабки, тётки, дети и толстосумы, блудницы и монахини — все разом подхватили:

— Воистину воскресе!

— Христос воскресе!

И вот я тоже подхватил, и точно вздох облегчения вырвался у меня:

— Воистину воскресе!

— Христос воскресе!

— Воистину воскресе!

Мне хотелось смеяться, и я с удовольствием улыбнулся какой-то тётке в жгуче-розовом платке.

И снова запел хор, а я вспомнил, что где-то там, возможно, поёт и она. И аккуратно стал пробираться вперёд.

Я сразу узнал её. Она стояла вторая с краю. Одета она была во всё чёрное, и только платок был у неё почему-то не чёрный, а светлый и цветастый. «Может, в честь праздника?», — подумал я.

Медовые пушистые волосы выбивались у неё из-под платка и в солнечном луче, врывавшемся в храм сквозь узенькое оконце, казались свечением, нимбом, как у святых на иконах. Она и правда была похожа на святую. Её лицо, ещё и прежде поразившее меня выражением уверенности и покоя, теперь точно упрочилось в этом выражении. Это было лицо, не омрачённое ни суетной заботой, ни грубой чувственностью, ни горделивой отстранённостью. В этом лице было что-то новое и неизъяснимое — что-то надмирное. И если бы меня как художника попросили изобразить свободу, я бы написал именно это лицо.

И вдруг снова:

*Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ
и сущим во гробех
живот даровав...*

Слова я разобрал и в следующий раз уже подпевал хору, не стесняясь не попадать в ноты и не боясь показаться смешным.

Она не видела меня. Певчих было несколько человек, и все они не сводили глаз с регентши.

Служба была долгой, и я с непривычки устал. Восторга я уже не испытывал, и внимание моё рассеивалось. «Что если, — думалось мне, — что если я вдруг оторвусь от пола и медленно начну подниматься вверх. А вокруг меня будет сияние... То-то переполох начнётся! Все закричат: “Возносится!” Служба, наверное, прекратится, все упадут на колени... Что за чушь в голову лезет!».

Началась исповедь, и все выстроились в очереди к священникам. Некоторые люди, прежде чем начать исповедоваться, осеняли себя крестом, кланялись на все четыре стороны и просили у всех прощения.

Мне это очень понравилось: каждый не винит остальных в своих несчастиях, но сам винится, точно один виноват перед всеми. И я тоже попросил мысленно у всех прощения. И особенно у Макса. Потом все причащались. Певчие куда-то исчезли. И я больше не видел её. Но я был спокоен. Я знал, что это так надо. И когда-нибудь я узнаю, зачем. Узнаю и удивлюсь: до чего разумно и хорошо всё устроено!

Я тоже хотел причаститься. Но священник нараспев объявил, что «приобщиться святых Христовых тайн» могут лишь те, кто говел и был у исповеди.

Усаживаясь в машину, я заметил, что ко мне бежит моя знакомая вратарница.

— Ой! Ой! — кричала она, не зная, как ко мне обратиться. — Ой! Подождите!..

Я помахал ей.

— Ну что? Нашли? — спросила она, подбежав и сиюсь отдышаться.

— Да, — сказал я. — Нашёл.

— Ну и слава Богу! Слава Богу!.. А я вот хотела спросить у вас. Вы через город поедете?

Вопрос был нелепым — другой дороги здесь всё равно не было.

— Конечно, — улыбнулся я.

— А то у меня тут в сторожке девочки. Вы бы их захватили? А? А то, знаете, вы один, а все семьями приезжают. Автобус только вечером. Сможете?..

— С удовольствием, — обрадовался я. — Зовите ваших девочек.

— Можете, да?

— Ну конечно...

— Ой, как хорошо-то! Ой...

И она поковыляла к своей сторожке, взывая:

— Девочки! Девочки! Он вас берёт!

«Девочками» оказались четыре старухи лет по семидесяти пяти. На призыв они выскочили из сторожки и рассыпались вокруг приятельницы. Поднялась суетня. Вратарница размахивала руками и указывала им на меня. «Девочки» кивали в мою сторону и о чём-то спрашивали. Так продолжалось минут пять. Наконец старушечья компания сорвалась с места. Наверное, им казалось, что они сэкономят моё время, если пробегут разделявшие нас двадцать метров. Предводительствуемые вратарницей, они подбежали ко мне и, тяжело дыша, остановились. Я распахнул двери «Волги», и старшая из «девочек» уселась на переднее сиденье. Остальные предпочли воспользоваться только одной задней дверью, проникая в машину по очереди и головами вперёд.

— Ну, спаси, Господи! — радовалась вратарница, — спаси, Господи! Ангела Хранителя!

Мы медленно выехали с территории монастыря. Вратарница на прощание поклонилась нам в пояс и перекрестила машину. «Девочки» махали ей, пока она не исчезла за поворотом.

Поначалу они молчали, но, пообвыкнув, разговорились.

— Ну так куда сначала-то? — спросила вдруг одна из них.

— Дык... К Валентине, конечно, — удивилась та, что сидела рядом со мной.

— А к Татьяне-то разве потом? — спросили сзади.

— Дык... потом, конечно. Успеется.

— Ещё к Пал Петровичу надо бы...

— Дык... До семи в больнице-то, — возмутилась моя соседка.

— А у Валентины хороший чай. Всегда что-нибудь у неё к чаю-то. Хлебушек, сырок...

— Да уж! У Татьяны-то ничего не допросишься! Всё пустым чаем поит.

— Ой, цайку хочца!

Все «девочки» засмеялись.

— Я у мать Тавифы только две чашечки сегодня выпила!

— Да-а... Мать Тавифа сегодня бегаёт целый день.

— Дык... Праздник сегодня!

— Ой, спаси, Господи! — кто-то шумно вздохнул сзади.

— Да не «спаси Господи», а «слава Богу».

— Да, да... — согласились все.

А я вдруг почему-то позавидовал этой старушечьей компании, проводящей время за распитием чая в разных домах.

— Ой! — всполошилась вдруг моя соседка. — Возле того красного домика нам остановите... Вот... вот... вот здесь.

Я остановил машину, и «девочки», кряхтя, выбрались на улицу. Я тоже вышел.

— Ой! Спаси, Господи! — умиленно сказала старшая и поклонилась мне в пояс.

Остальные последовали её примеру.

— Спаси, Господи!

— Спаси, Господи! — заговорили они разом.

А старшая прибавила:

— Простите!

И я тоже поклонился им в пояс.

— Ангела Хранителя! — пожелали мне «девочки».

— Спаси, Господи! — сказал я. — Простите!..

И они побежали пить чай в красный домик. А я поехал дальше.

* * *

И опять я рискую разочаровать читателя. Потому что здесь закончились мои странствия — всё вдруг стало ясным. Не простым, но именно ясным. Теперь-то мне кажется, что я всегда всё знал. Но как будто забыл или не мог вспомнить. И вот теперь всё открылось, я вспомнил.

В самом начале я выразил надежду, что, может быть, рассказ мой послужит кому-то предостережением. Я слабо верю в это. Но хочу лишь прибавить. Я всего лишь щепка, подобная множеству других таких же щепок. И все мы вместе — дети того беспокойного и беспорядочного времени, которое нещадно разметало нас по свету и, лишив всякой опоры, поставило перед сложнейшей на этом свете задачей: заново отыскать себя и свой путь жизни.

Мне надлежало сделать выбор, и вереница людей прошла передо мной. Я смотрел, пробовал, примеривался и наконец выбрал. Я выбрал жизнь. Не иллюзорную, знаковую, но настоящую, живую жизнь. Хочу работать, а не зарабатывать, хочу отдавать, а не брать только, хочу любить, а не заниматься любовью. Хочу стать частью мира, слиться с ним и, раскинув руки, взлететь. Коснуться голубоватой зелени кустов, чуть тронутых туманом, пронестись над чернеющим лесом, кувыркаться в свежем, душистом воздухе. И пусть звуки! Пусть соловей, филин, дергач, лягушки... И пусть пахнет травой, прелью, ландышем!

Конечно, всё это только идеи, образы. Я принял их в себя благодаря порыву, благодаря восторгу и, может быть, я не раз отступлю от них. Но восторг давно растаял, а впечатление осталось. Я как будто оказался с ним один на один и с радостью подчинился его силе. И подчинившись, я увидел свою цель. Неожиданно для себя я понял: «Вот, чего алкала душа моя!». И теперь я побреду к этой цели. Буду падать и спотыкаться, но встану и побреду дальше. Потому что это мой путь жизни, и я верю: он сделает меня свободным.

В заключение мне остаётся только сказать несколько слов о тех, с кем в своё время я счёл нужным познакомить читателя. Наш ректор оставил свой пост, и Институт обрёл нового хозяина. Говорят, новый ректор далёк от либерального пафоса и демократической риторики. Институт превратился в Академию, бесплатных студентов осталось совсем немного. Учиться хотя и дорого, зато престижно: наш «ликбез» вошёл в пятёрку популярнейших ВУЗов. По телевизору я видел и Липсинову. Вчера в программе Сергея Булгакова. Речь у них шла... Как бы вы думали, о чём? О необходимости и целесообразности принятия закона, разрешающего на территории Российской Федерации однополые браки. Липсинова выступала апологетом этого «своевременного для России новшества». Апеллировала она при этом к декларации прав человека, учению Зигмунда Фрейда и опыту Западной Европы. От Рэйчел, кстати, ни слуху, ни духу. Как все они там — я не знаю. Также мне решительно ничего не известно о судьбах Виктории, Майки и Осипа Геннадьевича.

2005 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая	5
Часть вторая	113
